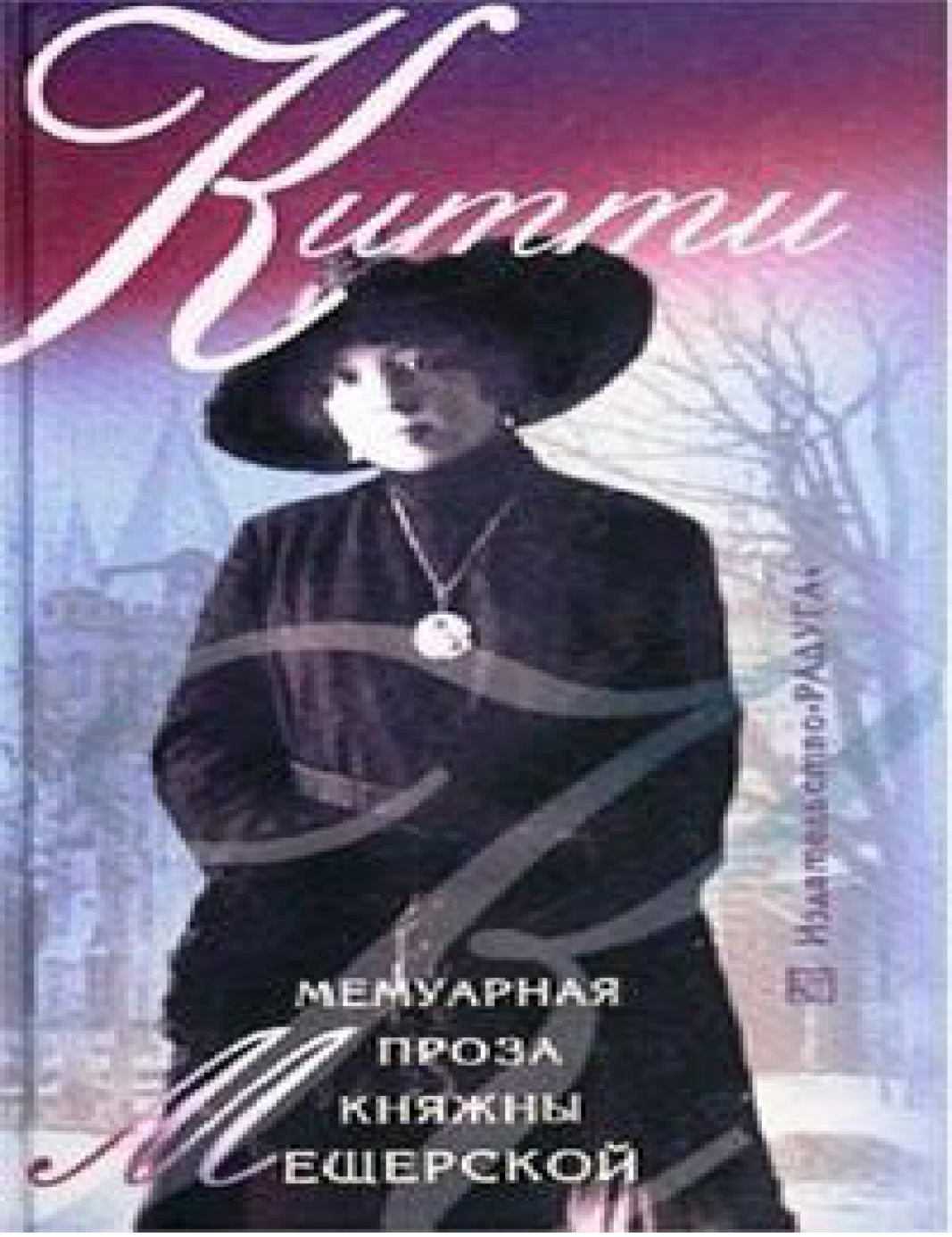
Китти
МЕМУАРНАЯ ПРОЗА КНЯЖНЫ МЕЩЕРСКОЙ
Издательство «РАДУГА»

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«О мачеха моя! О русская земля!.. Но я люблю тебя, суровую и злую». Эти поэтические строки Е.А.Мещерской ключ к ее мемуарам. В силу своего происхождения урожденная княжна Мещерская прошла через ад многочисленных арестов и лишений, но в ее воспоминаниях перед читателем предстает сильная духом женщина, превыше всего ценившая поэзию и радости жизни, благородство и любовь.

- Мещерская Екатерина Александровна
  - Вступительное слово
  - Конец «Шехеразады»
  - Рублево
  - Змея
  - История одной картины
  - Однажды…
- notes
  - 1
  - 2
  - 3

Мещерская Екатерина Александровна
Китти
Мемуарная проза княжны Мещерской

Вступительное слово

Имя коренной москвички княжны Е. А. Мещерской (1904–1995) хорошо известно всем, кто читал опубликованные фрагменты ее воспоминаний.

В своих мемуарах Екатерина Александровна (Китти) рассказывала о родителях — князе Александре Васильевиче и княгине Екатерине Прокофьевне Мещерских, об их неравном, с разницей в 48 лет (!), браке, об их трех имениях и двух дворцах в Подмосковье и в Полтавской губернии, о своем «золотом» детстве, о брате Вячеславе, о Московском дворянском институте, в котором Китти до большевистского государственного переворота в октябре 1917 года довелось проучиться всего три года; о конфискации Советской властью у княгини-вдовы Е. П. Мещерской всех имений, дворцов, большой (в целый этаж) московской квартиры на Поварской улице, в доме 22, о лишении княгини и княжны права на труд и выселении их из Москвы, о 23 обысках и 13 арестах чекистами с содержанием в Таганской, Новинской (женской) и Бутырской тюрьмах; о «трудовом крещении» на Рублевской водонасосной станции, где бывшая княгиня работала кухаркой, а 14-летняя княжна учила детей пению и нотной грамоте в местной школе вплоть до возвращения их в Москву в ноябре 1919 года и поселения в бывшей своей квартире на Поварской улице, но… в холодной, не отапливавшейся кухне, так как все комнаты уже были заселены. «Нашей с мамой двуспальной кроватью, — вспоминала Е. А. Мещерская, — стала широкая, окаймленная черным тяжелым чугуном плита…»

В 1921 году Е. Мещерская была вынуждена выйти замуж за насильника, пьяницу и дебошира Н. В. Васильева, известного тогда военного красного летчика. Он вскоре погиб.

Второй раз она вышла замуж в годы НЭПа за Д. З. Фокина, сына сапожника, предпринимателя, талантливого изобретателя. Но брак оказался неудачным. «Между нами шла никогда не прекращавшаяся моральная борьба, и окончилась она большой драмой…» — писала Е. Мещерская в своих воспоминаниях.

Если в начале 30-х годов Е. Мещерской и ее матери с трудом и удавалось найти простую работу, то из-за бывшего «княжества» их вскоре увольняли.

При первой паспортизации в стране в 1933 году советские паспорта им не выдали, обеих заранее уволили с работы, арестовали (не в последний раз!), бросили в подвал знаменитой Лубянки.

«Сидела я в камере-одиночке, — вспоминала Е. А. Мещерская. — Допросы шли ночью. Спать совершенно не давали. Почему нас на этот раз посадили на Лубянку, мне было ясно: первый советский паспорт должны были получить строго проверенные люди. Все, кто был недостаточно понятен и возбуждал малейшее подозрение, отметались, вернее, выметались из советской столицы… Предъявленные мне обвинения были настолько же нелепы, насколько и чудовищны: я агитировала против Советской власти и призывала к восстанию…»

Сложная, тяжелая борьба за гражданские права, за жизнь, за существование в полицейских условиях «советской демократии» для Мещерских продолжалась долгие годы…

Великая Отечественная война застала Е. А. Мещерскую замужем за композитором М. И. Лалиновым. Жили они в то время там же, на Поварской улице, в бывшей дворницкой, дверь которой открывалась прямо в грязный двор с помойкой. В комнате рядом с пианино «Бехштейн» дымилась кирпичная печурка, неумолчно капала вода всегда неисправного водопровода.

В октябре 1941 года гитлеровские войска приблизились к Москве. В городе началась паника. 16 октября многие известные композиторы и певцы покинули Москву, эвакуировались. Композитору М. Лалинову и его жене было предложено временно поселиться для охраны в квартире певицы Н. Рождественской…

Е. Мещерская, работая музыкальным корректором при Союзе советских композиторов, написала несколько военных маршей и песен («Вперед, к Победе!», «Наше знамя», «Морской охотник», «Миленькая, маленькая», «Сто грамм» и др.). При налетах фашистских самолетов на Москву она во время воздушных тревог днем и ночью дежурила на посту МПВО…

Военные марши и песни Е. Мещерской получили положительный отзыв бойцов-фронтовиков. Вместе с музыкальной бригадой Мещерская выезжала в Подмосковье, на Калининский фронт, была награждена медалью «За оборону Москвы».

После смерти М. Лалинова четвертым (последним) мужем Е. А. Мещерской стал дальний родственник, И. С. Богданевич, сын расстрелянного царского генерала, бывший драматический актер. При нем, под его нажимом, Екатерина Александровна и писала автобиографические воспоминания. (Их объем — более 2000 машинописных листов.)

Поэтически одаренная, она сочиняла пародии и иронические стихи о КПСС («Партия была, Партия есть, Партия будет есть!!!») и Советской власти («Овецкой», как она выражалась). С юмором и насмешкой писала и о своей жизни, например, в

«Екатеринозавре»:

Среди людей живет, и ест, и дышит,
Гремя тяжелой, многолетней чешуей,
Своей когтистой лапой что-то пишет
Страшило-чудище из пыли вековой.
Марксистский век ошибся, не предвидел…
— На это, право, слов не нахожу!
— А ты Екатеринозавра видел?
— Да нет…
— Тогда пойдем, я покажу!

В 80-х годах Е. А. Мещерской была назначена персональная пенсия союзного значения в 140 рублей в месяц. За что? Мотивы «благодеяния» для нее были скрыты… Тогда просто говорили: «за личные заслуги».

О княжне Е. А. Мещерской изредка писали разные авторы на разные лады, иногда ей и самой предлагали выступить в печати с короткими рассказами о своей жизни. Ее неоднократно показывали по телевидению, телесъемки велись как в ее квартире, так и на даче (чужой) в Мичуринце…

Вслед за публикацией в журнале «Новый мир» воспоминаний Е. А. Мещерской отдельные фрагменты из ее автобиографии были в виде книг изданы в США, Англии, Канаде, ФРГ, Дании, Финляндии, Новой Зеландии и Австралии.

Однако сотни машинописных листов ее воспоминаний оставались и остаются в ее архиве неопубликованными.

Е. А. Мещерская умерла на 91-м году жизни и была похоронена на Введенском (Немецком) кладбище, рядом со своей матерью Е. П. Мещерской (та умерла в 1945 году) и мужем И. С. Богдановичем (он умер в 1978 году).

Многие годы я поддерживал с Е. А. Мещерской, женщиной одинокой, нездоровой (у нее было больное сердце), не ходячей (в последние пять лет), творческие отношения, оказывал ей по возможности разностороннюю помощь.

Свой мемуарный архив, некоторые документы, фамильные фотографии, письма она еще в 1980 году передала мне для использования в печати после ее смерти.

В предлагаемой читателям книге представлены воспоминания Е. А. Мещерской: «Конец „Шехеразады“», «Рублево», «Змея», «История одной картины» и «Однажды…». События, описываемые в них, относятся к 1919–1930 годам. По объему они различны, по содержанию неравнозначны, но читаются с большим интересом.

Конец «Шехеразады»

Это происходило в те годы, когда голод страшной тенью распростерся над Россией, когда с Сибири двигался Колчак, с Черного моря наступал Врангель, на Украине буйствовал Махно, повсеместно орудовали вооруженные банды грабителей и убийц.

Целые деревни сжигались. Беженцы шли по дорогам, прося подаяния и крова… Спутник голода — сыпняк косил людей. Вымирали деревни. Избы стояли с заколоченными окнами и дверями. Люди покидали родные места, устремлялись длинными и безрадостными вереницами вперед, куда глаза глядят. В полную неизвестность.

В Москве дома не топились. Не было электричества. Уборные в домах не работали. Сероватого пайкового хлеба выдавали очень мало — величиной не более двух сложенных вместе спичечных коробков. Он наполовину состоял из изрубленной соломы, которая не пережевывалась, раздражала язык, царапала небо, и ее то и дело приходилось выплевывать. Но и этот хлеб выдавали не всем. Моей матери, княгине, и мне, княжне, никакого хлеба не полагалось. Слово «лишенцы» тогда еще не придумали. Нас просто называли «чуждым элементом» или еще того хуже — «классовыми врагами». По этой же причине нас и на работу не принимали. Нас «не узнавали» на улице наши знакомые, стыдливо отводя от нас свой взгляд. Ни на какой приют у своих друзей мы не могли рассчитывать. Тогда мама решила покинуть со мною Москву. Конечно, выбор ее пал на бывшее наше любимое имение Петровское.

* * *

Земская больница уже давно заняла все четыре флигеля, стоявшие с четырех сторон нашего когда-то дворца. Главный врач больницы, Екатерина Николаевна Владыкина, много лет бывавшая у нас как завсегдатай преферанса, с первого же дня Октябрьской революции 1917 года предложила маме устроить ее в больницу канцелярской служащей.

Она хотела дать маме возможность жить в одном из наших бывших флигелей и таким образом получить какой-то кров.

Впоследствии работа в больнице могла бы дать матери трудовой стаж, а затем и пенсию.

Но мама уговорила Екатерину Николаевну Владыкину предоставить все эти блага жене нашего зубного врача — Наталье

Александровне Манкаш. Мама всю жизнь содержала семью Натальи Александровны (вместе с ее двумя дочерьми: Лелей, ровесницей моего брата Вячеслава, и Валей, моей однолеткой).

Владыкина исполнила мамину просьбу. Таким образом, Наталья Александровна оказалась в сказочных по тому времени условиях. Желая сохранить маме хотя бы какую-нибудь часть обстановки, Владыкина поселила мамину подопечную в нашем любимом правом флигеле, с выходом к парку. В этом флигеле мы обычно жили летом и наезжали туда зимой на Рождество, и ранней весной на Пасху.

Владыкина устроила Наталью Александровну в больницу на должность кастелянши. Наталья Александровна всю свою зарплату тратила главным образом на дочерей. Больница обеспечивала ее полным пансионом, она даже могла вечером приносить дочерям свой ужин: немного супа, немного каши, которые помещались в двух судках. Хлеба, конечно, домой не полагалось, но в те годы жестокого голода о такой службе и о таком питании можно было только мечтать. Флигель, в котором поселилась Наталья Александровна, был еще не разграблен.

Старинные, красного дерева, пузатые комоды были полны постельного, носильного и столового белья. Шкафы — полны самой разнообразной посуды, а горки и секретеры — дорогих безделушек из фарфора. Гардеробы хранили массу всякой одежды, а в кухне ярко блестели расставленные в ряд на полках медные кастрюли. Особые, самые дорогие кастрюли (из белой меди), отлитые на знаменитом заводе Круппа (впоследствии военном), строго подобранные по величине, висели на отдельной стене.

Казалось, что вот-вот сейчас войдет повар со своей помощницей поварихой (нашей дорогой Парашенькой) — и запылает огонь в печи, и застучат поварские ножи, и потянутся от плиты вкусные, заманчивые и давно уже всеми забытые запахи.

Но увы!.. В кухне было холодно. Огромные стенные шкафы для провианта с широкими ящиками для крупы были пусты. Пуста была также и кладовая. Дом не отапливался, и топить было нечем. Еле-еле хватало принесенными из больницы щепками отопить наверху две жилые комнаты Натальи Александровны. Запасы дров еще были, но они высились темной стеной в глубине двора и требовали тяжелого колуна, острого топора и мужской силы…

Керосина не было и в помине. Свечи давно уже были вынуты из всех люстр и подсвечников. Все было сожжено. Вечерами весь дом погружался в темноту. В доме оказался большой запас деревянного масла. Ведь у нас было много образов и киотов, а

потому Наталья Александровна использовала это несметное число лампад для освещения. И вот по вечерам, подобно блуждающим огонькам, скользили вверх и вниз по лестнице разноцветные огни. Это Наталья Александровна, Леля и Валя переходили из одной комнаты в другую, каждая держа перед собой зажженную лампаду, а так как все они были из разноцветного стекла, то ночной мрак весело оживлялся желтыми, красными, зелеными, синими и лиловыми огоньками. Это создавало впечатление чего-то волшебного, вспоминалось детство, и какая-то мирная тишина охватывала нас с мамой, когда мы, измученные, усталые и гонимые, перешагнули порог милого, когда-то своего, родного жилища.

Порыв первой налетевшей на нас бури, перед которой мы чудом устояли, порядком уже потрепал и обжег нас. Мы пережили ряд бесконечных обысков, несколько арестов и снова по той же чистой случайности оказались на свободе.

Вячеслав и его товарищ, по имени Алек, бежали. Некоторые родные и близкие были уничтожены. Нам ни одного дня больше нельзя было оставаться в Москве. Теперь наступило такое время, когда нас брали и подвергали допросам уже не только из-за нашего княжества, а из-за наших близких, судьбой которых интересовались. Их разыскивали. Неизвестно еще, какие меры готовились предпринять, какие указы готовили издать по отношению к «бывшим»…

Все свои решения мама выполняла быстро, и вот мы перешагнули порог милого флигеля в Петровском… Со стен на нас взглянули знакомые, родные фамильные портреты, фотографии и миниатюры. В гостиной, в зеркальных горках, которые поддерживались выточенными из розового дерева горными антилопами (стоявшими на задних ножках), спокойно в холоде зеркал отражались знакомые, любимые безделушки. Нога утопала в коврах. Так же, как и в детстве, на меня загадочным взором смотрела сова, сидевшая на звонке, и так же, как в те дни, переливались ее глаза из золотистого берилла. Бисерные коллекции на стене, собрание редчайших, выточенных из слоновой кости вещиц и мой детский чернильный прибор из синего сакса с бронзой, отделанный красивыми медальонами, в которых порхали амуры, — все это было здесь, ожидало нас… Другие на нашем месте, перенеся все то, что мы уже успели перенеся, войдя сейчас под свой бывший кров, разрыдались бы от нахлынувших чувств и со стоном отчаяния упали бы в объятия друг друга, но… Мама была мужественна, бесстрашна и горда, а я прошла школу военной дисциплины у моего брата. Но как ни в чем не бывало разговаривая с Натальей Александровной, и я, и

мама, словно сговорившись, избегали смотреть друг другу в глаза.

Зима уже наступала, и на окаменевшую землю и на застывшие лужи летели первые снежинки.

Я подошла к окну столовой: милый, знакомый вид! Вот каре крокетного поля, полузаросшего теперь мертвой пожелтевшей травой, а там, за ним, — плотная стена мощных столетних сосен с ржаво-рыжими стволами. Сейчас их вершины, раскачиваемые порывами ветра, склонялись то в одну, то в другую сторону, и мне казалось, что они кивают мне и радушно шепчут: «Добро пожаловать! Добро пожаловать!» — и вместе с тем предостерегают: «Зачем вы приехали? И зачем вы только приехали?..» Сердце мое больно сжалось. Чувство затравленного зверя теперь уже никогда не покидало меня. Я отошла от окна, взбежала по лестнице на второй этаж. Войдя в гостиную, подошла к любимому мною «Блютнеру», подняла крышку. Клавиши были холодны. Я нажала их. Послышался знакомый мягкий, поющий, чуть вибрирующий звук, характерный звук, присущий только «Блютнеру». Я села и начала играть первое, что пришло мне на ум.

Это была «Весна» Грига. Вячеслав любил слушать меня, развалясь на диване с книгой, я вспомнила, что это была его любимая пьеса. Что бы я ни играла, он неизменно просил меня исполнить ее на прощание.

На лестнице послышались быстрые и легкие шаги мамы. Она вошла бледная, изумленная и гневно взглянула на меня. Я быстро встала и опустила крышку клавиатуры. Ничего не сказав, мама вышла…

Однажды вечером, боясь быть узнанной и закутавшись от любопытных взоров в пуховый платок, к нам пришла сама Владыкина. Она узнала о нашем приезде от Натальи Александровны. После первых слов приветствия она сказала:

— Нет худа без добра! Если бы я устроила вас на службу в больницу, то вам бы там долго прослужить не дали. Я бы и сама из-за вас лишилась места главного врача. Не знаю, как вы будете жить? Идет физическое уничтожение таких, как вы…

— Ничего! Бог поможет! — сказала мама. — Нам бы как-нибудь пережить зиму, а там вскопаем огород, посадим картофель, капусту, овощи.

На помощь нам пришли крестьяне.

Сами мужики, очевидно, считали неудобным приходить к нам в гости, но их жены и их матери навещали нас, не стесняясь, и каждая из них что-нибудь приносила. Это была или крынка топленого, душистого молока, или несколько яиц в чистеньком

узелке, а иногда кусочек свинины или баранины. Хлеба, конечно, ни у кого не было, но эта теплая забота трогала до слез. Легко ли было в годы голода, зарезав овцу или свинью, отнять у своей многодетной семьи кусок мяса для нас, совершенно чужих им людей? Да еще если учесть к тому же ту ненависть и злобу, которую в те годы разжигали на митингах и на страницах печати против людей нашего класса…

Приносивших нельзя было отпустить домой с пустыми руками. И мама взамен стала расплачиваться вещами. Правда, их оказалось уже не так много. Наталья Александровна сохранила только внешнее убранство комнат. Шифоньерки же и комоды уже давным-давно были ею опустошены. Часть вещей она сама выменяла на продукты, остальную часть использовала для своей семьи; так, из огромных, тонкого полотна скатертей (на 25 персон и больше) она нашила своей семье наволочек, полотенец и простынь. Одежда в гардеробах тоже была ею перешита на себя и на дочерей.

Наталья Александровна очень радушно встретила маму, обе были рады увидеть друг друга, и мы зажили одним общим хозяйством. То, что приносили нам крестьяне, мама готовила на всех пятерых. Мы раздобыли в заброшенных сараях колун и топор. Наш бывший кузнец (крестьянин Петровского) нам их отлично отчистил и наточил. Оставалось только научиться колоть и рубить дрова. Нашими наставницами в этом деле бывала то та, то другая приходившая к нам крестьянка. Я радовалась тому, что моя жизнь вновь соединилась с Валей, которую я считала своей младшей сестренкой и с которой была связана вся моя жизнь с первого дня рождения. Мы с ней дружно убирали комнаты двух этажей, носили воду, дрова и помогали своим матерям по хозяйству.

В те дни нашей волшебной комнате, которой Вячеслав дал имя «Шехеразады» и которая была творением его рук и его фантазии, выпало на долю сыграть в нашей судьбе еще и другую роль, помимо той, к которой она предназначалась при своем рождении.

А предназначалась она для «неги, для сладостных утех и для святочных рассказов», как любил говаривать все тот же неуемный фантазер Вячеслав. Он остановил свой выбор именно на этой комнате из-за ее причудливой формы и потому, что тут был камин. Комната утопала в коврах. В углу стояла статуя Венеры Медицейской, перед которой возвышался треножник со старинной резной курильницей. Подальше, прямо на полу, — большая ваза — золотой дракон — для переписки в новогоднюю ночь.

Я все же хочу более подробно остановиться на устройстве двери, которая вела в «Шехеразаду». Она была замаскирована и представляла собой выложенную изразцами «печь». Ее отдушник имел на себе с одной стороны легкий налет сажи, искусно нанесенный кистью. Словом, не было еще такого человека, который бы, увидев эту «печь», усомнился бы в ее назначении. Однако проникнуть в «Шехеразаду» было не так легко. В одном из узорных изразцов сдвигалась вбок тонкая железная пластинка. Она и скрывала за собой отверстие для ключа. Но, имея ключ, недостаточно было повернуть его в замке. Тяжелая «печь» продолжала незыблемо стоять на месте. Надо было нажать скрытую пружину в дверцах «печи», и тогда с нежно прозвучавшей мелодией (в замок был вложен механизм музыкальной шкатулки) «печь» медленно сдвигалась и открывала вход в «Шехеразаду».

В самом начале Октябрьской революции 1917 года «Шехеразада» стала нашим тайником. Сюда Вячеслав и его товарищ Алек принесли из дворца все серебро. Серебряные шкатулки, подносы, кувшины, тазы стояли нагроможденные друг на друга между высокими, тяжелыми рулонами свернутых ковров. Сюда были спрятаны некоторые экспонаты из музея дворца, например: осыпанное полудрагоценными каменьями оружие и несколько ценнейших (XVI века) татарских седел с огромными парадными, кованными серебром попонами и украшениями, надевавшимися на грудь и на голову лошади. Много других ценностей, накрытых парчовыми покрывалами и старинными вышитыми тканями, лежало здесь прямо на полу. И вот вечером, пробравшись сюда вместе с Валей, мы погружались в царство воспоминаний. В эти часы наш неизменный шпион Леля уже спала, а мама с Натальей Александровной, забравшись с ногами на диван и закутавшись в платки, читали какой-нибудь очередной старинный роман из нашей библиотеки. Общими усилиями они соорудили себе вместо лампадки ночник, который горел несколько ярче, и теперь все их вечера проходили в чтении. Ночник время от времени нагорал и начинал коптить. Прервав чтение, мама брала серебряные сахарные щипцы, чтобы снять нагар, и, взглянув на Наталью Александровну, неизменно находила ее сладко задремавшей, со склоненной на грудь головой.

— Боже мой! Неужели же вы опять заснули?! — возмущенно восклицала мама.

— Что вы! — вздрогнув всем телом, встрепенувшись, вскрикивала Наталья Александровна. — Я и не думала дремать! Я просто закрыла глаза для того, чтобы получше сосредоточиться! Я все, все слышала!

— А о чем я читала? На каком месте я остановилась? — улыбаясь, спрашивала мама.

— Ну-у-у… на том, — уже запинаясь и виновато на нее глядя, мямлила Наталья Александровна, — на том, что маркиза отправила ему записку…

— Ах! Вы опять меня обманываете! — выходила из себя мама. — Вы опять все-все проспали! Это давно прошло! Маркиз уже убил графа на дуэли!

— Как на дуэли? На какой дуэли? — вскрикивала Наталья Александровна.

И этого было совершенно достаточно для того, чтобы добрая и доверчивая мама начинала быстро пересказывать своей слушательнице все прочитанные в романе события, которые та проспала. Затем, после уверений и обещаний, которые давала Наталья Александровна маме в том, что она никогда больше не заснет, мама снова принималась за чтение. Она читала вдохновенно, с увлечением, а Наталья Александровна неизменно снова засыпала.

Вот именно в эти вечерние часы мы с Валей и забирались в «Шехеразаду». Среди хаоса наваленных вещей мы уже давно в ней устроили себе что-то вроде большого и глубокого гнезда. На самое его дно мы постелили одну из медвежьих шкур. Там мы устраивались как можно уютней, а затем сверху накрывались прекрасными толстыми попонами, сшитыми из теплых английских пледов. Вот тут-то и начинались часы волшебных воспоминаний. И чем труднее, чем голоднее становилась наша жизнь, тем необходимее были для нас эти часы. Вполголоса, почти шепотом мы сначала долго с ней говорили, и в этих разговорах звучали бесконечные «Ты помнишь? Ты помнишь?». Потом, точно сговорившись, умолкали. Смотрели на темную зияющую пасть уже давно не топленного камина, на золу ушедших дней, которая теперь казалась нам священной. Смотрели долго и молча до тех самых пор, пока все для нас не преображалось. И тогда вдруг ярко разгоралось пламя; его прыгающий по стенам отблеск освещал волшебную «Шехеразаду» тех далеких дней. Казалось, из курильницы тянется вверх чуть заметная струйка благовоний, и в комнате, полной игры света и теней, мелькает стройная, худощавая фигура Вячеслава. Вот он нагибается к пылающему огню, берет бронзовыми щипцами тлеющий уголек от полена и, подойдя к Венере, бросает его на дно курильницы. Струйка дыма на миг точно иссякает, а потом взвивается вверх плотной широкой лентой, воздух благоухает еще сильнее. Вячеслав возвращается к камину и опускается возле нас, на медвежьи шкуры:

— Ну, господа, чья очередь рассказывать?

Я совершенно ясно слышу его голос…

О, эти полные прелести зимние вечера со святочными рассказами!.. Еще с утра все мы, дети, молодежь, взрослые и даже наша бабушка, тянули билетики, и вытянувший билет с крестиком должен был вечером в «Шехеразаде» рассказать обязательно им самим придуманный рассказ. Интересными бывали бабушкины рассказы; много старых польских преданий служили канвой ее святочных повествований: старинные польские замки с подземными ходами, и жестокие охоты, и склепы, полные призраков. Но непревзойденным мастером рассказа был признан Вячеслав. Он был прекрасным актером, рассказывал плавно, никогда не запинаясь, точно читал. И все мы, не отрывая от него глаз, сидели зачарованные, боясь лишний раз перевести дыхание.

Но вот уже и полночь пробило, камин догорает. Оранжево-красные угли начинают покрываться сероватым налетом пепла. В руках у офицеров появляются гитары. Все умолкают… В тишине раздаются сначала робкие и нежные переборы гитары, они как будто сговариваются между собой, и наконец, выделяясь, начинает звучать уже определенный мотив. Ему со всех концов подпевают — и вот уже полились один за другим старинные, задушевные цыганские романсы, вслед за ними — гусарские песни, и вновь первенство — за Вячеславом.

— Вячеслав, спойте!

— Славчик, родной, пожалуйста!

— Вячеслав Александрович, просим соло! — раздаются голоса, и слышатся названия десятков романсов и песен…

Пить вино и шампанское было почему-то не принято у нас в Петровском. Подавались они только в Москве или во дворце при особо торжественных приемах. В нашем же милом флигеле наша дорогая Параша, которой мама особенно гордилась, всех изумляла замечательными домашними настойками: сливянкой, вишневкой, рябиновкой, которые она настаивала мастерски, а ее домашние ликеры из мяты, из кофе, из лепестков наших оранжерейных роз — эти ликеры никогда не забывались теми, кто их хотя бы раз попробовал. Но самым необыкновенным в ее мастерстве, вершиной ее искусства был настоянный ею хмельной, шипучий мед. Рецепт его передавался в роду у Параши, и при всей ее к нам любви и преданности она хранила его в тайне, а когда приступала к «медоварению», то запиралась одна в кухне и никого к себе в помощники не брала и никого не впускала, чем не только злила всех наших поваров, но даже выводила из себя нашу бабушку, чудную кулинарку, сгоравшую от зависти. Общим мнением было, что это был тот самый мед, который на старой

Руси пили наши предки. Мед этот подавался в Петровском при встрече Нового года вместо шампанского. Поэтому один раз в год, а именно в новогоднюю ночь, выкатывалась из подвала темно-коричневая, туго стянутая обручами бочка.

В бокалах мед был такой же золотистый и прозрачный, как шампанское. Он так же пенился, но обладал удивительным свойством: когда его пили, то, казалось, не хмелели, однако не всякий гость мог после трех бокалов встать из-за стола — ноги переставали слушаться.

И вот в эти зимние холодные мрачные ночи, глядя на нетопленый камин и дрожа от холода, мы с Валей вспоминали, как нам, детям, в «Шехеразаде» разливали этот мед в малюсенькие ликерные рюмочки. Вспоминали и о том, как перед камином, прямо на полу, на коврах, стояли новогодние подносы с пряниками, с домашней пастилой, с сушеными фруктами, с орехами: простыми, кедровыми, грецкими, американскими, с фисташками и миндалем, жаренными с солью… Вспоминали мы всякие происшествия, и наши маленькие горести и радости, и наши бесконечные шалости…

— Девочки, идите спать! — слышался строгий голос мамы…

Наша жизнь в Петровском становилась день ото дня труднее. Наше с мамой в нем пребывание ни для кого уже не было тайной.

Волисполком[1] решил прекратить «бесконечное паломничество крестьян к своим бывшим помещикам». Волисполком принял меры: кое-кого из крестьян вызвали, кое-кого припугнули, а другие, глядя на них, просто струсили, но, так или иначе, каждый из них после этой «индивидуальной обработки» сказал своей жене, что, мол, «дескать, как-то вроде несознательно с общественной точки зрения поддерживать сношение с княгиней и княжной. Хоша оне и сами по себе не вредные, но оне бывшие владельцы здешних мест, и кто будет с ими водить знакомство, будет и сам рассматриваться нашей властью как поддерживающий врагов и контрреволюцию»…

Бабы не смели ослушаться своих мужей. Но под покровом зимней ночи нет-нет да какие-нибудь из жен отваживались прибежать к нам. Они обнимали нас, целовали и утирали концом головного платка катившиеся по щекам слезы, и все они говорили приблизительно одно и то же:

— Ты живи, живи! Никто из нас тебя здесь не тронет, и мужуки наши так тебе велели передать, от нас-то тебе бяды ня будит, а вот что дальши-то с табой будит? Леший его знает… Сама видишь, время-то какое!..

Приходили к нам и глубокие старухи: те, никого не боясь, заявлялись к нам прямо днем. Это были одинокие бобылицы, те

самые, которые до Октябрьской революции 1917 года ежемесячно получали от мамы установленную ею пенсию. Они не желали знать о том, что настала советская власть, и все мы были в отчаянии, когда слышали их громкие стенания:

— Неужели ты нас, ваше сиятельство-кормилица, бросишь? Неужели нам таперича с голодухи помирать? Бог с ей, с властью-то стой! На кой ляд, прости Господи, она нам сдалась? Ты, мать-княгинюшка-то, пензии своей от нас не отымай! Как же нам без пензии-то?..

Некоторые из них читали свои монологи нараспев, иные прямо начинали с того, что бухались маме в ноги.

— Голубушки мои! Вы уж меня простите, — взволнованно уговаривала их мама, — мне теперь вам нечем помочь… ведь деньги-то все в банке у меня отняты…

— Ну, ты нам тады вяшшичек каких-нибудь али чаго еще…

И, к великому отчаянию Натальи Александровны, мама отдавала все, что только в ту минуту попадалось ей под руку.

Стуча палками по полу, шурша валенками, наполняя воздух в комнатах запахом козьих дубленых полушубков, подвязанные до самых глаз теплым платком, старухи одна за другой следовали за мамой по пятам из одной комнаты в другую, громко причитая и крестясь на иконы.

А нам жилось все хуже и хуже. Теперь мы ели хрустящие, точно с песком, лепешки из картофельных очистков, которые обваливали в отрубях. Вместо чая мы заваривали кипятком сухие листья яблони, вместо сахара жевали черненькие ломтики сушеной свеклы.

В эти дни нас выручало семейство нашего железнодорожного будочника Порфирия Семеновича Борща. Его сыновья и дочери тоже служили на железной дороге, но в должности проводников. Они привозили из Малоярославца душистый, круглый, домашнего печения ржаной хлеб, немного какого-нибудь жира, а иногда и несколько пакетиков сахарина.

Подходило Рождество. Борщи сами готовились к празднику и потому предупредили, что ничего не смогут нам привезти из своего очередного рейса. Взамен этого они предложили взять кого-нибудь из нас с собой в поездку.

— Поедем мы с вами, Наталья Александровна, — решила мама, — девочек оставим дома. Я сама переговорю с Владыкиной и попрошу ее отпустить вас на несколько дней.

Сказано — сделано. Начались сборы в дорогу. Укладывали в мешки кое-что из одежды, но главным образом шелковые пуховые одеяла и подушки, как самый ходовой товар. Между ними засунули несколько небольших ручных зеркал и кое-какие

безделушки.

Морозы в те дни стояли лютые. Наши друзья, все те же Борщи, дали маме и Наталье Александровне свои теплые деревенские тулупы, теплые платки и валенки.

Как необычайно веселы, как жизнерадостны и как беззаботны были мы еще в ту пору!.. Со смехом и хохотом надевали наши матери этот непривычный для них наряд, и нам казалось все это каким-то веселым маскарадом. Обе они не умели нести свои тяжелые мешки и узлы; мы им помогали, как могли. Надо было видеть, как, идя по заснеженной дороге на станцию, все мы то и дело оступались и падали в снег, и каждый раз снова и снова звучали взрывы смеха…

После отъезда наших матерей мы зажили совсем не плохо. Так как по-настоящему мы отапливали только второй этаж, в котором сами жили, то мама, уезжая, взяла с нас слово, что мы не будем лениться и будем добросовестно топить все печи. Ее забота была о нашем милом «Блютнере», который она очень любила. Мы с Валей принялись поочередно колоть дрова, разносить их по комнатам и топить печи. Воду мы тоже поочередно носили из обледеневшего колодца. Этому мы уже научились. Так же по очереди мы с ней убирали и комнаты. Если одна из нас выполняла должность горничной в доме, то другая в этот день была дворником, и ее делом были дрова и вода. Леля, которой исполнилось уже девятнадцать лет, ничего делать не хотела: она целый день валялась на диване с книгой в руках. К ее эгоизму мы привыкли, он уже перестал нас возмущать, и мы просто старались не обращать на нее внимания.

Каждый день с самого утра мы старались справиться с хозяйственными делами, и тогда у нас с Валей освобождались часы для себя. Ах, что это были за часы!.. Надев лыжи, мы ходили на них в любимых уголках парка, слушали шум родных сосен. А какая радость была проложить лыжами первый след по нетронутому сахарному снежному покрову и уйти в самую чащу парка, медленно пробираясь между стволами деревьев! Нечаянно задеть головой наклонившуюся под тяжестью снега ветку ели, почувствовать холодящую алмазную пыль на лице. Потом увидеть, как сумерки лиловатой тенью окрасят лыжный след, и, подняв голову к небу, заметить первую затеплившуюся на нем звезду. А вот за ней и вторая, и третья, и четвертая… Небо стало темным-темным, почти черным, и звезд высыпало так много-много… Это пришел вечер. Пора возвращаться домой.

Дома ели кашицу из мелко перемолотого овса, запивали ее кипятком с сушеной свеклой. Потом, пользуясь отсутствием своих матерей, мы, быстро вымыв посуду, бежали наверх к пианино и

начинали свой любимый, запрещенный при маме музыкальный репертуар. Это были оперетты: «Сильва», «Веселая вдова», «Перикола», «Баядерка», «Принцесса долларов», и, конечно, все всегда заканчивалось песенками Вертинского. Мы чувствовали себя счастливыми. Мы ни о чем не думали. Мы стояли на пороге своей юности. Меня переполняло блаженство от одного сознания, что нет моей строгой матери, при которой я всегда чувствовала себя скованной. Распустив волосы, мы с Валей, усевшись перед зеркалом, устраивали себе высокие дамские прически, потом вытаскивали из гардероба уцелевшие вечерние мамины платья и смеялись до слез, запутавшись в длинном шлейфе, и танцевали и пели до тех пор, пока всегда страдавшая истерией Леля не топала на нас ногой и не взвизгивала:

— Молчать сейчас же, сумасшедшие! И сейчас же ложиться спать! Иначе я все про вас расскажу, клоуны! Петрушки несчастные! Спать сию же минуту!..

Так проходили дни. Ко мне вернулась моя жизнерадостность. Все ужасы, которые мы с мамой только что пережили в Москве, остались в моем воспоминании как тяжелый сон, и я была уверена, что больше он не повторится. В то время я была еще под большим влиянием моей матери, и ее авторитет был для меня неоспорим. Она без страха смотрела в будущее и уверяла, что никто не причинит нам зла, потому что мы сами его никому не делали. Она утверждала, что мы будем, как и все советские граждане, зарабатывать хлеб трудом и что к этому труду нас обязательно допустят. Она ждала конца зимы, чтобы весной ехать снова в Москву, писать самому Ленину — просить работу. Наше разорение ничуть не вывело ее из равновесия. Она даже как будто его не заметила. Да и смешно было бы предаваться горести о потере материального благополучия, когда все существо ее было потрясено картинами страшных и кровавых расправ, совершавшихся над близкими друзьями и над родственниками. Но мама видела во всем карающую руку Бога, и в ее душе не было места ни злобе, ни злопамятству, ни мести. Преследования, которым мы подвергались, и наши неоднократные аресты она объясняла тем недоверием народа, которое заслужил наш класс, и оправдывала все, что происходило с нами, говоря:

— А все-таки мы с тобой должны быть счастливыми. Подумай только: мы в России, на своей родине, а не на чужой земле, и мы должны доказать своей жизнью, что можем быть ей полезны…

Нужно сказать, что мама всегда испытывала удивительную неприязнь к иностранцам. Она говорила, что «все они враги и все они мечтают о просторах России и ее богатствах»…

Мировоззрение моей матери было для меня законом, и ее

оптимизм невольно заражал меня, к тому же со старым режимом у меня были свои счеты. Разве с самых ранних лет не слышала я от всех своих подруг о том, что я некрасива, и разве все эти рассуждения не кончались всегда одной и той же фразой: «Но ты не горюй! Если бы ты была даже еще худшей уродиной, то все равно ты раньше всех нас выйдешь замуж: ведь на тебе женятся из-за твоего приданого и твоего титула!»?

Это на все лады повторяли мои тетки, часто в моем присутствии, об этом со вздохом неоднократно говорила и мама, а мое детское сердце каждый раз сжималось. И вдруг для меня пришел благословенный, счастливый день. Я никогда не забуду его.

Первые дни Февральской революции 1917 года. Мы сидим в Москве, в нашей квартире на Поварской, в столовой, и после завтрака пьем кофе. Наш лакей Николай в синем сюртуке с ярко начищенными в два борта пуговицами, украшенными княжеской короной, разносит на серебряном подносе маленькие чашечки крепкого турецкого кофе.

Все пьют молча. У мужчин сосредоточенные, взволнованные лица, у женщин — бледные щеки и заплаканные глаза. Все переживают отречение Николая Второго от престола. Горничная вносит запоздавшую газету. Вячеслав громко вслух читает ее первую страницу. Мы узнаем о том, что Михаил Александрович Романов тоже отрекается от русского престола.

Забыв о всяком этикете, с присущим ей горячим польским темпераментом, бабушка со звоном бросает чайную ложку, резко отодвигает чашку, кофе расплескивается на белоснежную скатерть. Бабушка всплескивает руками и почти рыдает:

— Самодержавие окончилось! Боже мой! Россия летит в бездну! Мы все погибли! Мы — разорены!..

Я в восторге подпрыгиваю на стуле и радостно восклицаю:

— Какое счастье! Какое счастье — я больше не княжна! Слава Богу, на мне теперь никто не женится!

В тот же миг я получаю подзатыльник. Это был исторический и последний в моей жизни подзатыльник, который я получила от моего брата…

Первые дни Октябрьской революции. Первые залпы на улицах. Первые расстрелы. Обыски. Аресты. Разлука с братом и Алеком… Это был губительный, опустошающий смерч; но ведь он уже пронесся, мы с мамой точно чудом уцелевшие после кораблекрушения. И вот мы опять в Петровском, на родной земле, под родным кровом, среди родных вещей. Отношение крестьян согрело нас и вселило в нас надежду на лучшее будущее. Мы жили сегодняшним днем, как легкомысленные мотыльки, не

ведая того, что нам уже подписана гражданская смерть и что идет физическое истребление людей нашего класса.

Так дерево, надломленное бурей, лежа на родной земле, среди родного леса, не верит в свою смерть. Ему кажется, что оно неотделимо от корня, что оно еще питается им. Ему кажется, что вот-вот оно снова выпрямится и встанет. И долго еще, лежа на земле, оно не чувствует смерти: его ярко-зеленая листва не хочет сохнуть, она еще, радостно трепеща, играет с налетающим ветерком, не сознавая своего страшного смертного часа…

Таковым было наше мироощущение в те дни, которые я описываю, в ту суровую, холодную и голодную зиму, когда мама с Натальей Александровной уехали за хлебом, а мы с Валей под присмотром Лели остались одни в Петровском.

Но вот настал день, который снова окунул нас в действительность. Это случилось ранним утром, когда было еще совсем темно. Мы проснулись от шума и отчаянных стуков. Внизу во входную дверь так ломились, что казалось, весь двухэтажный флигель содрогается. Все стекла в окнах дребезжали.

Мы вскочили: впопыхах быстро одеваясь, перебрасывались незначащими короткими фразами, полными недоумения и тревоги. Я первая сбежала вниз, за мной — Валя, а трусиха Леля осталась стоять в верху лестницы, на площадке, дрожа от страха. Я спустилась вниз и увидела, что тяжелая дверь черного хода вздрагивает от ударов. Я даже не спросила, кто стучит и зачем, так как мой голос потонул бы в общем реве толпы за дверью. Толпа бушевала, точно собиралась разнести в щепки весь дом, и в общем гвалте я теперь безошибочно различила уже с недавних пор знакомый мне стук ружейных прикладов.

— Открывай! Открывай! Иначе все двери высадим! Что вы там, князья, передохли, что ли?

С трудом я вынула тяжелое бревно засова. Не скрою, руки мои дрожали и сердце билось.

Окутанные морозным паром, один за другим, толкая друг друга, в дом вваливались какие-то люди, так что мне оставалось только шаг за шагом отступать перед их напором. Я поняла: эти нежданные посетители не к добру, а потому, не спрашивая ни о чем и не заботясь о том, кто из них запрет входные двери, я, теснимая их волной, стала подниматься вверх по лестнице. За мной тяжело затопали десятки ног.

— Все взашли? — вдруг услышала я за собой хриплый голос. — Тады запереть дверь и встать! Никаво не выпускать! Троим подняться, обыскать все комнаты. Людей всех привести сюда, ко мне. У каждого выхода — по караульному! Встать и охранять!

Я остановилась и повернулась лицом к говорившему. Отдававший приказ шел непосредственно за мной по пятам, и когда я остановилась, то невольно задержала и его. Теперь мы стояли друг перед другом, лицом к лицу.

— Иде здесь бывшая княгиня Мещерская? — спросил он.

— Ее нет. Она уехала, — ответила я.

— Куда?

— За хлебом.

— На Украину? К белогвардейцам поближе? А?

Я всматривалась в спрашивавшего и чувствовала, как вся кровь во мне леденеет. В жизни своей я не встречала человека страшнее. Только вздувшееся от проказы лицо могло быть настолько деформировано. Позднее, присмотревшись, я поняла, что все уродство этого лица заключалось прежде всего в огромном носе, который был сдвинут с места, сидел на лице как-то криво и к тому же был еще и перебит в двух местах. От этого все на лице переместилось: один глаз навсегда, видимо, прищурился, а второй, точно готовый выскочить, имел отвисшее, мокрое, кровавое веко. Над низким лбом стояли невероятно густые и совершенно прямые, как щетка, неопределенного цвета волосы. Вместо рта была длинная, прямая щель — губы отсутствовали.

— Политкомиссар из Нары Агеев, — хрипло вырвалось из этой щели.

Всматриваясь в страшное чудовище, я, потрясенная, молчала.

— Что малчишь? Что смотришь? — гаркнуло снова чудовище. — Смотришь на то, как мне беляк афицер нос перебил? Гляди, гляди… А ты кто такая? Откудова взялась? — спросил он чуть-чуть мягче.

— Я — дочь Мещерской… — не без труда выговорили мои губы, которые никак не хотели меня слушаться.

Я услышала, как вокруг меня зашептались, вырвались какие-то междометия, потом смешок — один, другой, и затем все стихло.

Агеев сделал шаг назад, осматривая меня внимательно и прямо, и сбоку, еще раз осмотрел меня с головы до ног, затем протянул нараспев:

— Да-а-а-а… Значить, выходит, ты вроде как младшая княгиня?

Я молчала.

— В-во-о-он!!! — вдруг дико заорал он. — Вон! Кто это разрешил вам обратно в имение вертаться? А? Какая это власть разрешила вам в своем доме жить? А?

— Мы не в своем доме, — прерывающимся от волнения

голосом начала я оправдываться, — этот дом принадлежит больнице. Здесь живет больничная служащая, кастелянша…

— М-м-м-лчать!!! — рявкнул Агеев. — Обманывать нас захотели, бары! Фикцию разводите? — Он порылся в карманах и, вынув какую-то смятую бумажку, стал ее разглаживать.

Я чувствовала, что от этого клочка бумажки с какой-то расплывшейся лиловой печатью, от этих корявых, заскорузлых, пожелтевших от цигарок и махорочного дыма пальцев и от этого чудища, полного непонятного озлобления и ненависти, зависит сейчас вся моя жизнь.

— Вот здесь ясно, черным по белу написано, — начал он, не давая мне бумажки в руки, а размахивая ею перед моим лицом, — вот здесь… вот оно предписание нарофоминской ЧК: княгиню, скрывающуюся под видом подруги больничной служащей, арестовать и доставить в район!.. А эта чья?! — вдруг, мрачно взглянув на Валю, стоявшую за моей спиной, спросил Агеев.

— Я дочь больничной кастелянши, — прозвучал еле слышный ответ.

— А та?! — Агеев мотнул головой в сторону лестничной площадки, на которой, держась за перила, еле живая от страха, стояла Леля.

Встретив взгляд комиссара, услышав его вопрос о себе, она опустила голову. Плечи ее задергались, и она вдруг захныкала. Эти всхлипывания явились как будто последней каплей сдерживаемой до той минуты ненависти, которой были переполнены пришедшие к нам люди. Толпа заволновалась, все разом загалдели:

— Чего церемонишься? Подумаешь, какой детский сад развели, выродки проклятые! Вон отсюда княгиньку энту и с ей вместе ее подружек!..

Я сознавала всю важность, всю ответственность этой минуты. Понимала я и то, что малодушие и слезливость Лели только подлили масла в огонь бушевавшей вокруг нас ярости. Как бы ни решилась наша судьба, но сейчас здесь необходимы только спокойствие и какие-то совсем простые слова.

— Послушайте… — стараясь говорить громко и как можно спокойнее, начала я. — Послушайте, ведь матерей-то наших нет! Куда же мы уйдем? Куда вы нас гоните? Как только наши матери вернутся, так мы сейчас же и уйдем. Я могу дать подписку…

— А нам што? Ждать прикажете их сиятельства возвращения? На кой нам ее расписка? Гони их вон, и все тут!

— Эти девушки, которые здесь стоят, — продолжала я, указывая на Валю и Лелю, — они и вовсе ни при чем, и эта бумага к ним не относится: они обе — дочери больничной кастелянши.

Указ этот написан только на маму и на меня, вот я и прошу вашего разрешения подождать маму, тогда делайте с нами что хотите.

— Ну, будя болтать, — вдруг заговорил дотоле молчавший и за всем наблюдавший Агеев. — Будя!.. Вон, я вижу, у вас здесь за дверьми лопаты стоят. Одявайтеся, бярите их и… марш! На шоссе!.. Все трое! Будете там снег расчищать, а к вечеру машина из Нары должна подойти, тады мы вас с часовыми доставим куда надо, а покедава идите, почистите для нас, мужиков, шоссе, поработайте на морозце, авось время незаметно и пройдет. А то вон чего задумали: они, видишь ли, хотят мам сваих дажидаться, ишь, барышни какие!

И я увидела, как выкатившийся с кровавым веком глаз Агеева заблестел разгоравшейся злобой.

Все это походило на кошмар и было настолько страшно, что я вдруг совершенно перестала бояться. Я подошла поближе к Агееву. Теперь я видела это чудище в профиль и с ужасом убедилась в том, что из-за перебитого носа это существо при каждом повороте головы изменялось. Иначе говоря, как будто имело несколько лиц, и одно лицо было страшнее другого. Совершенно непонятная, откуда-то появившаяся жалость вдруг настолько переполнила меня, что я забыла о грозившей опасности. «Изуродованное существо! — подумала я. — Несчастное изуродованное существо!..» И, сама плохо сознавая, насколько неуместно и насколько глупо то, что я говорю, я вдруг улыбнулась.

— Ну хорошо, мы пойдем чистить снег, — сказала я, — но ведь еще очень рано, на улице темно и рабочий день еще не наступил. Ведь вы нас разбудили, и мы еще чаю не пили! Давайте сначала чай пить! Я пойду ставить самовар. — И я решительно направилась к двери, прошла мимо Агеева, прошла мимо всех, спустилась вниз, в кухню… и никто меня не остановил.

Но, проходя мимо Агеева, я увидела нечто страшное: Агеев широко улыбнулся вспухшими, красными, мокрыми от слюны, мясистыми деснами, в которых торчали мелкие, редкие, похожие на грязные осколки зубы.

Почему все замолкли? Почему никто не пошевелился? Почему никто не преградил мне путь? Что остановило этих людей? Мои неизвестно откуда взявшиеся слова или улыбка комиссара?..

Наливая из ведра воду в самовар, я слышала наверху в комнатах топот и хлопанье дверей: видимо, приехавшие занялись осмотром дома. Однако комиссар решил, очевидно, не выпускать меня из виду. Он спустился вслед за мной в кухню. Обшарив свои

карманы, вынув и выложив на стол все находившиеся там бумаги, он теперь при слабом свете ночника разбирался в них, изредка на меня поглядывая.

Нащепав лучины, я запихивала ее в самовар. Старательно раздувая пламя, сверху бросала сухие еловые шишки из летних запасов все той же Натальи Александровны.

— Что же, вы и лето тута жили? — спросил Агеев, показывая своим страшным глазом на ведро с шишками.

Я ответила, сразу поняв вопрос наблюдательного человека:

— Нет. Эти шишки не мы собирали. Мы с мамой приехали сюда из Москвы только поздней осенью, после Покрова.

— Чего же из Москвы-то бежали?

— Мы не бежали, нас нигде не прописывают и на службу не берут.

— И правильно делают! — с удовлетворением кивнул головой комиссар. — Нечего вам в Москве делать.

— А где же нам жить? — невольно вырвалось у меня.

— Где жить? — насмешливо передразнил Агеев. — Вам на трудовых работах работать надо, вот что! Там и жить!.. А что это ты в самовар из пузырька подливаешь, а?! — И, одним прыжком очутившись около меня, он вырвал из моих рук пузырек со случайно сохранившимся английским одеколоном «Тридес», которым я решила пожарче разжечь не желавшие никак разгореться, тлевшие в самоваре щепки.

— У меня никак не разгорается… это одеколон…

Но Агеев уже держал флакон в руке. Не поняв надпись, он поднес его к носу и стал нюхать. Вдруг лицо его исказилось страхоподобной улыбкой. Не выпуская из рук флакона, он сел на первый попавшийся стул, весь содрогаясь от смеха:

— Самовар… одеколоном… самовар… вот дурья голова… да эту диковину и сюды не грех! — Он показал себе на горло, делая вид, что пьет.

Если в момент сильного нервного напряжения рассмешить человека, то кривая этого напряжения неминуемо падает и наступает разрядка. Так случилось и теперь. Хотя Агеев тотчас взял себя в руки и умолк, словно ему стыдно стало за свой смех, однако огонек недоверия, подозрительности и чего-то страшного, затаенного исчез из его глаз. Он отставил одеколон в сторону, прошелся по кухне, осмотрел пустые продуктовые шкафы, побарабанил пальцами по пустым кастрюлям, заглянул в набитую хламом кладовую и затем легкими, рысьими, совершенно не шедшими к его коренастой фигуре шагами стал подниматься через две-три ступени вверх по лестнице.

Я с облегчением вздохнула. Но едва за ним закрылась дверь,

как ко мне прибежали, запыхавшись, Леля и Валя.

— Что делать? — зашептали они. — Что делать? Один пепельницу из яшмы себе за пазуху сунул, другой — серебряный ковшик и твой нож из эмали с бирюзой для разрезывания страниц… Ходят по всему дому, шарят, берут, что им под руку попадает и что понравится!..

— Ну и пусть, — перебила я их, — ведь это все уже не наше… Молчите лучше… А как печь «Шехеразады»? Видели они ее? — И, оставив около самовара Лелю, мы с Валей быстро выбежали из кухни, пробежали первый этаж и поднялись наверх.

Наше появление как раз совпало с той минутой, когда, пройдя и осмотрев гостиную и акварельную, толпа приехавших остановилась около таинственной «печи».

— Наверное, княжеские крепостные такой кирпич выжигали!

— Ишь как раздраконили, и не поймешь чего!

— Знатно сделана, ничего не скажешь, — слышались реплики.

— Вот какую князья себе для фасону печку отхватили! — И переборы новых ругательств, теперь уже свидетельствовавших об удивлении, пересыпали высказывавшиеся мнения.

— А это кто? Сам князь, что ли? — вдруг послышался голос из гостиной. Мы обернулись: один отставший, в мужицком тулупе, со штыком на винтовке, остановился, устремив пристальный взгляд на папин портрет. Он был писан маслом одним из учеников Брюллова (его фамилию не помню). Портрет был кабинетный, папа был изображен по пояс в мундире шталмейстера Двора.

— Кто? Отвечай! Тебя небось спрашивают! — толкнул меня локтем один из рядом стоявших.

— Это мой отец.

— Гад! Аспид! Сволочь проклятая! — прозвучало тотчас вслед за моим ответом, и тут же послышался громкий треск. Стоявший в тулупе дважды проколол полотно картины штыком, и обезображенное лицо моего отца взглянуло на меня прорванными, зиявшими дырами, бывшими глазами.

Послышался громкий смех, посыпались ругательства, а за ними вслед в портрет полетели плевки: один, другой, третий…

— Ха-ха-ха! Получай, папаша, собачье сиятельство!

В первый раз за все время хладнокровие покинуло меня: горячая волна крови прилила к сердцу, залила мозг, внутри точно что-то загорелось, голова закружилась. Я быстро схватила первое, что попалось мне под руку. Это был тяжелый самородок малахита. Но я не успела поднять руки. Холодные пальцы Вали больно вцепились в мой локоть.

— Сумасшедшая! — прошипела она около моего уха. — Сумасшедшая… Ты хочешь нашей погибели?!

Я до боли прикусила себе язык и быстро отвернулась, чтобы не видеть дальнейшего надругательства.

— Пойдем! Пойдем скорей отсюда! Самовар, наверное, сбежал! — тянула меня за руку к дверям Валя.

Я подчинилась. Шла, и словно все вокруг меня плыло в сером тумане, я была вне себя, и в то же время я сознавала, что Валя меня спасла.

Уходя, мы слышали за своей спиной дикие крики, топот и треск. Толпа срывала со стен портреты, прокалывала их штыками, рвала полотно руками, рамы ломали и топтали их ногами. Сдержанность и внутренняя дисциплина, привитая мне с детских лет Вячеславом, вернули мне утерянное на миг равновесие.

Самовар вскипел. Держа его с двух сторон за ручки, мы с Валей внесли его в нашу просторную столовую первого этажа. Я вынула из буфета и постелила на стол нашу лучшую чайную скатерть, вышитую полевыми цветами. Я поставила на стол дорогой, в красивых медальонах гарднеровский сервиз. Валя положила в хрустальную вазу черные ломтики свеклы, заменявшие нам сахар, а страшные на вид, какие-то косматые лепешки из картофельных очистков, обвалянные в отрубях, были разложены на старинном фарфоровом блюде производства завода Попова. Чай из яблочных лепестков был уже заварен, когда «гости» с шумом вошли в столовую и стали рассаживаться за столом. Когда вся их орава спускалась вниз, комиссар Агеев задержался с ними на лестнице. Он, видимо, решил большую часть приехавших с ним отправить обратно в Нару. Мы слышали, как он отдавал своим хриплым голосом следующее распоряжение:

— Неча здесь толкучку разводить. Бери, Семенчук, своих ребят и езжайте обратно в Нару. Без вас справимся, ведь я рассчитывал, што здесь офицерье дворянское, а вишь, оказалось — одни девки… так што езжайте… в районе всякое может случиться, там люди нужнее.

Поэтому за чайный стол сели сам Агеев, два его, видимо, близких помощника и человек с винтовкой, тот самый, что надругался над портретом моего отца. Надо сказать, к «его чести», что эта выходка послужила как бы сигналом для всех остальных. Началось что-то невообразимое: заодно с нашими фамильными портретами были уничтожены портрет М. Ю. Лермонтова в лейб-гусарской форме, портрет Н. А. Римского-Корсакова в форме морского офицера и даже большой ценности акварель Петра Соколова «Фельдмаршал А. В. Суворов». Они были, видимо, тоже приняты за наших родственников, князей

Мещерских.

Кроме Агеева, двух его помощников и человека с винтовкой остались еще двое красногвардейцев. Вот все эти шесть человек и сели за стол. Я заметила, что красивая сервировка произвела на всех приятное впечатление. Они щупали руками скатерть и рассматривали чашки. Кроме того, приехавшие не только сняли с себя верхнюю одежду и шапки, но и выразили желание вымыть руки. Тогда мы любезно повели их в умывальную, но они мрачно взглянули на белый мрамор умывальника, на зеркала вокруг и предпочли пойти на кухню. Там, черпая воду из ведра кружкой, они поочередно поливали друг другу на руки и все усиленно сморкались мимо ведра.

…Прошло много лет, прошла вся моя жизнь, но эти события, со всеми их подробностями, так ярки, так живы в моей памяти, словно все это происходило всего какую-нибудь неделю назад. Однако мне запомнились только те люди и те лица, которые были непосредственно с нами связаны и играли какую-то роль в нашей судьбе. Вот почему из товарищей Агеева мне запомнились только человек с винтовкой и штыком, худой, как скелет, со впавшими от чахотки глазами, с торчавшими скулами и надрывным, отрывистым кашлем, который долгими приступами сотрясал этого тщедушного на вид беднягу, да два помощника Агеева — украинцы Колосовский и Фоменко. Остальные двое были просто вооруженными людьми, ничем не оставившими памяти о себе и прошедшими по нашей жизни тех лет в роли обычных статистов.

Колосовскому было, наверное, не больше двадцати пяти лет, это был настоящий красавец, сын Украины; глядя на него, так и думалось, что он герой Н. В. Гоголя Левко из «Майской ночи». Черные, живые глаза его то вспыхивали озорством, затаенной насмешкой, то становились какими-то томными и заволакивались не то ленью, не то негой.

Фоменко уже, наверное, минуло сорок лет, плотный хохол с упрямым, кряжистым, как у пня, затылком, лысый, с широкой грудью римского гладиатора, он казался олицетворением силы и упрямства…

Уже совсем рассвело, наступило утро. День обещал быть очень морозным. Красное солнце, прожигая кучи облаков, поднималось, бросая на снега оранжевый отблеск.

Только теперь подойдя к окну, я заметила несколько розвальней, стоявших возле входа в наш флигель. Лошади, привязанные к стволам деревьев, встряхивая головами, мирно жевали овес в подвязанных к их мордам мешочках. Вокруг дома на снегу тут и там было разбросано вывалившееся из саней сено.

Я спустилась с Валей в кухню, чтобы взять ведра и принести

воды, но тут же за нашими спинами мы услышали топот ног. Это был один из конвойных.

— Комиссар зовет! — крикнул он нам вслед.

Сердце мое сжалось. Господи!.. Какая пытка! Зачем еще мы ему понадобились? Неужели опять будет нас гнать из дома разгребать снег на шоссе?.. Мы послушно поднялись из кухни на первый этаж и вошли в столовую.

— Куды же сами-то убегли? — не то насмешливо, не то добродушно спросил Агеев. — Раз самовар нам поставили, значит, и чай с нами пить садитесь. Зовите сюды и третью вашу мамзель, ту… хныкалку!

Пришлось идти на второй этаж за Лелей. Она лежала в крайней комнате, в акварельной, одетая, зарывшись головой в одеяло. От страха ее била дрожь, словно в лихорадке, и слышно было, как она стучала зубами. Она ни за что не желала спуститься вниз. Стоя около нее, мы убеждали ее, как могли:

— Пойми же, их нельзя злить, а отказ сесть с ними за один стол они истолкуют нашей гордостью или, не дай Бог, брезгливостью, и тогда уже нам несдобровать! Пойми и то, что чем больше времени пройдет, тем на большее время отдалится срок трудовой повинности, на которую они нас гонят и на которую, конечно, непременно отправят, если за эти часы их «пыл» не остынет.

Наши доводы в конце концов подействовали на Лелю, и она присоединилась к нам. Не без страха в душе мы все трое появились в столовой, но чем сильнее у меня билось сердце, тем я старалась казаться спокойнее и независимее.

За время нашего отсутствия Агеев освободил за столом три стула для нас. Из саней были принесены мешки с продуктами. Из них извлекались буханки пайкового ржаного душистого солдатского хлеба. Перед каждой предназначенной нам чашкой уже лежало по отрезанному ломтю такого хлеба и по куску сахара. Заваренные нами вместо чая лепестки яблони были, к великому нашему ужасу, прямо в нашем присутствии вылиты из горячего чайника на пальмы, стоявшие в жардиньерках и украшавшие столовую. «Бедные пальмы! — подумала я. — Настал и ваш конец!..»

Зато по всей комнате распространялся запах настоящего душистого чая, который был щедро заварен приезжими. Нам даже предлагали украинское сало, которое небольшими ломтиками отрезал от большого куска Фоменко, но мы наотрез отказались от сала. Ведь настоящий чай с сахаром, вприкуску, и кусок тоже настоящего черного хлеба были в дни голода несбыточной мечтой, и в эти минуты, забыв все свои страхи, мы за чаем

запросто разговорились с приезжими.

После нескольких чашек чая они стали мягче, а мы — общительнее, и вскоре уже потекла у нас беседа — если и не совсем дружеская, то, во всяком случае, лишенная всякой неприязни. Нам пришлось снова и снова обстоятельно рассказать о том, как и с кем уехали наши матери. Я сказала, что все сроки их приезда уже прошли, что мы их ждем с минуты на минуту, и опять просила Агеева дать мне возможность дождаться матери, в ее отсутствие никуда нас не посылать.

— Ладно. Обождем! — сказал Агеев, опорожнив последнюю чашку чая и опрокидывая ее вверх донышком на блюдце. — Ладно… А теперь вот что… — продолжал он, переводя свой взгляд с меня на Валю, с Вали — на Лелю и потом снова на меня. — У вас там вверху пианина стоит, так кто ж из вас на ей играет?

Леля и Валя одновременно взглянули на меня.

— Ну, тады пошли, — прибавил Агеев, вставая из-за стола, — пошли все наверх, ты нам поиграешь…

Что я должна была им сыграть?..

Когда мы вошли в гостиную, я сразу почувствовала, что тот хотя и очень слабый, но все же контакт, который установился у нас за чайным столом, начал вдруг стремительно исчезать, оставляя чувство какой-то неловкости и напряженности.

Причин было много. Прежде всего, взгляды всех вошедших устремились в угол. Там лежали обломки рам, куски разорванных картин, по всему полу искрились осколки битых стекол от акварелей и гравюр… Может быть, и наши лица в ту минуту не сумели скрыть чувство проснувшегося отвращения к варварам, способным на подобный вандализм. Они же в свою очередь, глядя на дело рук своих, должно быть, вновь почувствовали закипающее буйство в своей крови. Опять они шарили по стенам глазами; их раздражала холодная неподвижность зеркал, отражавших старый севр и сакс, раздражала игра света в хрустальных подвесках люстры, раздражало множество мелких, изящных безделушек, которые олицетворяли для них сытую и праздную жизнь ненавистных «бар»…

Рассаживаясь в креслах и на диване, они мрачно молчали, но я видела, как в их глазах разгорается хмельная злоба, и поспешила скорее сесть за инструмент. Я заиграла радостное, бравурное «Свадебное шествие» Грига. По окончании его никто не проронил ни слова. Тогда я заиграла сонату до-минор Шопена. Я очень ее любила, но едва дошла до ее средней части, как за моей спиной кто-то сильно хлопнул кулаком. Я умолкла и обернулась. Это был Агеев.

— Чего это ты играешь непонятное какое-то… — сказал он. — Ты сыграй что-нибудь нашенское…

Я заиграла «Коробочку». Молчание было мне ответом. Тогда я с досадой что есть духу заиграла «Барыню».

В диком припадке ярости Агеев вскочил с дивана и подбежал ко мне.

— Ты чего думаешь? — в бешенстве заорал он. — Ты думаешь — мы мужики?! А? Ты думаешь — мы твоей «Барыни» не слыхали? Ты што, надсмешки над нами строить? А?

Я была в искреннем отчаянии. Схватив комиссара за рукав, я подвела его к нотной этажерке:

— Прошу вас, не обижайтесь, прошу вас, ищите сами и простите меня, ведь я не нарочно. Ищите, и что выберете, то я вам и сыграю…

— Ладно. — Агеев начал перебирать нотные тетради. — А ты покедава… давай… чего-нибудь… играй… — уже более спокойным голосом проворчал он.

Я нагнулась к нотной полке. На самой нижней стояли толстые тетради, тут была так называемая «легкая» музыка. Взяла одну наугад. Мне попались старые цыганские романсы в исполнении Вари Паниной, Вяльцевой, Плевицкой… Так же наугад я раскрыла и заиграла первый попавшийся романс. Это оказалась «Чайка»… «Вот вспыхнуло утро, румянятся воды, над озером быстрая чайка летит…» Я не успела доиграть до конца куплета — тяжелые пятерни легли сзади на мои плечи.

— Ну… ну… дальше, дальше играй… — услышала я голос Агеева. — Дунька, цыганка, пела, — продолжал он уже шепотом, с непередаваемой нежностью.

Я не верила своим ушам. И когда я проиграла до самого конца, руки Агеева, лежавшие на моих плечах, вздрогнули.

— Играй мне сначала и пой, чтобы я с начала и до самого конца слушал.

С этой минуты наступило для меня невыносимое мучение. Агеев придвинул кресло к пианино и сел рядом со мной. Снова, снова и снова он заставлял меня петь и играть злосчастную «Чайку», а когда наконец уже запротестовали сидевшие сзади лас его товарищи, Агеев встал и топнул на них ногой:

— Весь вечер будем «Чайку» играть и петь, а кому неохота, пущай не слушают.

Он уже стал называть меня Катей, и ни о каких трудовых работах на шоссе и помину не было. Конечно, это уже было относительным счастьем, но… голова моя гудела, пальцы плохо слушались, кисти рук сводила легкая судорога, сердце учащенно билось, я еле-еле владела собой: мне было нехорошо, и сердечная

тошнота подступала. В глазах темнело…

Товарищи Агеева сначала поворчали, потом им, видимо, уже стало невыносимо слушать одно и то же. Они встали и по одному вышли из гостиной.

Валя рассказывала мне, что они отправились на первый этаж и начали устраиваться. Выйдя на улицу, вытащили из саней и внесли в дом какие-то узлы, вещи. Стали располагаться по комнатам. Вкатили в дом и поставили в углу кухни целый бочонок кислой капусты, мешок муки и еще какие-то мешочки, жбаны и бидоны.

День прошел сумбурно. Агеев ходил за мной по пятам и при всяком удобном случае усаживал меня за пианино и просил играть ему «Чайку».

— Уж так ты меня, Катя, разочаровала, так разочаровала энтой самой «Чайкой», ну впрямь все нутро мое развернула…

Я была до крайности переутомлена. Я беспрестанно поглядывала в окна: не идут ли мама и Наталья Александровна. Но вот уже зашло солнце и потянулись по снегу лиловатые тени, а наши все не возвращались.

Я решила пойти в больницу, к Владыкиной, чтобы рассказать ей обо всем случившемся, но на улицу меня не выпустили. Тогда мы с Валей решились на обман. Валя, притворившись, что у нее болит зуб, держась рукой за щеку, стала собираться, чтобы пойти якобы в аптеку. Но и ей преградил дорогу конвойный. Тогда Леля показала письмо, которое ей в действительности надо было послать, и она попросила, чтобы ей разрешили пойти на почту, но и ее постигла та же участь. Сомнений не было: мы были под домашним арестом.

— Ни одну из вас выпускать не велено, — был нам ответ.

— Что это означает? — спросила я у Агеева.

— А то означает, што вы под нашим наблюдением, и вообще я вам еще послабление дал, а вас бы надоть всех троих в одну комнату запереть да конвойного к дверям приставить, вот што!

А я, вишь, пожалел вас, вот теперь под моей ответственностью и находитесь…

Эти слова, не предвещавшие ничего хорошего, рождали во мне самые мрачные предчувствия. Я не знала, как себя вести, о чем разговаривать, не знала, как отвечать на вопросы, которые нам беспрестанно задавали. Любое необдуманно вырвавшееся слово грозило конфликтом. На каждом шагу нас сторожило недоверие, подозрительность, которые еще к тому же подогревались классовой ненавистью.

Я видела, что испуганная, слезливая Леля производит на всех противное впечатление, вызывая брезгливость и насмешку.

Хорошенькая Валя внушала мне иные опасения: она держалась довольно свободно, но это не было естественной простотой, нет! Ее природное кокетство, врожденная манера стрелять своими черными, румынскими, блестящими глазами безразлично на кого в сочетании с ее непомерным апломбом, с какой-то дешевой вычурностью, с манерой говорить в нос, растягивая слова, — все это создавало по отношению к ней особую настороженность и даже какое-то удивление.

Когда на ее глазах кто-то бросил под ноги дымившийся окурок, да еще раздавил его каблуком, Валя обожгла провинившегося уничтожающим взглядом:

— Уберите сейчас же эту гадость и пользуйтесь пепельницами: вон они, кругом вас, на столах стоят!..

Красавец Колосовский, не стесняясь нашего присутствия, громко объявил свое мнение о ней товарищам:

— Ишь заноза!.. Гонору-то сколько! Эта из них больше всех на княжну похожа. Ей-Богу, я бы именно ее княжной счел. — Насмешка и вместе с тем какая-то затаенная мужская искорка вспыхнула в его глазах и тут же погасла.

— Катя, свари-ка нам щец! — приказал мне Агеев.

Хозяйничая на кухне, я предавалась самым беспокойным размышлениям. Я боялась, что мы будем званы на этот обед. Запах кислых щей, вырываясь из-под крышки огромной кастрюли, вызывал у меня чувство головокружения. В котелке варилась настоящая картошка, и я смотрела на эту картошку как на великое чудо! Уже сколько времени мы считали за большое благо скользкие, розоватые, сладко пахнувшие гнилью картофельные очистки. Да, съесть щи с ломтем ржаного хлеба, а на второе съесть вареной картошки — это было бы великим блаженством, но я прекрасно понимала, что плата за этот обед будет слишком велика.

Прежде всего, это повлечет за собой необходимость проводить время в обществе Агеева. Конечно, Агеев опять захочет слушать «Чайку». Нет! Надо найти любой предлог, надо во что бы то ни стало отказаться от этого обеда!..

Выслушав мои шепотом высказанные соображения, Валя яростно запротестовала:

— Вот еще! С какой стати отказываться! Из-за твоей щепетильности сидеть голодными!

Но наш спор прервался. В кухню вошел Агеев. Он вынул из принесенных в кухню мешков сушеную воблу, нагнулся к печке и сгреб в поддувало мелких углей.

— Вот, учись, как надо печь воблу, — обратился он ко мне, разложив рыбу на потухавшие угольки. Чешуя тотчас начала

румяниться и потрескивать.

Но тут один за другим товарищи Агеева стали заглядывать в кухню. Они делали друг другу какие-то знаки, шептались, подмигивали, слышались их приглушенные смешки. Было совершенно очевидно, что они что-то замышляют, но не хотят об этом при нас говорить. Затем все они начали расхаживать по кухне, снимать с полок поочередно одну кастрюлю за другой, щелкать по ней пальцами и советоваться между собой о чем-то, а о чем, мы с Валей не могли догадаться.

— Эта мала…

— Да ты вон ту возьми!

— Надо водой померить, сколько в нее взойдет.

— Да вы возьмите кастрюлю, изо всех самую большую!

— Нет, эта неудобная, она слишком низка, как бы не вспыхнуло…

— Давайте-ка приспособим вон то высокое ведро! Агеев, взглянув на нас, вдруг резко скомандовал:

— Ну, будя! Неча вам тут больше делать! Идите теперь наверх, собирайте на стол, а сюда больше не ходить!

Когда мы, удивленные, вышли с Валей из кухни, дверь за нами тотчас захлопнулась. Тут же звякнуло железо накидываемого крючка.

Покинутая новыми жильцами столовая была неузнаваема: всюду на креслах и на диванах валялись какие-то мешки, котомки и даже клочки сена, занесенные сюда, очевидно, из саней во время перетаскивания вещей и провианта; пол был усеян окурками, заплеван. С чувством физической тошноты мы принялись убирать чайную посуду и накрывать стол к обеду. Вдруг мы с Валей одновременно догадались: «Ханжа! Ну конечно, они собираются варить ханжу». Бог знает, что только не входило в это страшное пойло. А в те годы народ пил даже политуру — столярный лак. Ханжа… страшное слово! — Валя, — сказала я, накрывая на стол, — ты и Леля должны подчиниться моему решению. Мы должны сделать все, только бы отказаться от обеда.

— Значит, мы останемся голодными? — спросила Валя, уже не протестуя, но с жалким выражением лица.

— Почему голодными? Жили же мы до сих пор, ведь правда?.. Ты должна забыть о том, что эти люди приехали, что они привезли сюда хлеб, картошку, капусту и сало.

— Я не могу забыть об этом…

— А ты заставь себя, а главное, вспомни: ведь, уезжая, мама оставила нам еду. У нас есть лепешки, и, наконец, мы даже можем нарушить запрет и вскрыть запечатанный и хранящийся к Рождеству горшочек с украинским смальцем. Я думаю, что мама

не будет сердиться, ведь неизвестно, что с нами будет… Эти люди приехали из района, чтобы выселить нас. Разве ты не слышала, что они хотели тут же выгнать нас на мороз чистить снег, а затем, к вечеру, отправить нас на грузовике в Нару? И с этими людьми ты мечтаешь сесть за один стол? Еще неизвестно, что нас ожидает через несколько часов, ты можешь себе представить, что с ними будет, когда они напьются?!

Валя больше не возражала, и, накрывая на стол, мы, словно заговорщики, вполголоса, шепотом намечали линию своего поведения.

Когда я сказала Агееву, что у нас с Валей болит голова и что нас, наверное, продуло сквозняком на кухне, а потому мы просим разрешения уйти к себе наверх спать, он даже и возражать не вздумал, а, крякнув, махнул мне в ответ рукой, что, видимо, означало его полное согласие.

Прибежав наверх, мы достали лежавшие между окнами, на холоде, оставленные нам лепешки, достали «заветный» горшочек со смальцем, позвали Лелю.

Снизу доносилось беспрестанное хлопанье дверей, топот и суета. Ожидание выпивки вызвало среди приезжих необычайное оживление. Запах ханжи, отвратительный, тошнотворный, был настолько едким, что, поднявшись из кухни в первый этаж, он проник даже к нам на второй… Но вот топот сапог по лестницам прекратился, и весь шум и гомон перешел в столовую, которая находилась прямо под гостиной, в которой мы втроем сидели.

Чувство радостного облегчения охватило меня от сознания, что мы наконец у себя, что до следующего утра мы не увидим больше хозяев нашей судьбы и жизни. Я думала также и о том, что не такие уж они страшные, эти люди, какими они мне показались сначала, и что сам Агеев не такой уж плохой человек, и никогда еще лепешки из картофельных очистков не казались мне столь вкусными…

Мы зажгли во всех комнатах лампадки, посмотрели на часы. Стрелка их уже стояла на десяти. Так как у всех нас на душе было тревожно, мы решили лечь спать все вместе, втроем, в маминой спальне.

Шум внизу возрастал с каждой минутой. Выкрики, хохот, обрывки песен, звон битой посуды, ругань становились все громче и громче. Ни о каком сне не могло быть и речи. Мы с Валей одетые лежали на постели мамы, Леля — напротив нас, на небольшом диване. Прислушивались к происходившему внизу и переглядывались.

— А вдруг они напьются и им вздумается прийти сюда, к нам? — спросила Валя.

Да… это было вполне возможным, а может быть, и неизбежным. Мы сразу представили себе, на что могли быть способны эти люди, которые, будучи трезвыми, только что продемонстрировали перед нами всю свою дикость, хотя бы теми же сорванными с гвоздей и растерзанными на куски портретами. А ведь нам хорошо известно, какой ненавистью они к нам полны. Что же проснется в них после того, когда они перепьются?.. Кроме того, они не только имеют при себе оружие, но они еще при этом наделены безграничной властью над нами и могут расправляться с нами так, как им заблагорассудится. Смерть страшна, но бесчестье еще страшнее…

Мы подошли к дверям гостиной, которые были нами заперты на обычный внутренний и к тому же очень старый замок. Что стоило этим здоровякам одним сильным рывком расправиться с ним! И вдруг я вспомнила, как в темные ночи поздней осени, когда мы с бабушкой и няней Пашенькой оставались одни в этом флигеле, обе старушки, боясь не существовавших воров, запирались на ночь. Они просто-напросто брали кочергу, вдвигали ее в обе ручки двустворчатой двери гостиной, и она выполняла у них роль прочного засова. Теперь мы сделали то же самое…

Все то, что мы пережили потом, я не забуду до самой моей смерти: каждая минута осталась настолько свежа в моей памяти, точно это случилось вчера. Спустя несколько секунд, как только мы продели кочергу через обе ручки двери, мы услышали, как внизу с грохотом распахнулись двери столовой и пьяные, озверевшие красногвардейцы устремились вверх по лестнице, к нам. Зачем скрывать? Мы просто обезумели от ужаса. По тому, как они лезли наверх, я поняла, что они сильно перепились, и только на это была вся моя надежда. Стараясь перегнать друг друга, они спотыкались, падали. Нагонявшие их сзади, видимо, оступившись на них, тоже падали. Слышались проклятия и невероятная ругань. Наконец, разобравшись, где чья нога и где чья рука, они вставали, помогая друг другу, и снова лезли наверх, и снова, отпихивая друг друга, ссорились и падали…

Из гостиной было две двери: одна вела в акварельную, где была «печь» — вход в «Шехеразаду», а другая — к маме, в спальню. Укрепив кочергу в дверях гостиной и услышав топот по лестнице нежданных «гостей», мы все трое бросились в спальню, и я повернула ключ в дверях на два полных оборота. Только когда ключ щелкнул во втором, последнем, обороте, я поняла, что сделала огромную ошибку. Ведь если им удастся вышибить дверь гостиной (а в этом сомнения не было), то они, войдя в нее, увидят одну из дверец запертой и поймут, что именно за этой дверью мы

и находимся. Конечно, надо было запереть обе двери. Это было моей непростительной оплошностью. Наконец, был еще один блестящий выход: можно было отпереть волшебную дверь — «печь» и скрыться в «Шехеразаде». Это, конечно, было бы самым верным, но, говоря искренно, мы просто растерялись. Ошибку нашу исправить было уже невозможно.

А в двери гостиной ломились что было силы. Она вся трещала. Единственное, что мы догадались сделать, так это потушить там все лампады, отчего при плотных спущенных на окнах шторах вокруг стояла чернильная темнота.

Наши сердца учащенно бились; не было никаких сомнений, что дверь уступит их силе, и поэтому каждый удар казался нам последним. Вслед за этой победой они, конечно, бросятся взламывать запертую дверь спальни.

Я даже не могу вспомнить, что в те минуты было с Валей и Лелей, скажу только, что я вся дрожала, словно на тридцатиградусном морозе; я была сама себе противна за эту дрожь, справиться с которой не имела сил.

По ужасающим ругательствам, по смыслу некоторых долетавших до нас угроз и неприличных выкриков не оставалось никакого сомнения в том, зачем к нам рвались эти шесть озверевших, пьяных, потерявших человеческий облик существ.

Однако дверь гостиной все не поддавалась. Тогда после долгой возни около нее и после грохота ударов по ней мы вдруг услышали звук рассекаемого дерева. Видимо, кто-то из них догадался принести из кухни топор, и теперь они рубили дверь.

Я схватила небольшой пуф от маминого туалета: его четыре ножки имели на своих концах четыре довольно больших, тяжелых медных колесика. Перевернув его вверх ножками, я подошла с ним к одному из окон.

— Как только они войдут в гостиную, я разобью окно вот этим и выброшусь вниз, — проговорила я.

— На мороз? В одном платье? Неужели ты надеешься убежать от них? Да они тебя просто пристрелят, если только ты к тому же, прыгая, не сломаешь себе руки или ноги, — сказала Валя. Я понимала, что она права.

— Если ты предпочитаешь оставаться здесь, — сказала я, — это твое личное дело. Но я так просто своей жизни не отдам, этого удовольствия я им не доставлю. Пусть я разобьюсь, но я буду вне дома, я буду изо всех сил кричать, звать на помощь, ведь кругом еще три флигеля, услышит же кто-нибудь меня? Ведь мы не в лесу? Лучше останусь искалеченной, но не послужу для этих зверей забавой…

Но Валя обняла меня, не дав мне договорить.

— Я — с тобой, — сказала она твердо.

Мы невольно взглянули на молчавшую Лелю. Намного старше нас, она и не думала о сопротивлении. С бледным, каким-то позеленевшим лицом и широко раскрытыми глазами, обняв колени, она сидела на диване в состоянии какого-то оцепенения. Валя подошла к ней, хотела ей что-то сказать, дотронулась до ее плеча. Леля вздрогнула, точно от ожога, злобно скривила рот, пытаясь что-то ответить, но ее голос заглушил ужасный грохот: это обломки дверей полетели вниз, по ступеням лестницы. Потом прозвенела, упав на пол, отброшенная кочерга. Пьяные взломщики уже вошли в гостиную и брели в темноте наугад, не переставая ругаться и чиркать спичками.

— С-с-сейчас их всех пер-р-рестр-р-реляю!!! — заплетавшимся языком орал Агеев.

— Погоди, погоди, застрелить завсегда успеем, — отвечал ему Фоменко, которого я сразу узнала по голосу. Затем он начал бормотать что-то невнятное.

Я вспомнила его тупой, словно срезанный, затылок, жестокую линию подбородка. Все шло, как я и предполагала. Конечно, теперь, войдя в гостиную и найдя одну из дверей запертой, они начнут ломиться именно в нее.

— Эй! Выходите! Эй! — орал Агеев.

Подходя то к одному, то к другому окну спальни, я выбирала то, которое казалось мне удобнее для прыжка.

Но тут вдруг что-то страшно ударило в нашу стену, затем послышался грохот, чье-то тело тяжело шлепнулось об пол. Все это покрыл дикий, совершенно звериный вой.

Прислушиваясь, затаив дыхание, мы замерли, и на какую-то долю секунды замерло все и там, за стеной. Потом послышалась суета, зашаркали ноги. Мы поняли, что с кем-то что-то случилось, что он упал и что сейчас его со всех сторон обступили. Мы терялись в догадках. Что могло там, среди них, произойти? Нам было понятно только одно: что это случилось с кем-то в том углу, где стояло пианино, то есть около нашей стены.

Вой перешел теперь в стоны и всхлипывания.

— Не вижу… не вижу… глаз… больница… — долетали до нас слова.

Что же это могло быть? Какое-нибудь несчастье? Но мы не слышали, чтобы кто-нибудь дрался, и никакого выстрела случайного тоже не раздавалось — следовательно, несчастный случай был тоже исключен.

Так или иначе, но неизвестное нам событие, которое произошло там, за стеной, в гостиной, сразу изменило всю ситуацию. Волна нараставших темных инстинктов, жажда насилия и бесчинств спала, она уступила место растерянности. Теперь ругались уже много тише, некоторые даже стали говорить шепотом. Всхлипывавшего человека, с которым что-то приключилось и который между стонами уже довольно внятно просил «холодной водицы испить», просил ему «пособить», мы узнали по голосу. Это был Фоменко. По долгой возне и по некоторым долетавшим до нас словам мы поняли, что его не то понесут, не то поведут вниз.

Стук сапог долго еще раздавался по лестницам, и долго еще внизу, в первом этаже, хлопали дверьми.

Потом мы услышали, как открывали засов входных дверей. Прильнув к стеклу окна, мы жадно наблюдали. В темноте ночи нам очень помогала белизна снега, к тому же вышедшие из дома люди то закуривали, беспрестанно чиркая спичками, то зажигали для освещения клочки сена, разбросанные вокруг. Сначала они все суетились около одних саней, подмащивая сено для кого-то, а затем вывели из дома под руки Фоменко. В темноте ярко белела его непомерно большая голова, которая была вся вокруг обвязана мохнатым полотенцем, и причем таким образом, что половина его лица была скрыта. Его усадили в сани, но он, видимо, очень обессилел, и Колосовский, сев с ним рядом и поддерживая, обнял его. Один из конвойных сел с другой стороны Фоменко, а другой взялся за вожжи. Лошадь тронулась с места.

Солдатик со штыком вместе с Агеевым, пошатываясь, направились к дому… Нетрудно было догадаться, что Фоменко повезли в больницу.

Двое оставшихся еще некоторое время галдели и шумели. Они, видимо, продолжали пить. Время от времени снова слышался шум отодвигаемого засова. Со страхом мы бросались к окнам, думая, что кто-нибудь прибыл к ним из Нары, но оказалось, что у них была рвота и потому они периодически выбегали на улицу. Их рвало прямо около крыльца.

— Не будем больше подходить к окну, — сказала я, — невозможно больше смотреть на это…

Страх вдруг уступил место невероятному отвращению и

неизмеримой усталости.

Что еще могло ожидать нас впереди?.. Посоветовавшись, мы решили, что по очереди одна из нас будет дежурить, остальные — спать. Но едва дежурство дошло до Лели, как она бессовестно заснула…

Мы все трое были разбужены громким стуком в нашу дверь и голосами наших матерей, звавших нас по имени.

Можно себе представить, что пережили мама с Натальей Александровной, когда с мешками за спиной и тяжелыми кульками в руках они подходили к флигелю, в котором нас оставили… Уже издали они увидели, что случилось что-то недоброе. Стоявший в снежных сугробах флигель, который, казалось, уютно дремал среди высоких, густых елей и сосен, вся эта привычная мирная картина изменилась до неузнаваемости. Снег был теперь глубоко изрыт чьими-то ногами. Раскиданные клоки сена вокруг стоявших саней и лошадей, снег, желтый и зловонный от человеческих нечистот, и масса рвоты вокруг, окрашенной бурым цветом крови. Эта представившаяся их глазам картина была достаточно выразительным предисловием.

Дикое время — дикие события…

Входная дверь во флигель была не заперта, когда наши матери вошли, а войдя, они прямо нос к носу встретились с самим комиссаром Агеевым. Он только что выспался, умылся холодной водой, протрезвел и решил пойти в больницу проведать Фоменко. И мама, и Наталья Александровна утверждали, что, встретив их и узнав, кто они такие, Агеев почему-то несколько смутился и даже буркнул себе под нос, что «вчера-де маленько погуторили, маленько выпили, ну и… беспорядок получился», вслед за этим своего рода извинением он быстро шмыгнул мимо двух пораженных женщин и исчез за дверью, даже не представившись им и не сказав ни слова о цели своего приезда с красногвардейцами из Нары.

Возможно ли описать, какой радостью был для нас приезд наших матерей?!

В гостиной пианино оказалось сильно сдвинуто вбок, и весь ковер был в каких-то зловещих черных пятнах. Это была кровь.

Раздевшись, кое-как умывшись с дороги и даже не разобрав привезенных продуктов, мама с Натальей Александровной немедля пошли в больницу, к главному врачу Владыкиной. Она рассказала им, что уже успела послать в Москву с нарочным жалобу на то, что флигель, национализированный больницей, подвергся незаконному вселению в него комиссара и его людей из Наро-Фоминска. Владыкина, взволнованная, рассказала маме, что, когда ночью вдребезги пьяные красногвардейцы, приехав в

больницу, вывели из саней не менее пьяного, обливавшегося кровью Фоменко, у которого наполовину вытекший глаз болтался на каких-то кровавых нитях, свисая на щеку, она сразу поняла, какой пьяный произвол мог иметь место в нашем флигеле.

Мало-помалу мы стали узнавать о том, что произошло в ту ночь.

Сопротивление запертой на кочергу и неподдававшейся двери настолько озлобило и распалило пьяных, что они, расколов наконец топором дверь, как бешеные ворвались в гостиную, в которой царила полная темнота.

Фоменко первый ринулся вперед, зацепился ногой за ковер, покачнулся и всей тяжестью тела упал на пианино.

Причем, падая вперед лицом, он глазом наткнулся на торчавший подсвечник пианино.

Агеев не имел права самовольно вселяться на территорию флигеля, занятого больницей, и все же Москва ответила очень мягко: «Если в данном занятом больницей флигеле есть свободные комнаты, то комиссар Агеев может их временно занять и оставаться в них по мере надобности…» О нашей же судьбе нигде официально не упоминалось.

Я уже говорила о том, что Владыкина нам всячески покровительствовала. Наше с мамой проживание во флигеле она объяснила как приезд временных гостей к одной из больничных служащих.

Было бы смешно определять человека тех лет словами «хороший» или «плохой». Тогда часто звучали два других слова: «свой» и «чужой» — этим измерялась личность человека, в этом и заключалось его право на жизнь. А «своему» было дозволено поступать так, как он это считал нужным.

Для меня и до сих пор осталось полной тайной: что, собственно, собирался с нами сделать Агеев? И почему он не сделал с нами того, чем он нам угрожал?..

Теперь, когда прошло столько лет и когда напечатано столько мемуарной литературы о «последних днях Дома Романовых» в ссылке и заточении, во всей этой литературе отмечается одно странное обстоятельство. Для того чтобы держать под стражей и домашним арестом царскую семью, выделяли самых верных, самых надежных людей, тех, кому особенно доверяли. И что же? Все эти люди мало-помалу начинали лишаться доверия властей. Иных торопились отозвать, других просто арестовывали свои же товарищи. И это далеко не случайность. Чем же это объяснить? Мне кажется, что я по опыту своей собственной жизни могу ответить на этот вопрос. Я далека от мысли проводить параллель между Романовыми и нами: они были представителями

царствовавшей династии, мы — просто русские князья, которых было множество. Но в какой-то степени между нами было очень много общего и похожего. Я хочу сказать, что когда озлобленные, разъяренные люди, натравленные на своих тиранов, вдруг увидели этих «тиранов» (например, Романовых) вблизи, когда им пришлось изо дня в день жить с ними, наблюдать за их привычками, слушать их разговоры, вникать в их взаимоотношения, то их жадное любопытство, их желание поднять пленников на смех, унизить их — все эти чувства не нашли благоприятной почвы. Они увидели в них людей, самых обыкновенных людей, и именно в этом и была вся опасность. Между теми и другими стали возникать обычные человеческие отношения. И если у преследуемых это вызывало чувство благодарности, то преследователи, сами того не замечая, даже против собственной воли, смягчались.

Что-то похожее на это происходило в те годы и с нами.

Комиссар Агеев старался уверить маму и Наталью Александровну в том, что в тот злополучный вечер он и его товарищи, пообедав и выпив, решили подняться к нам наверх только потому, что им очень захотелось послушать музыку. И всем нам ничего не оставалось, как сделать вид, что мы поверили в это объяснение. Обломки двери гостиной, обломки разбитых рам и куски портретов мы вымели, вынесли.

Фоменко пролежал в петровской больнице недолго. Глаз ему удалили. Мы видели его мельком, когда он заходил к нам во флигель, к Агееву. Затем он тут же, не оставаясь ночевать, уехал в Нару, и больше мы его никогда не встречали. Что же касается Агеева, Колосовского и трех остальных, то они поселились с нами, расположившись на первом этаже.

Жизнь началась престранная. Агеев объявил нам, что мы, как он выразился, «до особенного распоряжения» будем жить под его наблюдением и под его ответственностью. Затем нам было объявлено, что не только в Москву, но даже за ограду имения ни мама, ни я выходить не имеем права. Исключение было сделано Наталье Александровне, так как она должна была ходить на работу в больницу, а также двум ее дочерям.

Совместная жизнь с комиссаром Агеевым была сплошным анекдотом, под которым скрывалась для нас ежеминутная опасность. Но мы, по своей необычайной беспечности, не сознавали всего трагизма нашего положения и не понимали того, что ходим по краю пропасти.

Агеев потребовал, чтобы мы на ночь не смели запирать дверей наших комнат, а так как дверь гостиной была выломана, то мы чувствовали себя под их наблюдением так, словно

находимся за стеклом на витрине.

Поскольку Агеева и его товарищей надо было обслуживать, то это легло на мамины плечи. Обедали мы все вместе внизу, в нашей бывшей столовой. Пока что мы были с ними на равных правах, так как мама привезла пшена, муки, свиного сала и даже немного сахара.

Я несла свою музыкальную трудовую повинность: должна была играть и петь, когда по вечерам Агеев с товарищами приходил наверх, в гостиную. Вся программа состояла из песен, романсов и оперетт. Конечно, все начиналось злосчастной «Чайкой». Кроме того, мои слушатели часто просили меня подбирать по слуху. «Мы жертвою пали», «Среди долины ровныя», «Шумел камыш», «Сижу за решеткой» и т. д. Что касается Колосовского, то он требовал украинских песен.

Сами по себе эти люди оказались неплохими. Ведь они приехали из Нары с каким-то страшным и жестоким заданием по отношению к нам, и совершенно неизвестно, что именно их остановило, неизвестно, что помешало им поступить с нами так, как поступали им подобные с такими, как мы… Мало того, подчас мы даже замечали по отношению к нам проявление с их стороны самой настоящей доброжелательности. Может быть, благодаря музыке ко мне все они и каждый в отдельности относились особенно хорошо. Это было замечено и мамой, и Натальей Александровной, а потому если надо было принести воды из колодца или наколоть дров, то в таких случаях посылали меня.

Стоило мне только, надев шубку и подвязавшись платком, выйти с колуном во двор, как кто-нибудь из красногвардейцев выхватывал его из моих рук и накалывал мне охапку дров. Стоило мне также выйти с ведрами, как у меня их отбирали и через несколько минут вода была принесена.

Ни для кого другого из нас этого не делали и совершенно равнодушно смотрели на то, как остальные колют дрова и носят воду.

Заметив, что мы с Валей в свободное от хозяйства время берем санки и уходим в парк, Агеев велел соорудить около самого дома гору и облить ее водой, чтобы мы катались, как он выразился, «на глазах».

Солдатик со штыком, начавший первым уничтожение портретов, и двое других красногвардейцев состояли на положении не то стражи, не то конвоя. Сам комиссар Агеев и его помощник Колосовский в роли непосредственных наблюдателей в любое время дня и ночи, поднявшись к нам, тщательно обследовали, что именно мы делаем, и, конечно, не найдя ничего политически предосудительного, снова молча спускались к себе

вниз.

Часто я что-нибудь писала (обычно это были стихи). В таких случаях Агеев долго стоял за моей спиной. Он переминался с ноги на ногу, и я слышала, как он по складам бормотал себе под нос то прочитанное слово, которое он с трудом одолел. Однажды это ему надоело.

— Почерк у тебя хороший, крупный, — сказал он, — только больно много пишешь, ни к чему это…

Однажды я вздумала переписать в отдельную тетрадочку стихи моего отца, написанные им по-французски. Как всегда, войдя неожиданно в комнату и найдя меня склоненной над листом тетради, с пером в руке, Агеев застыл за моей спиной. Несколько секунд я слышала его сопение.

— Чаво пишешь? — заорал он вдруг. — Чаво пишешь, спрашиваю?

— Переписываю французские стихи.

— Хранцуськие, говоришь? Стихи, говоришь?!

Все больше и больше распаляясь, он схватил переписанное мною, затем выхватил маленькую книжечку — сборник стихов моего отца — и стал злобно запихивать все это в свой карман.

— Посля разберем, што это такое! — бормотал он. — Разберем… — И вдруг выкрикнул: — Будя! Будя! Штоб больше ничего непонятного не писала! Расстреляю вас, шпионы проклятые!

Однажды Агеев застал и Валю за листком почтовой бумаги: она писала кому-то письмо. Почерк у нее был нервный, мелкий, немного неряшливый. Вырвав у нее листок бумаги и ничего не разобрав, Агеев велел ей тут же переписать все вновь крупно и разборчиво. Она подчинилась, но дрожащей от волнения и страха рукой написала еще неразборчивее.

Агеев крякнул, выхватил у нее лист, порвал его тут же на мелкие клочки.

— Кончайте вашу чертову писанину! — заорал он. — Штоб ни одна из вас больше ничего не писала, а не то расправлюсь с вами сам!

Наш ежедневный общий обед был для нас настоящей пыткой. Вся опасность заключалась в моей невероятной смешливости, которой я заражала Валю, а за ней и всех остальных. Во время обеда, за столом, к маме мужики обращались с самыми, на наш взгляд, дикими вопросами, вроде таких: «Почему если Земля шар, то люди с другой его стороны ходят вверх ногами и не падают? И почему по той же причине не валятся на бок дома? И почему не вытекают реки, а тем более океаны?» Один вопрос нелепее другого сыпался на бедную маму.

Однажды я фыркнула прямо в лицо Агееву, когда он, глядя на ноты, сказал:

— И как это ты эти чертовские букашки разбираешь? Не иначе как их жиды выдумали, они на ихнюю азбуку похожи…

Когда я пыталась объяснить Агееву, что такое меридиан, он, насупившись, долго слушал, а потом хлопнул по столу кулаком:

— Врешь все! Нет такого слова, ты мне его нарошно выдумала, штобы я его не выговаривал, штоб не запомнил. И как это земной шар в голове разделен, када он не делен? И кто это его делил? Ты думаешь, я дурак мужик, не догадаюсь? Ты мне здеся полчаса околесицу плетешь!

Теперь, через много лет, я понимаю, что этими людьми руководила жажда знания, что, видя перед собой нас, представителей другого класса, другой культуры, они искали у нас объяснений, искали какой-то крупицы образования, но мы этого тогда не понимали.

Рассердившись, Агеев быстро отходил.

— Ну, будя мне голову задурять, будя дурака валять! Иди-ка играй мне лучше «Чайку».

Все мы были измучены этой пыткой. Чувство невероятного нервного напряжения сменялось чувством глубокой усталости и полной апатии.

Все эти обстоятельства еще очень осложнились кокетством хорошенькой Вали, которая, беспрестанно стреляя своими блестящими глазами, совершенно покорила сердце красавца Колосовского. Не заботясь о взаимности, не скрывая своих намерений и ничуть не стесняясь ничьим присутствием, Колосовский вслух при нас высчитывал, сколько надо ждать времени, пока Валя станет совершеннолетней и их зарегистрируют.

В те дни Валя зачитывалась «Консуэло» Жорж Занд и не переставала восхищаться Венецией.

— И в Венецию с тобой поедем, и во все концы света с тобой поедем! — впиваясь в Валю своим горящим взглядом, сказал однажды Колосовский, когда мы все сидели в столовой за чайным столом.

— Вы-то, может быть, и поедете, — насмешливо отрезала Валя, — да я-то с вами никуда не поеду.

Колосовский, сидевший рядом с ней, вскочил.

— Не поедешь? Белогвардейчика ждешь? Ему слово дала? Конца советской власти дожидаешься? — Привычным движением его правая рука скользнула вниз, нащупала кобуру револьвера и задержалась на ней.

— Что вы! Как вам не стыдно! Какие белогвардейцы? Ведь

она еще ребенок! Вы просто с ума сошли! — воскликнула Наталья Александровна, всплеснув руками и побелев от страха.

Затем она схватила за рукав Колосовского, но тот отстранил ее:

— То-то же… — И хмурым взглядом он обвел всех нас, сидевших за столом.

Я взглянула на Агеева. Он молча улыбался своей чудовищной улыбкой, которая совершенно прикрыла его и без того прищуренный глаз. Второй, выкатившийся, кровавый, со слезившимся веком, был устремлен на меня.

— Идемте скорее наверх, — весело сказала я, вскочив со стула, — мне на ум пришла одна замечательная песня!

Я поднималась по ступеням лестницы, сердце мое учащенно билось, и я, волнуясь, перебирала в памяти разные песни. Какую новую песню я могла бы им сыграть? Мое предложение сразу разрядило ту грозовую напряженность, которая только что надвигалась и неизвестно, чем бы еще разразилась… Усаживаясь за пианино, я слышала за своей спиной шарканье сапог, сопение, чиркнула спичка, повалил сизый махорочный дым; кто-то стал отплевываться прямо на ковер…

Я чувствовала, как прыгает сердце в груди, как приливает кровь к вискам. Чья рука посадила нас в клетку с этими дикими, кровожадными животными?! Боже мой! Неужели так жить дальше? Да ведь такое существование хуже смерти!.. Вячеслав, Алек, Мишотик, где вы?! Где вы, наши родные, наши защитники?.. Мы одни, совершенно одни, и никого кругом, ни одной души. Мы словно прокаженные, которые всем ненавистны, которые всем несут опасность и от которых все отказались. Мне хотелось разом покончить счеты с жизнью: хотелось обернуться к тем, кто сидел за моей спиной: «Стреляйте, и чем скорее, тем лучше! Какое мы совершили преступление? В чем наша вина? Какое право вы имеете на наши жизни, на нашу свободу?..»

Но тут я вспомнила маму, ее горячую веру в Бога, ее христианскую кротость и ее твердую уверенность в том, что все это мы должны перенести…

Потом я подумала о Наталье Александровне, о Леле и о Вале. Нет!.. Я не вольна была распоряжаться собой, ведь я была не одна.

Я подавила поднявшиеся во мне чувства и, сев за пианино, заиграла:

«Вот мчится тройка почтовая…»

Один день шел на смену другому, и мы должны были приспосабливаться к той нелепой жизни, в которую попали. Живя в условиях домашнего ареста, мы научились хитростям. Так, например, Агеева и его товарищей мы решили между собой

называть «огурцами».

Иногда мама, стоя наверху лестницы, спрашивала возвращавшуюся из кухни Наталью Александровну:

— Есть у нас огурцы?

— Да, по-моему, только один большой остался…

Это означало, что все ушли и внизу, у себя, только Агеев.

— Как там насчет огурчиков? — спрашивали мы в другой раз.

— Вот уж не знаю, — бывал ответ, — какие-то паршивенькие, по-моему, там остались.

Это значило, что Агеева и Колосовского нет, а дома только младшие чины.

Таким образом, разговоры об «огурцах» были у нас в большом ходу и долго нас выручали, помогая нам ориентироваться в общей обстановке.

Наконец пришел к нам наверх сам Агеев.

— Искал-искал я ваших огурцов в чулане, — сказал он, обращаясь к Наталье Александровне, — да так и не нашел… А ребята мои как раз картошку раздобыли, так не дадите ли нам несколько огурчиков?

У Натальи Александровны от страха язык прилип к гортани, мама нервно закашлялась.

Побледнев, Наталья Александровна повела сбивчивый и путаный рассказ о какой-то бочке прокисших огурцов в больнице, из которой ей якобы давали иногда домой то два, то три огурчика.

— «Два»… «три»… — злобно передразнил Агеев, — да вы их каждый день жрете, токмо и разговору у вас с утра што об огурцах…

И чем мрачнее становилось лицо комиссара, тем бессвязнее лепетала свою небылицу об огурцах перепуганная насмерть Наталья Александровна. Наконец Агеев окончательно помрачнел, сплюнул со злобой прямо перед нами на ковер и ушел, хлопнув дверью.

После этого случая всякий разговор об огурцах прекратился. Однако мы не унывали и стали называть Агеева «катушкой белых ниток», Колосовского — «катушкой черных», а всех остальных — «мотками штопальных ниток». Теперь вздумай Агеев или его товарищи попросить у нас ниток, то мы могли бы уже безоговорочно удовлетворить их просьбу. Но ниток они не просили, а после истории с огурцами Агеев смотрел на всех нас хмуро и подозрительно.

Положа руку на сердце, чем мы ближе узнавали Агеева, тем более удивлялись: нам просто не верилось, что в руки таких, как он, могла перейти власть, что такими, как он, было взято

управление всей Россией. Мы думали, что советская власть удержится недолго. Наверное, так думала и та интеллигенция, которая в первые годы после Октябрьской революции не шла на работу к большевикам.

Агеев и его товарищи были не только безграмотны, но, собираясь за столом за вечерним чаем, они, вспоминая свою жизнь в деревне, совершенно серьезно рассказывали о порче скота, о лечении заговором, о каких-то бабках-колдуньях и о сглазе…

Мы лично взяли за правило никогда и ни в чем им не противоречить, так как после нескольких случаев наших с ними споров отношение Агеева к нам стало страшно враждебно. С тех пор мы умолкли и делали вид, что во всем с ними согласны.

Медленно, один за другим тянулись месяцы зимы. Что это была за пытка!.. Иногда по вечерам я забиралась к маме на постель, и мы шепотом делились впечатлениями: вспоминали наше пребывание в тюрьме и находили в тех днях больше преимуществ, нежели в нашем теперешнем положении. Там в промежутках между вызовами, от допроса до допроса, мы знакомились, а порой и сдруживались с такими же несчастными, как и мы. У нас были часы, когда мы все вместе разговаривали, обсуждали, советовались, предполагали — на это на все у нас было право, а здесь?.. Здесь все двадцать четыре часа мы чувствовали себя под надзором, жизнь наша была вся точно под стеклянным колпаком. Неусыпные глаза следили за нами. Мама, Наталья Александровна, Леля, Валя и я уже никогда больше не вели ни о чем общей беседы. В любой наш разговор неизменно вмешивался либо сам Агеев, либо Колосовский, либо несколько человек сразу. Стоило нам всем вместе сесть читать вслух, чтобы отдохнуть, как Агеев и Колосовский подсаживались к нам.

Когда мама со мной хотела пойти в баню при больнице, Агеев не пустил.

— Мойтеся в кухне, — мрачно сказал он, — никуды за ворота не пойдете.

На все наши вопросы он отвечал, что ждет относительно нас какого-то «особенного распоряжения».

Заняв весь первый этаж флигеля, Агеев устроил в нем свою резиденцию. К нему приезжали то из Москвы, то из Нары. Он получал много почты и отвечал на нее, сидя в так называемой «бывшей офицерской» комнате за письменным столом моего брата. Долгими часами разбирал какие-то бумаги.

Жалоба Владыкиной, посланная в Центр, только узаконила вторжение Агеева на территорию, принадлежавшую больнице, и утвердила его проживание на ней.

О Фоменко ни сам Агеев, ни его товарищи и никто из нас никогда не вспоминали, и казалось, что той страшной ночи никогда не было.

Так шли дни, и, когда прошла Масленая неделя, когда лучи солнца становились день ото дня все ласковее, а лазурь засинела по-весеннему, мы вдруг почувствовали дикую тоску по свободе. Со всех сторон, искрясь на солнце, струились капели. Под снегом, в глубине, шурша между льдом, шелестели первые весенние воды и, вырвавшись в узкую ложбинку из-под снежного сугроба, весело журча, устремлялись все дальше и дальше. Весенний ветер налетал озорными порывами, и казалось, парк шумит по-прежнему, полный весеннего хмеля.

К этому времени у нас настал кризис с продуктами: все привезенное мамой и Натальей Александровной заканчивалось. Есть становилось нечего. Не могли же мы стать иждивенками Агеева и его компании или же поедать тот ужин, который приносила ежедневно из больницы Наталья Александровна. К тому же надо сказать, что из ее двух дочерей все доставалось главным образом прожорливой Леле, которая меньше всего заботилась о своей младшей сестре. Да ведь и этот ужин приносился только вечером, когда Наталья Александровна возвращалась со службы, а чем бы мы все питались днем?

Тогда встала самая острая необходимость во что бы то ни стало проникнуть в «Шехеразаду». Надо было извлечь оттуда ковры, ткани и еще какие-либо вещи. Они должны были быть небольшого размера, чтобы Наталья Александровна могла мало-помалу, по одной штуке, выносить их из дома, а те же неизменные Борщи — наши покупатели и поставщики, — конечно, наменяли бы нам на них разных продуктов. Но как это сделать?..

После того как специально присланным из Нары товарным поездом все содержимое дворца было вывезено, то, что хранилось в «Шехеразаде», было нашим единственным реальным фондом, на который мы с мамой могли просуществовать.

И все мы загорелись одним желанием: проникнуть в «Шехеразаду». Чтобы это осуществить, надо было составить план, взвесив все обстоятельства, хорошенько его продумать. На это надо было время, и уже потому это было не так легко. И вот урывками, между делом мы все перекидывались той или иной фразой. Это бывало в минуты, когда мы ставили самовар или все сообща мыли посуду. Потом мы задумали собираться во Дворе под тем предлогом, что хотим пробивать желобки для стока весенней воды. Так, подбегая одна к другой то с лопатой, то с ломом, а иногда и с топором, мы, пересекая по всем

направлениям двор, имели теперь полную возможность обсудить все детали задуманного нами дела.

Мы с Валей были бесконечно счастливы! Еще бы! В нашу жизнь вошло что-то новое, тайное и волнующее. Все это было похоже на заговор, а уж это одно было интересно!..

Среди ночи, в полной тишине, нам удалось сдвинуть железную пластинку, вставить ключ и, дважды повернув его в замке, отпереть потайную дверь. Затем мы вынули ключ, задвинули пластинку на прежнее место, и она снова потерялась в рисунке нашего герба.

Замок был отперт, оставалось нагнуться к топке, отыскать механизм и нажать пружину в глубине «печи». Но ведь вслед за этим должна была послышаться музыка… Правда, она своей силой не превышала игры маленького музыкального ящика, но кто знает, насколько звонко его игра раздастся в полной тишине ночи? Это обстоятельство вызывало споры, и потому несколько дней мы медлили.

Но одно неожиданное, благоприятствовавшее нам обстоятельство победило нашу нерешительность: Агеев с Колосовским были вызваны в Нару. День выдался хмурый, сырой, и, хотя солнце все время пряталось за тучи, наш градусник за окном все-таки показывал четыре градуса тепла. Дороги все, как говорят, «развезло». Наступил вечер, а комиссар со своим товарищем все не возвращался. По некоторым намекам и смешкам оставшихся было похоже на то, что уехавшие просто загуляли и раньше завтрашнего дня их ждать бесполезно.

Вот теперь мы решили действовать: мама притворилась больной, завязала голову полотенцем, и мы все очень рано покинули кухню и ушли к себе наверх, якобы для того, чтобы лечь спать.

Внизу немного еще пошумели, повозились, похлопали дверями, затем один, как обычно, спустился на черный ход. Мы услышали, как загремел деревянный болт, которым он запирал входную дверь. Прошло еще немного времени, и наконец в доме воцарилась полная тишина. О, радость! Вот она, эта минута!.. Мы все тихо встали с постелей, наспех оделись и в одних чулках, чтобы не было слышно наших шагов, прокрались к заветной «печи».

У мамы в руках была небольшая наволочка, которую мы набили ватой настолько, что она походила на подушку. Как было заранее задумано, мама нагнулась, открыла топку искусственной печи и, нажав пружину, быстро воткнула в отверстие «печи» наволочку с ватой. Мы замерли от страха. О счастье! Вместо знакомой мелодии мы услыхали всего лишь какое-то слабое

поскребывание. Расчет наш был верен, и вата совершенно заглушила игру музыкального механизма.

Мы терпеливо переждали, пока это поскребывание кончится, затем «печь» открылась, и мы перешагнули заветный порог…

Все так же молча, как было решено заранее, мы встали цепочкой: Наталья Александровна, Леля, Валя и я, а мама начала отбирать вещи и по одной передавать их нам. В течение каких-нибудь десяти минут все намеченные для продажи и обмена вещи были уже сложены вне «Шехеразады» — в акварельной. Затем мы быстро рассовали их под диваны и под кровати, задвинув подальше к стене, чтобы их не было видно. Ура! Теперь у нас был сделан большой запас. Можно было довольно продолжительное время прожить не голодая.

Таким образом, задуманная нами операция была блестяще выполнена. Оставалось только, закрыв дверь «Шехеразады», запереть ее, но… все мы, точно сговорившись, шмыгнули мимо мамы обратно в «Шехеразаду». Увидя это, мама улыбнулась и, движимая теми же чувствами, что и мы, вслед за нами вошла в «Шехеразаду», осторожно заперев за собой дверь тайника. Какое блаженство!.. Какое непередаваемое ощущение!.. За сколько месяцев мы наконец были одни!

Опустились на ковры и начали говорить. Мы перебивали друг друга, волновались, смеялись и были вне себя от радости, от этой хотя бы и призрачной, но свободы!.. Иногда вдруг кто-нибудь из нас спохватывался, вспоминал, что пора уходить, но эти предостережения тонули в общем говоре, и мы тут же забывали о них. Все мы пришли к одному решению: обязательно хотя бы один раз в несколько дней собираться здесь в часы глубокой ночи. Ведь после той радости, которую все мы здесь пережили, было уже невозможно ее лишиться!..

И вдруг мы услышали какой-то отдаленный шум. Сначала он доносился с улицы — кто-то стучался, затем этот шум перешел уже в дом. Отогнув угол ковра и прижав ухо к полу, мы теперь ясно услышали голоса, и среди них высокий тенор Колосовского.

И вместо того чтобы немедленно выйти из «Шехеразады», разойтись по комнатам и лечь в свои постели, мы продолжали сидеть в нашем тайнике. Это была с нашей стороны непростительная глупость! Это было недопустимым недомыслием. Но ведь человек всегда ищет оправдания своему легкомыслию, и мы стали уверять друг друга, что Агеев с Колосовским приехали поздно, что приехали они, наверное, нетрезвые, а потому им захочется поскорее лечь спать и что им, конечно, сейчас не до нас. Нам так не хотелось расходиться, и потому мы решили посидеть в «Шехеразаде» до тех пор, пока они

не лягут спать, и выйти только тогда, когда в доме все стихнет. Но вернувшийся Агеев решил, очевидно, проверить, отчего у нас наверху так тихо и почему мы так рано улеглись спать. Может быть, причиной, побудившей его вместе с Колосовским подняться к нам наверх, было и то обстоятельство, что в течение всей зимы они привыкли к тому, что все наши вечера заканчивались музыкой. Вот Агеев и пришел послушать свою излюбленную «Чайку».

Когда мы услышали приближавшиеся к нам по лестнице шаги, то поняли, что выходить из «Шехеразады» уже поздно.

Не знаю, что в тот миг переживали наши матери, но что касается нас с Валей, то мы были в восторге. Не сознавая того, какие это может иметь для нас последствия, мы буквально захлебывались от душившего нас смеха, в особенности я, ежевечерняя жертва Агеева, истязаемая им. Ведь стоило мне, сидя одной в гостиной, заиграть для себя этюды, как Агеев тут же вырастал за спиной и гаркал:

— А ну, перестань дребедеть! Што, ты ногти, што ли, об ее чистишь? Играй нашенское…

И вот теперь он шел, чтобы вновь мучить меня… Я живо представила себе, как они вошли наверх, в мирную тишину наших комнат, освещенных мерцавшим светом лампад, и вдруг… нас нет! О, как я жалела, что не вижу их изумленных лиц. А пока я думала обо всем этом, мы уже ясно слышали шарканье сапог из одной комнаты в другую и сердитые оклики:

— Гражданки, а гражданки!

Молчание было им ответом. Они ходили из комнаты в комнату. Сначала они говорили между собой совсем тихо, но, убедившись в том, что нас никого нет дома, стали спорить все громче и громче. Увидя пять наших пустых постелей, Агеев просто осатанел. Он кричал, что мы бежали, что мы скрылись, он грозил своим товарищам за то, что они не уследили за нами. Они же, со своей стороны, пересыпая божбу с невероятными ругательствами, доказывали Агееву, что наружная дверь была на засове и что мы никуда не выходили и сверху, с лестницы, не спускались. Тогда Агеев стал настаивать на том, что все мы бежали из дома, когда еще никто спать не ложился и когда дверь была еще не на засове. Колосовский его успокаивал, говоря, что бежать могли только мы с мамой, потому что Наталья Александровна — служащая больницы, да еще к тому же имеет двух дочерей, и ей бежать никакого смысла нет. Колосовский спорил об заклад, что мы просто-напросто отправились к кому-то в гости и надеялись вернуться незамеченными, но нам это не удалось, так как входную дверь слишком рано заперли.

— Какие гости? — орал Агеев. — Кто из-под ареста в гости ходит? И кастелянше тоже не приказано, она с дочерями на подозрении политицком, ишь, гады! Ну, я из их душу повытрясу! Я их научу!

После долгих споров было наконец решено до утра выставить на улицу у дверей сменяемого караульного. При нашем возвращении мы должны были быть обысканы, и, в какой бы час ночи мы ни возвратились, Агеев приказал будить себя немедленно, а нас препроводить прямо к нему. Долго еще мы слышали, как он рычал и хрипел. Потом все ушли вниз.

Дело приняло серьезный оборот. Мы встали и тихонько, на цыпочках одна за другой вышли из «Шехеразады». Потом со всеми предосторожностями заперли ее. Так же тихо и безмолвно разбрелись по комнатам и улеглись по своим постелям.

Наталья Александровна рассказала нам следующее. Когда настало утро, она, как обычно, первая из нас встала, чтобы отправиться на работу в больницу. Напуганная всем тем, что произошло накануне, она даже не пошла в кухню, чтобы чем-нибудь подкрепиться перед службой, а прямо, не выпив чаю, решила покинуть дом. Она спустилась вниз, уже надев шубу. Входная дверь оказалась незапертой, и когда она ее открыла и вышла на улицу, то лицом к лицу столкнулась с конвойным, стоявшим на часах у порога дома. Увидя ее, он настолько испугался, что даже изменился в лице. Он вздрогнул, точно увидел перед собой не живого человека, а привидение.

— Где была? — грубо спросил он.

— Как где? — вопросом на вопрос не сморгнув ответила Наталья Александровна.

— Я спрашиваю, где ночью была? — еще более озлобившись, спросил он.

— Где же я могла быть, как не дома, если я из него выхожу? — сказала она. — Как видите, иду, как обычно, к восьми часам на работу в больницу, и вы не имеете права меня задерживать.

Вслед за этими словами Наталья Александровна, не теряя спокойствия, решительно зашагала по дороге к воротам имения.

Конвойный хотел было броситься в дом будить комиссара Агеева, но в это время ему навстречу из дома вышла мама с ведрами — она шла за водой к колодцу.

Совершенно опешив, солдатик решил все-таки подняться на первый этаж к комиссару, но каково же было его изумление, когда он увидел спускавшихся со второго этажа Валю и меня. Мы прошли мимо него, поздоровавшись по дороге, и отправились в кухню ставить самовар. Широко раскрыв глаза и рот, он даже не

ответил нам на наше «здравствуйте» и застыл на ступенях лестницы. Что же оставалось нам делать, как не утверждать, что мы в ту злополучную ночь все были дома и все спали на своих постелях? Ведь иного выхода не было…

В этот день все мы старались не встречаться друг с другом взглядами, так как, несмотря на всю серьезность положения, нас душил смех.

Наступивший день ознаменовался для нас допросом Агеева, С утра он не изволил выходить из своего кабинета, а к полудню мы с мамой были вызваны к нему.

Агеев сидел за письменным столом моего брата. О милый письменный прибор Вячеслава! Он был весь украшен мордами лошадей. В середине двух между собой соединенных чернильниц, из-под расписной дуги, на меня смотрели три знакомые чудные лошадиные морды: коренник этой тройки, белоснежный гордый конь, вскинул вверх свою голову, две пристяжных, в серых яблоках, выгнув шеи, косили в сторону свои умные глаза. А вот рядом с чернильницей лежит вышитый красавицей тетей Нэлли Оболенской бювар брата, со всадником на нем. А вот и другие памятные сердцу безделушки, неотделимо связанные с моим детством… Теперь не только весь стол, но и часть вещей на нем были закапаны лиловыми пятнами чернил, а самый пузырек с ними стоял прямо на сукне, по которому в разные стороны расходились лиловые пятна брызг.

Я не знаю, с каким чувством стояла моя мать — кроткая христианка перед этим чудищем, которое восседало в комнате брата, за его письменным столом, но я стояла перед ним с восторженно певшим в сердце злорадством. Я еще до сих пор не могла себе уяснить нашего нового положения в новой жизни. Дело было совсем не в отнятых материальных ценностях. Я не могла понять того, почему о красное дерево тушили окурки, почему плевали на пол, почему сморкались в руку… Я не понимала, почему красивыми предметами искусства не любовались, а их царапали, коверкали или с каким-то сладострастием просто разбивали.

Я не могла понять вины моего рождения, той самой причины, почему всем можно работать, а нам нет, всем дают паек хлеба, а нам нет. Почему все свободно дышат воздухом и любуются солнцем, а нас все время преследуют и все время хотят сделать с нами что-то самое страшное и ищут за нами какой-то несуществующей провинности? Мы слышим со всех сторон о том, что мы не имеем права на жизнь, а почему?! И глухой ропот поднимался в моей душе против Бога. Божие предопределение казалось мне бессмысленным и жестоким.

Много-много лет позднее, когда жизнь моя была изломана, вся моя судьба искалечена, силы и здоровье подорваны, тогда мне стало доступно смирение раба, и тогда молитва стала моим утешением. Я поняла, что я — тень уничтоженного класса, что я уцелела чудом, и вот за это чудо, за то, что смертельная опасность много раз шла прямо на меня и, не коснувшись, проходила мимо, — вот за это чудо я и научилась благодарить Бога…

Но в тот день, стоя на пороге своей юности, в день ранней весны, когда сползали снега и влажная от растопленного снега старая яблоня под окном Славочкина кабинета протягивала прямо к стеклу свои милые ветки, — в тот день, чувствуя нежную ласку весны и всю красоту ее, я стояла с бунтом в душе, с яростью и ненавистью глядя в лицо насупившемуся Агееву. Я йенавидела этого человека, который столько месяцев мучил нас, который имел право не только на нашу свободу, но и на нашу жизнь.

Когда мы вошли в кабинет, Агеев напустил на себя небывалую важность, делая вид, что читает какие-то лежавшие перед ним бумаги.

— Куды вчерася все уходили? — спросил он, стараясь казаться спокойным, спрашивая как будто между прочим и даже не поднимая на нас своего страшного взгляда.

— Никуда, — в один голос ответили мы.

— Иде были, спрашиваю? — Его желто-оранжевые от махорки пальцы злобно забарабанили по столу.

— Мы нигде не были. Мы спали. — Мама отвечала на этот раз одна. Отвечала очень спокойно и даже, как ни странно, дружелюбно. Агеев поднял голову. Теперь он уже уставился на нас.

— Вр-р-решь!!! — загремел он. Мама и я молчали.

— Отвечайте, иде вы все были? — снова заорал он.

— Я уже сказала: мы спали, — не теряя хладнокровия, ответила снова мама.

— Затвердили в одну дуду, с-с-с-сволочи! — Теперь Агеев всем своим корпусом повернулся ко мне. — Тады ты отвечай: иде вы были? — Его кровавый глаз блеснул, словно в нем чиркнули спичкой. — Ежели вы спали, то иде вы были, кады мы к вам наверх приходили? А?

— Мы все очень крепко спим, — отвечала я, сама радуясь беззаботному своему тону, — наверное, потому вашего прихода и не слыхали, а вот почему вы нас не видели, вот этого я не понимаю…

— Вон, гады! Во-о-он! — что есть мочи заорал Агеев.

Он долго еще орал нам что-то вслед, когда мы с мамой уже

выскочили за дверь кабинета.

В этот вечер я впервые отдохнула: никто не пришел к нам наверх, и я была свободна от «Чайки».

Зато в тот же вечер внизу, около входных дверей, шла страшная возня. Теперь помимо деревянного болта, служившего запором, с двух сторон двери были набиты два тяжелых железных крюка. И мы услышали, как на ночь сначала задвинулось бревно, а затем дважды проскрипело железо обоих крюков. Теперь мы сидели уже на тройном запоре. Причем с этого дня не только дальше ограды парка, как это было до сих пор, но даже на площадку перед дворцом нам запретили выходить. В нашем распоряжении остался лишь маленький четырехугольник двора перед самым домом, да и то потому, что надо было ходить к колодцу и за дровами.

Что касается Натальи Александровны и ее дочерей, то к восьми часам вечера они все должны были быть дома.

Об этом жестком режиме, который Агеев сам же и выдумал, он прочел нам по смятой, вынутой из кармана штанов бумажке.

Атмосфера наших взаимоотношений заметно накалялась. Несмотря на мольбы мамы и Натальи Александровны, я завязала бинтом два пальца на руке и говорила, будто обварила их. По этой причине так называемые «музыкальные вечера» были прекращены. Агеев хмуро косился на мои завязанные пальцы, но молчал.

— А вдруг Агеев потребует, чтобы ты развязала бинт и показала ему ожог? — боялась мама.

— Не знаю, что тогда… Но играть я больше не буду. Мама вздыхала, но я была упряма. В моей памяти вставали яркие картины Великой французской революции.

— Мама, насколько лучше и прекраснее гильотина! — говорила я.

— Безумная девочка! Мы с твоим характером наживем беду… — И мама обнимала меня.

Тогда Агееву пришло на ум заставить петь и играть Валю. Но когда она, надев пенсне, отчаянно щурясь, запела в нос романс Вертинского, Агеев рявкнул свое классическое «Будя!», и музыкальный вечер прекратился. Вечера стали пустыми, тихими, и молчаливость не предвещала ничего хорошего.

Агеев, очевидно, решил нам мстить, и эта месть была препротивной, так как она весьма трепала нам нервы. Теперь очень часто среди ночи мы просыпались от скрипа двери. Какие-то головы, просовываясь в дверь, заглядывали в наши спальни. Затем исчезали. По удалявшимся вниз по лестнице шагам мы догадывались, что это проверка. Так нас будили иногда два или

три раза среди ночи. Все это очень походило на издевательство. Через Наталью Александровну обо всем этом было известно Владыкиной, но она ничем не могла нам помочь. Однажды она специально вызвала к себе Наталью Александровну и имела с ней долгую беседу. Она касалась нашей судьбы, и Владыкина просила передать маме, что, поскольку мы с мамой живем в помещении больницы, Агеев выселить нас и сделать с нами что-либо может только по указанию Центра и что ей, Владыкиной, известно, что именно таких указаний в отношении нас он добивается.

Хотя это и не было для нас новостью, но все же, узнав об этом от Владыкиной, дружески к нам настроенной, мы со дня на день ждали самого худшего.

Наши взаимоотношения с первым этажом катились вниз с головокружительной быстротой. Агеев и его товарищи теперь только мимоходом здоровались с нами и ни в какие разговоры больше не вступали.

Так как наши продукты кончились, а от Борщей мы еще не получили новых, то наши общие обеды и чаи тоже кончились. Поэтому мы уже вниз больше не спускались. Мама ежедневно варила Агееву и его компании кастрюлю супу или чугунок каши.

Поняв, что наши дни сочтены, мы махнули на все рукой и неоднократно среди ночи, в одних чулках пробирались в «Шехеразаду». Два раза наши исчезновения были замечены. Невозможно описать, какие волнения это вызвало!.. Прежде всего, на всем втором этаже был немедленно произведен самый тщательный обыск. Наши стражи во главе с Агеевым исследовали весь пол и углы комнат. Очевидно, они предполагали существование какого-то скрытого хода подо всем полом. Но ни разу не остановила на себе их внимания такая заметная, отличавшаяся ото всех остальных «печь»! Еще удивительнее было то, что никому из них не пришла в голову мысль пересчитать с внешней стороны дома окна и сравнить их число с числом окон внутри дома. Тогда бы сразу выяснилось, что одно окно лишнее. А если бы кто-нибудь из них вздумал хотя кустарно начертить план дома, то, сравнив первый этаж со вторым, можно было бы без труда найти местоположение засекреченной комнаты — «Шехеразады».

Но вместо всего этого Агеев искал какую-то скрытую под полом лестницу, которая бы вела в какой-то подземный ход, который выходил бы на улицу где-то недалеко от дома. Несколько дней все они толклись во дворе, что-то вымеряли, соображали и даже пытались проникнуть в подземелье дворца, но вход в него был завален горой снега, которая, подтаяв на весеннем солнце, обратилась в ледяную глыбу.

Потом вдруг все расследования прекратились. Наступила угрожающая тишина, но Агеев и все его товарищи стали как-то по особенному на нас смотреть. Где-то в глубине глаз у них прятались удивление и опаска.

Мы все чаще стали собираться в «Шехеразаде», советуясь между собой. Нам стало казаться, что они догадываются о нашем тайнике, но тут неожиданно пришла разгадка и все раскрылось.

Однажды они среди ночи пришли к нам и вновь нашли комнаты пустыми. И тогда, сидя в «Шехеразаде», мы замерли, не веря своим ушам. Что за дикие, что за нелепые рассуждения мы услышали!.. Даже сам Колосовский, молодой и начитанный более остальных, сам Колосовский утверждал, что «княгиня-то и есть из них самая главная ведьма! Потому что она самая красивая и даже ладно сложена»…

Да… Недаром Гоголь изобразил в своем творчестве Украину, полную всякой чертовщины. Очевидно, небылицы и народные суеверия бродили еще и до сих пор в крови украинца Колосовского. Самым верным доказательством нашего «ведьминства» оказалась оставленная нами у кровати снятая с ног обувь. Колосовский развенчал «даму своего сердца» и признавался, что он однажды при свете лампадки, которую Валя зажигала, увидел в ее глазах какие-то «червони искры»…

Двое конвойных нападали на Агеева, упрекая его в том, что он, приехав с нами «расправиться», вдруг подпал под Катькины чертовские песни. Агеев крякал, чертыхался и наконец, выругав всех по-русски, признался, что не ему одному, а им всем мы сумели отвести глаза.

Солдатик со штыком уверял, что половина князей были «ведьмаки», а Григорий Распутин был самый главный ведьмак и он много наплодил всякого чертовского отродья.

— А почему я яму, князю-та, глаза на патрете праткнул? Ведь я как глянул на яго, а он — на меня, словно живой, гад, так и уставился!

Распаляясь собственными вымыслами, все они плели дикую ересь, споря и перебивая друг друга. Но в одном их мнение было общим, а именно: это мы так «подколдовали», что Фоменко вышиб себе глаз.

Слушая всю эту чушь, мы переглядывались друг с другом и, давясь от смеха, от души потешались, но где-то в глубине души у нас нарастала тревога. Действительно, тучи над нашими головами сгущались.

Агеев еще раз вызвал маму и меня к себе в кабинет. Теперь в нем уже не было и капли напускной важности, и он не играл перед нами в занятость, перебирая бумаги на столе. Нет!.. Он

даже не сидел в кресле, а встретил нас стоя. Был он весь багровый от ярости, видимо, еле сдерживался.

— При какой власти живете? — едва увидев нас на пороге, заорал он. — При какой власти, спрашиваю?! Опешив от его крика, мы молчали.

— Вы мне царе режимные штуки бросьте! Вы мне фокус не стройте! Мы продолжали молчать.

— Не ис-че-зать! Слышите?! — что есть мочи заорал он, неистово ударив кулаком по столу. — Иначе, как собак поганых, всех перестреляю!

Когда мы с мамой выскакивали из кабинета, то вслед нам полетел какой-то предмет и, стукнувшись о косяк двери, со звоном разбился. Это была одна из хрустальных ваз. Теперь нам стало ясно, что игра идет к концу и что подобру с этими людьми не разойтись. Положение стало таким, что любое вспыхнувшее между нами недоразумение могло разгореться и превратиться в дикий кровавый самосуд.

Мы понимали, что Агеев, при всей своей, так сказать, «серости», не будет писать в Москву, жалуясь на то, что он напал на «ведьм» и просит указания, как с ними поступить. До такого идиотизма он еще не дошел уже по одному тому, что каждый из них скрывал в себе как религиозность, так и суеверие, если таковые у них были, а тем более политкомиссар, каким был Агеев. Надо было понять и его психологию: ведь он-то сам очутился в безвыходном тупике, этот малограмотный и совершенно невежественный человек. Ему оставался только один выход: разделаться с нами, как говорят, «втихую», а полномочия политического комиссара были неограниченны.

Моя мать обладала одним удивительным качеством, которое, между прочим, передалось и мне: видя смертельную опасность, не ждать, пока она раздавит тебя, а, собрав хотя бы самые скудные средства защиты, встречать эту опасность, идя ей навстречу.

Так было и теперь. Нам грозило несчастье со стороны Агеева, за спиной которого стояла нарофоминская ЧК. Следовательно, надо было обращаться и просить помощи в Центре, на Лубянке. Только оттуда и могла прийти защита от Агеева.

Мы вспомнили недавно пережитую нами эпопею с нашей мадонной Боттичелли[2]. Приговор мамы к расстрелу, ее свидание и знакомство с Дзержинским. Разве на прощание он не пожал ей руку и не сказал о том, чтобы в случае нужды она писала в ВЧК на его имя?..

Но как написать? Сейчас надзор за нами был самый бдительный. О том, чтобы собраться в «Шехеразаде», не могло

быть и речи. Тогда мы решили сделать следующее: мама с пером и бумагой в полном одиночестве спряталась в нашем тайнике, в то время как мы все лежали по своим кроватям и довольно громко переговаривались о каких-то малозначащих вещах. На маминой же постели мы на всякий случай соорудили чучело.

В этот вечер, привлеченные нашим громким разговором, не один раз кто-то из наших стражей поднимался вверх по лестнице. Мы слышали скрип ступеней. Но, поскольку мы не спали, никто из них не отважился приоткрыть дверь спальни и просунуть свою голову. Потоптавшись у порога, прислушавшись и вникнув в суть неинтересной и пустой темы нашей беседы, подслушивавший удалялся…

Мама написала письмо Дзержинскому, в котором просила предъявить ей обвинение, и если нужно, то судить. Она озаглавила свое обращение словом «жалоба» и писала, что положение ни на чем не основанного и ничем не вызванного домашнего ареста, в которое ее поставил Агеев, терпеть более невыносимо. Она просила также проверить действия Наро-Фоминска.

На следующую ночь снова наша компания улеглась очень рано, и вновь мы начали вести громкие разговоры. Но на этот раз отсутствовала не мама, а я, и поэтому чучело было на всякий случай сооружено на моей кровати. Я же, закрывшись в «Шехеразаде», старательно переписывала мамину жалобу к Дзержинскому. От руки было снято две копии. Подлинник был на следующее же утро отправлен в Москву: его отвезла и передала на Лубянку сама Владыкина, наш неизменный друг. Одну копию мы оставили у себя на руках, а вторую копию в это же самое утро мама торжественным образом вручила Агееву.

Как и следовало ожидать, Агеев сразу ничего не понял и, наверное, решил, что эта бумага-жалоба подана мамой лично ему. Он взял ее и, ничего не сказав, хотел, видимо, прочесть у себя в кабинете, но, пока он пересекал столовую, любопытство заставило его прочесть хотя бы на ходу обращение, и он прочел: «Феликс Эдмундович!..» Остановившись как вкопанный, он начал внимательно читать, но, не дойдя и до половины, обернулся к маме и рявкнул:

— Жалуешься? — Улыбка исказила его лицо. — Ты думаешь, я посылать буду? Што, я адютант табе, што ли?

— Моя жалоба уже поехала в Москву, — спокойно сказала мама, — и нет такого могущественного человека в нашей стране, который бы не позволил обратиться к Дзержинскому и посмел задержать письмо на его имя.

— Через кого? Как смела? — заорал было Агеев, но

подошедший к нему Колосовский потянул его за рукав френча и увел в другую комнату.

Целый день все наши стражи хранили глубокое молчание. Когда вечером мама стирала в кухне, а мы с Валей тут же ставили самовар, Агеев появился на пороге. Он был мрачен и угрюмо посмотрел на маму:

— На што надеешься, а?

— На справедливость, — ответила она, — и очень жалею, что не сделала этого много раньше. Под таким арестом содержат только важных государственных преступников, разве…

— Да я пожалел вас, гадов, — перебил ее Агеев, — вас надо было…

— Вот и отлично, — в свою очередь перебила его мама, — вот поэтому я и написала: пусть Дзержинский свое слово скажет, а то вы что-то очень медлите с вашей расправой.

Видимо, не ожидая такой храброй дерзости, Агеев умолк, крякнул и быстро вышел из кухни, изо всей силы хлопнув дверью.

Однако никакого личного ответа от Дзержинского мама не получила. Не получила она также никакого ответа и от московского аппарата ВЧК. Но Агеев, видимо, соответствующее распоряжение получил, и очень быстро.

Узнали мы об этом по следующим событиям: не прошло и недели, как в первом этаже флигеля поднялась неимоверная возня. Все забегали взад и вперед по комнатам. Стук молотка не умолкал до поздней ночи. Двери не закрывались и хлопали так, словно готовы были сорваться с петель.

Затем, видимо из Нары, приехали две подводы с красногвардейцами. Очень быстрым темпом, в течение нескольких часов, вся мебель и все вещи из комнат первого этажа были вынесены и погружены на подводы. Вся посуда была уложена в ящики и переложена сеном. Сверху на подводы укладывали картины, а также красивые и ценные рамы от семейных портретов и фотографий. Фотографии же сами, разорванные на куски, лежали теперь высокой грудой мусора в пустых комнатах. Оба воза были прикрыты сложенными коврами. В последнюю минуту вспомнили о жардиньерках с цветами — так их прямо с цветами и выносили на холод. Острые зеленые листья пальмы задрожали на ветру, у меня сжалось сердце, я почувствовала, что ей холодно… И все-таки еще оставалось много мелких вещей. Тогда их стали засовывать в небольшие солдатские деревянные сундучки, а некоторые просто запихивали в мешки. Перед отъездом к нам наверх поднялся незнакомый человек штатском, он сказал, что приехал из Нары.

— Кто из вас бывшая княгиня Мещерская? — осведомился он.

Отделившись от нас, мама подошла. Он протянул ей адресованный официальный запрос из наро-фоминской ЧК.

Ткнув пальцем в бумагу, пришедший сказал:

— Пишите, какие у вас есть жалобы.

— У меня их нет.

— Тогда так и напишите.

Мама написала: «Жалоб нет» — и подписалась. Пришедший повернулся и ушел, не сказав больше ни одного слова.

Через какие-нибудь полчаса обозы, нагруженные доверху, двинулись. В это же самое время к нам наверх по лестнице кто-то быстро поднимался. Это был сам Агеев, из-за его спины выглядывал озорной черный глаз Колосовского.

— Уезжаем, — скороговоркой произнес Агеев, уставившись куда-то в сторону и не глядя на нас, — ежали што не так, не поминайте лихом!

И в ту минуту мы искренно, ото всей души пожелали Агееву всего хорошего. Теперь, когда по чистой случайности игра была нами выиграна, мы вполне могли бы с насмешливой улыбкой пожелать Агееву не счастливого пути, а сказать что-нибудь колкое, да еще прибавить: «Скатертью дорога». Это было бы даже вполне естественным, да и осталось бы совершенно безнаказанно. К тому же эти несколько слов, может быть, в какой-то степени могли явиться малюсенькой долей отмщения за ужас первой пережитой с ними под одной кровлей ночи и затем за целую цепь темных, беспросветных, унизительных и совершенно бесполезных дней, которые были этими людьми у нас выкрадены из жизни…

Я посмотрела на маму: ее лицо было светлым и она улыбалась. Конечно, ее психология всепрощающей христианки была мне совершенно ясна. Но я!.. Что делалось со мной? Почему же во мне улеглась и буря ненависти, и бессильная ярость и неприязнь? Куда все девалось? От всех этих чувств не осталось и следа. Я вспомнила ломоть ржаного хлеба и кусок сахара, положенный перед нашими приборами в первый же день нашей встречи. В тот первый день могущество Агеева было неограниченным; воспользовавшись сложившейся ситуацией, он имел право сделать с нами все. И сколько таких жизней, как наши, гасли по произволу местных властей!.. А когда весть об этих ничем не оправданных расправах доходила до Москвы, то имена убитых уносились в общем потоке политических казней. Чего тут разбираться? Ну, ошиблись, ну, одним больше, одним меньше… Не до этого было…

Я не знаю, в каком уголке сердца Агеев, это страхоподобное, изувеченное существо, нашел вдруг в себе какие-то человеческие чувства для нас, его врагов, для тех, с которыми он приехал

расправиться…

Я вспомнила сооруженную для меня ледяную гору, вспомнила охапки дров и ведра, от которых меня избавляли эти люди. И, вспомнив все это, я тоже от души пожелала Агееву счастливого пути…

Подойдя к окну, я увидела, как он вместе с Колосовским нагонял отъезжавшие подводы. Они двигались медленно мимо дворца к двум красным каменным башням выезда.

Мы все стояли молча у окон, глядя им вслед.

Когда настал вечер этого знаменательного дня, мы долго еще бродили как потерянные по опустевшим комнатам. Они были грязные, прокуренные, и шаги наши гулко отдавались, как это бывает в больших пустых помещениях. Потом вдруг мы с мамой вспомнили, что нам можно выйти из дома. Она делала вид, что это обстоятельство совсем не важно и ничего в этом нет значительного, но я дрожащими руками стала одеваться.

— Китти, уже поздно, куда ты пойдешь? Что это за глупости! Успеешь и завтра это сделать, — говорила мама, но я знала, что она говорит так нарочно, и голос у нее был взволнованный.

А я, одевшись, выскочила и побежала мимо дворца, мимо ворот на улицу, на широкую, знакомую, милую дорогу и увидела на вечернем небе очертание белого петровского храма, его высокую гордую колокольню. Потом повернулась и побежала к дому. Хотелось пробраться в парк, к реке, посмотреть, не тронулся ли лед. По дороге у крыльца меня перехватила Валя. Она обняла меня и сказала:

— Пойдем вместе. — Потом взглянула на меня и спросила: — Ты плачешь?..

И тогда я провела рукой по щеке и почувствовала, что она совсем мокрая. В это время на крыльцо вышла мама.

— Валя, Китти! Домой! — кричала она.

Мы вошли в дом. Заперли дверь на деревянный засов и на Два железных крюка, которые еще только вчера навсегда разъединяли нас с внешним миром. Долго не могли мы уснуть в ту ночь, долго прислушивались к малейшему звуку извне. Мы не верили своему счастью: казалось, вот-вот раздадутся знакомые стуки прикладов и Агеев вернется. Однако этого не случилось. Не прошло и двух недель, как в газетах был напечатан указ, подписанный самим Лениным. Он гласил о том, что ни один помещик не имеет права проживать на территории своих прежних земель, даже если бы он поселился в шалаше или вздумал наняться сторожем на общественных огородах. Что же касается домовладельцев в городах, то они тоже не имели права оставаться в своих бывших домах, даже служа в них истопниками

и живя в их котельнях.

Наро-Фоминск немедленно прислал нам с нарочным повестку. Мы должны были покинуть Петровское в двадцать четыре часа, в чем мама и должна была расписаться. Теперь уже никто в мире не мог нам помочь.

Куда идти? Где искать приюта? На официальную службу князей не принимали. Чтобы где-нибудь жить, надо было прописаться, а в Москве нас тоже не прописывали.

Мы вполне могли бы прожить, если бы мама вздумала давать уроки, но кто же рискнет приютить нас под своим кровом и нести ответственность за наше неофициальное проживание?

Нас больше всего ранило то обстоятельство, что весть о нашем изгнании облетела уже все Петровское. Мама больше всего на свете боялась возбудить в людях жалость.

И все-таки путь наш лежал в Москву, только в Москву, и никуда больше. Но как уехать? Ведь нам невозможно было даже появиться на нашей платформе! Нас каждый знал в лицо. Увидят, подойдут, окружат. Начнутся «ахи», «охи» и всякого рода соболезнования, а ведь для нас это было хуже смерти.

Тогда у нас возник безумный план: выйти ночью на шоссе с мешками за спиной и прошагать двенадцать верст до Голицына по Александровской железной дороге.

Это решение было безумным, потому что стояла в самом разгаре весенняя распутица. Дороги были полны глубоких луж, грязи, скользких рытвин, и прошагать с непривычки двенадцать верст с тяжелыми мешками за спиной было для нас нелегко. Дело осложнялось еще тем, что у мамы болела нога. Когда она после стирки отправилась на прорубь полоскать белье, то, не имея валенок, надела кучерские сапоги, которые нашла где-то в углу сарая. Она быстро растерла себе ноги до больших водяных пузырей. Одна нога никак не хотела заживать: лопнувший пузырь превратился в кровоточащую рану. Но мама все-таки решила идти… Она надеялась, что дойдет, если возьмет с собой в дорогу палку.

Для этого мы отправились в «Шехеразаду». Там в круглой вертушке для тростей их стояло очень много. Но ни одна из них не годилась для нашего тайного бегства. Их украшали то изящная морда борзой, выточенная из слоновой кости, то смеющийся Мефистофель, то комичная голова негра, то в пестрой чалме красавица турчанка с загадочной улыбкой, то отлитое из серебра изогнувшееся тело обнаженной женщины, то чудесная морда лошади, то позолоченный набалдашник, ослеплявший вас игрой полудрагоценных каменьев. Все это никуда не годилось, так как бросалось в глаза и обращало на себя внимание.

Тогда я отправилась на огород и с большим трудом выбила топором из ограды одну из палок. Немного построгав ее кухонным ножом и отмыв мочалкой в горячей воде с мылом и содой, я высушила ее около печки и с торжеством преподнесла маме. Она была в восторге и часто, много позднее, в нашей жизни вспоминала этот мой первый полезный для нее подарок!..

Я никогда не забуду то утро ранней весны и холодную дымку того рассветного часа, когда мы с мамой, как две странницы, с мешками за спиной вышли на широкое шоссе, ведшее в Голицыно. Казалось, мы оставляем позади все самое дорогое, и оставляем навсегда. Вот маленький мостик. И я увидела, каким простым, широким русским крестом осенила себя мама, проходя мимо петровского храма. Вот налево его высокая колокольня, а за ней — маленькая зимняя церквушка, которую построил мой отец.

Не раз в жизни бывали случаи, когда мама упрекала меня в излишней сентиментальности, и в то утро, когда мы прошли церквушку и очутились на шоссе, мама тихо, но строго сказала, обращаясь ко мне:

— Иди, Китти, и не вздумай оборачиваться…

Мамина суровость была мне мила, я часто гордилась ее сдержанностью, но именно потому, что я предвидела эти ее слова, я с самого начала нашего пути пропустила ее вперед, а сама пошла сзади. Я-то знала, что мама ни за что не обернется, и я не ошиблась. Мама шагала впереди спокойная и, как всегда, необыкновенно прямая, даже несмотря на тяжесть мешка за ее спиной.

Неужели это она, моя мама, эта исхудавшая женщина в маленькой круглой черной каракулевой шапочке?..

Я обернулась. Издалека уже не видно было заколоченных неструганными досками окон и дверей дворца. Даль сгладила это обезображенное людьми прекрасное здание. Дворец, казалось, стоял во всем своем строгом великолепии, и его серебристый купол чуть-чуть розовел со стороны востока.

Мне вспомнились дни больших приемов в нашем дворце: когда ожидали почетных гостей, то за ними всегда посылали лошадей на Голицыно, так как по Александровской дороге было больше поездов и ходили они быстрее и точнее, нежели по брянской одноколейке.

Поэтому с самых давних пор главный подъезд ко дворцу был со стороны шоссе.

Вспомнила я и приезды гостей: мы, дети, узнавали их по тем лошадям и экипажам, которые за ними высылались.

Самых веселых гостей и гостей на Святках всегда доставляли резвые тройки с заливным звоном бубенцов.

Важные и солидные гости приезжали в экипажах: для особых любителей лошадей высылали лучших кровных рысаков, запряженных либо в английскую упряжку, либо в итальянское «барручино».

За очень пожилыми гостями выезжали старинные кареты, просторные, спокойные, на мягких рессорах.

А наш домашний доктор, иногда приезжавший поздно ночью, любил маленькую венскую карету с двумя зажженными по бокам яркими фонарями. Эта карета имела только одну дверцу с небольшой подножкой, открывавшуюся сзади.

Военные обычно являлись веселой кавалькадой. Верховых лошадей заблаговременно доставлял им в Голицыно наш берейтор манежа.

Так одна картина вслед за другой оживали в моей памяти, и я не видела, какой безрадостной, черной лентой извивалось передо мной шоссе, по которому мы шагали в мокром, тяжелом месиве грязи по самую щиколотку.

— Китти… — Остановившись, мама коснулась моей руки. Я очнулась от воспоминаний. Солнце уже взошло. Подняв голову, улыбаясь, мама смотрела вверх, в небо.

— Жаворонки! Смотри, жаворонки!..

Еле успевая следить глазами за быстрым кружением в вышине малюсеньких сереньких птичек, я услышала их переливавшееся пение. Пение это то стихало, то, вновь нарастая, разливалось, наполняя тишину ликующей радостью.

Зачарованные, завороженные, мы остановились. Но мама вывела меня из этого счастливого оцепенения:

— Пора, Китти… Идем…

Снова зашлепала, зачавкала под ногами дорожная грязь.

Глухое раздражение накипало во мне.

— Мама, — спросила я, — что это за глупое, что это за унизительное слово — «бывшие»?

— Это мудрое слово, — ответила она, — это означает: они были, эти люди, а теперь их не стало. Это словно опавшая листва. Теперь надо родиться вновь для того, чтобы жить, и это очень трудно. Я смотрела на свою мать, словно впервые видя ее. Что это за человек?.. Вспомнились ее чудные девичьи дневники, в которых она описывала Ментону, Неаполь, Палермо. Вспомнилась ее карточка, снятая в Милане. Худенькая, стройная, тоненькая, она стоит на балконе, вся облитая солнцем, закинув руки назад, за голову, смеющаяся и такая счастливая… Вспомнила описанные ею ее концерты, дебют в Милане, в «Ла Скала», вспомнила и то, как безжалостно она предала искусство, как отреклась от него навсегда, дав кощунственную клятву моему отцу — никогда не

петь. А потом?.. Что принес ей древний герб князей Мещерских? Мрачное, пожизненное вдовство. Строительство школ, воспитание чужих детей, благотворительные учреждения, во время войны — лазареты, которые были организованы на ее средства, присутствие ее, как хирургической сестры, на тяжелых операциях… И всегда и всю жизнь — полное отречение от всех радостей жизни.

И вот теперь она совершенно спокойно говорит мне о нашем будущем как о предстоящем нам длинном и страшном пути на Голгофу. Нет, все непонятно мне в этой женщине, все чуждо, и кажется странным, что она дала мне жизнь, что она — моя мать… И я шла вслед за ней, изучая каждое ее движение.

А весенний ветер то нежно ласкал мне лицо, то, налетая, с озорством вырывал пряди моих волос из-под легкого шарфа. Этот ветер приносил запах талых вод и еще какие-то необъяснимые, чудесные запахи весны.

Мне хотелось бежать, петь и танцевать, но ноги мои с каждым шагом тяжелели от прилипавшей к ним глины и грязи. Ремни мешка больно врезались в плечи…

Я подняла голову. Надо мной распростерлась бескрайняя ширь неба, но оно было таким равнодушным, таким спокойным… Какие еще испытания оно нам сулило? А впереди, извиваясь, уходила вдаль черная, безрадостная дорога, которая вела нас в полную неизвестность…

* * *

Читателя, наверное, интересует судьба «Шехеразады»?

Она просуществовала еще около двух лет.

К тому времени Леля устроилась на работу учительницей где-то под Нарой и каждую субботу приезжала в Петровское к матери. Неизвестно почему, но она завела привычку ночевать в «Шехеразаде». И случилось так, что в одну из ее ночевок сбежали из волисполкома двое арестованных. Волисполком находился рядом с парком, поэтому милицейские стали искать беглецов в парке, где им удобнее всего было спрятаться. Не найдя их, милицейские решили, что беглецов укрыла во флигеле Наталья Александровна. Милицейские вошли во флигель среди ночи, неожиданно.

Леля сладко спала, позабыв запереть дверь «Шехеразады», о чем не знали ни Наталья Александровна, ни Валя. И когда милицейские вошли в акварельную, то увидели изразцовую «печь», стоявшую посередине комнаты. Сзади нее открывался

вход в наш тайник…

Беглецов милицейские не нашли, но зато до самого утра перетаскивали в волисполком все спрятанные в тайнике вещи.

Мы так и не узнали, дошел ли слух об открытом тайнике до Нары и до ушей самого Агеева, но надеюсь, что к этому времени уже ни он сам и никто из его товарищей не верили больше в существование ведьм…

Рублево

Осень 1919 года застала нас с мамой бездомными. В тот год нас с мамой арестовали на Масленой неделе, а в самом начале лета так же неожиданно, как взяли, — выпустили…

Нас вызвали «с вещами». Получив на руки наши документы, пройдя полный самых мучительных воспоминаний двор Бутырок, миновав «проходную», мы увидели железные ворота тюрьмы, которые чуть приоткрылись, чтобы выпустить нас. Мы очутились на свободе…

Все лето мы скитались, находя приют у знакомых и друзей, многие из которых помнили мамину доброту. Но вскоре этих мест для ночлега стало становиться все меньше и меньше. Лица наших друзей становились все более хмурыми: никто не хотел рисковать, каждый боялся за себя.

— Мы не за себя, а за наших детей боимся, — виновато улыбалась одна, — нас осудят за то, что мы даем вам приют, еще, не дай Бог, арестуют, долго ли до греха, а что тогда будет с нашими детьми?..

— Я бы рада пустить вас переночевать, но вы ведь знаете, что мой муж — на ответственной службе, он коммунист… это невозможно, — оправдывалась другая.

— Ах, нам уж и так соседи за вас все глаза искололи!.. — отмахивались руками третьи.

Были и резонеры, любившие пофилософствовать.

— Разве нам места жаль? — рассуждали они. — Да ночуйте хоть каждый день, на полу места хватит, разве дело в этом?.. Тут все дело в нашей русской пословице: «Скажи мне, с кем ты знаком, и я скажу, кто ты таков»… Это дело до добра не доведет. Как только вас нам в друзья запишут, так нам и крышка, вот что!.. Скажут: сочувствуете? Жалеете? Приют даете?..

И часто мы с мамой ночевали на вокзале. В те дни лучших маминых друзей купцов Прянишниковых не было. Их управляющий, Николай Иванович Мамонтов, умер от голода, а Мария Валентиновна и Владимир Валентинович Прянишниковы сидели в Таганской тюрьме. Наше же безбедное житье в родном Петровском, где под каждым нам «листком был готов и стол и дом», кончилось после того, как был издан декрет, гласивший о том, что ни один помещик не имеет права оставаться на территории своих бывших земель, даже если б он поселился в шалаше. Несколько лет спустя подобный декрет был издан и о домовладельцах города Москвы, по которому ни один домовладелец не имел права жить в принадлежавшем ему ранее

доме, даже если бы он ютился в каком-нибудь чулане. Очень грустная участь постигла нашего и прянишниковского друга некоего Власова, владельца многоэтажного каменного дома в Староконюшенном переулке. Старик Власов, выселенный из своего дома, сделался его истопником, ютился в подвале, в котором было тепло, получал жалованье и был счастлив. После этого декрета он оказался на улице зимой и с раздутыми, опухшими от болезни сердца ногами бродил по городу, прося милостыню. Эта жизнь, слава Богу, длилась недолго: вскоре он умер…

Невольно напрашивается вопрос: на какие же средства мы с мамой жили, скитаясь без крова?..

В те дни нашу квартиру 5 в доме 22 по Поварской улице занял один очень видный инженер текстильной промышленности, некто Грязнов Алексей Флегонтович. По законам того времени он смело мог считать как всю нашу квартиру, так и все в ней находившееся своим. Но это был человек очень порядочный, очень гуманный, и отнесся он к нам совершенно исключительно. Он вполне сознавал и вполне оценил тот антиквариат, который из себя представляла наша квартира. Недаром до Октябрьской революции 1917 года[3] ее в великосветских кругах называли «маленьким музеем». Грязнов хотя и сознавал свое право на все наши вещи, однако не хотел этим правом воспользоваться полностью и решил хотя чем-нибудь помочь нам.

— Оплатить всю вашу обстановку я просто не в состоянии, — сказал он маме при свидании, — но мелкие отдельные вещи, в виде ваз, ковров, драгоценных пепельниц и других безделушек, я буду постепенно покупать.

Таким образом, через известные промежутки времени мы имели от Грязнова приток каких-то сумм. Помимо этого мы обладали еще некоторым фондом. Это был небольшой кованый ручной сундучок, с которым мы не расставались и в котором находились наши уцелевшие драгоценности. Оказались они на наших руках вот при каких обстоятельствах. Кроме тех драгоценностей, которые мама носила и которые были у нас в дни революции, другая их часть, представлявшая особую ценность, сберегалась в банке, в специальном сейфе. Ключ от этого сейфа, как и у других владельцев сейфов, находился у мамы.

В первый же год революции, когда все банки стали национализировать, вскрытие сейфов представляло еще большую трудность для неопытных рук, в чье владение эти богатства попали.

По этому случаю было опубликовано обращение ко всем

гражданам, имевшим свои сейфы в банках. Владельцев просили прийти, имея на руках ключи от сейфов. Говорилось также и о том, что какая-то часть из носильной мелочи будет выдана владельцам на руки.

Вот поднялось волнение! Возникла масса толков и столько же опасений. Очень многие люди решили, что это «удочка», — в банк они не пошли и ключей от своих сейфов не понесли.

— Знаем мы, чем это пахнет! — говорили они. — Пойдешь, ключ отдашь и не вернешься… — Таково было их мнение.

Но мама пошла: она любила и думать, и поступать по своему усмотрению. Мне трудно определить, что именно ею руководило. Может быть, глубокая религиозность, лежавшая в основе всего ее существа, делала ее спокойной, твердой и ко всему готовой, может быть, и присущее ей чувство дисциплинированности побудило ее поступить так, как этого от нее требовали. К сожалению, в тот день мама не взяла меня с собой, и я не могу рассказать точно, как это все происходило, поэтому не буду «измышлять», а передам все кратко, по маминому рассказу.

То отделение банка, в котором находился наш сейф, было полно красногвардейцами, и вообще по всему банку была расставлена вооруженная охрана. Всем делом почему-то руководил какой-то матрос, без специалистов-ювелиров. На столе стояли весы, и на их чашку клали реквизируемые драгоценности. Матрос имел, видимо, о ценностях самое смутное понятие. Прежде всего он хватал и складывал на весы все оказавшиеся в нашем сейфе мужские золотые часы, а вслед за ними и цепи к ним. Потом, будучи, очевидно, осведомленным в том, что шифры были бриллиантовые, на чашку весов попали шифры всех фрейлин, которые были в нашем роду. За этим последовали все нательные кресты, все цепи к ним и все обручальные кольца. Посмотрев с чувством глубокого удовлетворения на ту внушительную горку, которую составили все эти снятые с весов вещи, матрос махнул рукой на все оставшиеся драгоценности, осыпанные камнями, сгреб их в кучу и отдал онемевшей от изумления маме. Кроме того, он протянул ей бумагу для подписи. По правде сказать, я никогда не интересовалась этой, как я впоследствии поняла, интереснейшей исторической бумагой. Помню только, что она содержала в себе цифру реквизированного у нас золота, а ниже стояла пометка, в виде оговорки, что «мелочь» с осыпью камней (браслеты, серьги, кольца и прочие безделушки, как не представлявшие валютную ценность) выдана маме на руки.

Хотя это теперь и звучит анекдотом, но в числе этой «мелочи» мы получили наш фамильный, Мещерский (греческий, голубой

воды) бриллиант в 20 карат. Он был осыпан мелкими бриллиантами, имел форму ромба, висел на плоской бриллиантовой петле и тончайшей платиновой цепочке. Мы получили также уникальное ожерелье из индийских рубинов, с портретом Отелло (миниатюрой, сделанной на слоновой кости).

— Ишь, какого негра на шею вешали!.. — презрительно улыбнулся матрос, бросив в предназначенную маме кучку драгоценностей это редкое ожерелье.

Все изделия из платины: запонки, брошки, цепочки — матрос принял за серебро и тоже нам возвратил. Мы получили массу драгоценностей, которые впоследствии составили три отдельные шкатулки, но в те дни мы все это заключили в кованый сундучок, имевший одно над другим четыре отделения, выложенные бархатом.

В период наших арестов мы отдавали этот сундучок первому попавшемуся, кто присутствовал при этих печальных событиях. Чаще всего это бывали те люди, у которых мы ночевали. И получалось так, что хранителями этого сундучка всегда оказывались наши друзья и сундучок каждый раз возвращался в наши руки целым и невредимым.

В то время, находясь без крова, подвергаясь беспрестанным гонениям, почти каждую неделю теряя кого-нибудь из родных и близких, не будучи уверены в том, что мы сами останемся живы, мы таскали с собой этот сундучок по какой-то инерции, не понимая того сокровища, которое он из себя представлял. Может быть, причина нашего к нему безразличия заключалась в том, что мы, потеряв все те богатства, которыми обладали, считали себя безнадежными нищими. Кроме того, дни летели головокружительным вихрем, все ломалось, призрак голода стоял над страной, никому не нужны были безделушки, в них и толка никто не понимал. Ценностью были хлеб, пшено, сахар, масло…

Реквизиция всего и наша бездомность были пустячными бедами перед другими ужасами, которые в те дни нам приходилось переживать, перед теми событиями, свидетелями которых мы иногда бывали, которые нельзя ни вспомнить, ни описать, которые можно только в полном молчании унести с собой в могилу…

Пришел день, когда никого родного около нас не осталось. Тетя Нэлли была убита в своем имении Горки Могилевской губ. на могиле своего мужа, которую она защищала, пытаясь не дать ее вскрыть. Моя крестная мать, Александра Александровна Милорадович, владелица дома № 22 по Поварской улице, после того, как расстреляли ее трех сыновей Леонида, Бориса и Сергея, бежала за границу со своей дочерью Олечкой и англичанкой-

воспитательницей. Участь сыновей моей крестной матери меня особенно потрясла: проходя к Брянскому вокзалу по Бородинскому мосту, я каждый раз читала на доске одной из его колонн фамилию их прадеда — доблестного генерала М. А. Милорадовича, соратника фельдмаршала М. И. Кутузова… Все происходившее не укладывалось в моей голове.

— Мама, — спрашивала я, — за что это?.. За что? Почему? Что будет с нами дальше?..

И мама отвечала мне твердо и спокойно, ей было все совершенно ясно. Она верила в Бога — во всем была Его воля.

Покинуть пределы родины мама считала изменой своему народу. Мама говорила, что мы должны все перенести и все перетерпеть, потому что так надо, в этом Божья воля. Она горячо молилась и беспрестанно приводила мне примеры из Священного писания, особенно часто повторяя: «Аще кто ударит тя в правую щеку — подставь ему левую»…

Я не смела спорить с матерью, я не смела ни в чем ей возразить; в те годы я не имела права иметь свое мнение, но ее характер, мягкий и кроткий, ее существо, все пронизанное фанатичной религиозностью, ее какая-то безличная во всем и ко всему доброта были мне совершенно непонятны, и ни один ее довод меня не убеждал. Я чувствовала, как кто-то неумолимый, жестокий и беспощадный надвигается на нас для того, чтобы раздавить нас и уничтожить, и горькое чувство обиды оттого, что мы ни в чем не были виновны, загоралось во мне. Хотелось что-то делать, что-то предпринять, чтобы доказать этому Неумолимому, что он не прав, что мы такие же люди, как и все, что мы можем работать, приносить пользу и что мы, как и все, имеем право на существование.

Мама горячо осуждала ту часть интеллигенции, которая в первые годы после революции воздерживалась от работы и не хотела «служить большевикам». Она ежедневно ходила на биржу труда в поисках работы, так как состояла там на учете, но она не скрывала своего княжества, и поэтому ее не хотели принять работать ни в одно учреждение Москвы.

— Тогда переведите меня в отдел простых рабочих, — попросила мама.

И ее перевели. Результат оказался блестящим: не прошло и недели, как она пришла ко мне на Курский вокзал, на котором мы проводили тот день, пришла оживленная, с блестящими глазами, с нежным румянцем на щеках.

— Я получила работу! — сияя счастьем, объявила она мне. — Старшей кухаркой на Рублевский водопровод. Завтра едем. Грузовик в Рублево отправляется ежедневно в восемь часов утра

со Страстной площади.

— А где мы там будем жить? — спросила я.

— Там, где все живут, — не задумываясь, ответила мама. — Ты думаешь, что там рабочих нет? Живут же они где-нибудь…

Этот ответ не только удовлетворил меня — он наполнил меня счастьем. Неужели же наконец кончатся наши скитания?! Эти ночевки где и как попало?..

Стояла поздняя осень. Подчас, намокнув под моросившим дождем, наша одежда просушивалась на нас в течение ночи, так как спали мы не раздеваясь… Какое блаженство иметь над головой крышу, иметь свой угол, куда можно прийти и откуда тебя никто не выгонит…

День, когда мы покидали Москву, был холодным и дождливым. Низко над городом нависли тяжелые свинцовые тучи. Дождь моросил безостановочно. Я старалась казаться спокойной, но в сердце у меня, словно этот дождь, лились невидимые слезы… я любила Москву. И хотя я сознавала, что мы получим, может быть, и временный, но кров, хотя я понимала, что Рублево было единственным выходом, мне жаль было покидать Москву. Кроме того, перед отъездом в Рублево я пережила большую трагедию. Как-то на улицах Москвы я совершенно неожиданно встретила Константина Николаевича Игумнова, который сам остановил меня и был со мной очень ласков.

— Я преподаю в консерватории, — сказал он мне, — подавайте заявление, я возьму вас в мой класс по роялю. Через два года окончите, будет у вас верный кусок хлеба.

Мой преподаватель музыки, ныне профессор Московской консерватории Василий Николаевич Аргамаков, с которым я занималась все детство и отрочество, был другом Игумнова, а сам Игумнов был нашим музыкальным профессором и ежегодно проводил оценку и экзамены наших музыкальных знаний. По музыке я успевала неплохо: каждый год переходила с наградами и ежегодно выступала на музыкальных вечерах. В 1917 году я получила сборник пьес «12 месяцев» П. И. Чайковского в красном кожаном переплете, тисненном золотом, с выгравированными моими инициалами. На первом листе сборника был вклеен напечатанный бланк за подписью педагогов и самого Игумнова: «За отличные успехи по музыке».

Встретив меня на улице, добрейший Константин Николаевич хотел сделать для меня все, что только было в его силах.

— Но, Константин Николаевич, — с грустью ответила я, — как я могу поступить в консерваторию, если мне негде жить. Нас с мамой отовсюду выселили…

— И это как-нибудь поправим, — улыбнулся Игумнов. —

Попробуем определить вас на стипендию и устроить в общежитие. Поступающих у нас очень много, а на старших отделениях есть свободные вакансии. Подавайте заявление завтра же…

И, окрыленная радужными надеждами, я немедленно подала заявление, на котором К. Н. Игумнов сам сделал пометку о согласии принять меня в свой класс. Дорогой Константин Николаевич сделал это для меня вовсе не потому, что я была талантлива (я была просто способна), а по доброте своего необъятного благородного сердца. Никогда мне не забыть его необыкновенно высокую, сухую, ломкую фигуру, его лицо египтянина цвета древнего папируса и глаза, в которых светилась извечная мудрость и которые иногда вспыхивали добрым, не причиняющим зла людям, остроумием.

Однако поданное мною в консерваторию заявление мне вернули. Через него вкось, размашистым четким почерком была наложена резолюция: «По своему социальному происхождению не имеет права на высшее образование»… и дальше жирными буквами: «Отказать».

Так была разрушена моя так ярко, на миг, вспыхнувшая надежда. Конечно, об окончании общего образования не могло быть и речи.

А в консерватории сестра поэта Валерия Брюсова, маленькая, стриженная под мужчину, желчная, с портфелем декана консерватории под мышкой и с партбилетом, кричала на консерваторских собраниях:

— Нам не нужны дворянские нытики Чайковский и помещик Рахманинов! Пролетариату неинтересно слушать оперу, в которой Пушкин рассказывает о неудачной любви помещичьей дочки!..

«Как же жить без Пушкина и без Чайковского?» — думала я, чувствуя, что в моей голове от полного непонимания всех событий встает какой-то безнадежно серый туман.

Мое удрученное состояние вполне гармонировало с холодным осенним утром того дождливого дня, когда мы оставляли Москву.

— Значит, в поварихи к нам? — весело спросил маму шофер, рыжий малый, легко бросив в грузовик наше имущество: узел с носильным бельем и платьем и небольшую корзинку с мелкими вещами. Мама с «заветным» кованым сундучком в руках села в кабину шофера. Я уже давно научилась влезать в грузовик и, став на черную надутую шину огромного колеса, легко преодолев борт машины, стала устраиваться, садясь на наши вещи спиной к кабине, так как в дороге высота кабины должна была защищать меня от ветра. Шофер закрыл меня большим широким брезентом,

и, устроившись довольно уютно, я могла, повернувшись, сквозь стекло окна кабины видеть лицо моей матери. Шофер долго мучился, стоя перед грузовиком и заводя его. Мотор никак не хотел работать. Потом он вдруг оглушительно затарахтел. Некоторое время стоя на месте и трясясь, грузовик точно продолжал еще упрямиться, потом стал, выпуская клубы серого дыма, громко стрелять и наконец тронулся в путь. Он уносил нас в новую жизнь, совершенно нам неведомую, полную какой-то страшной тайны…

Натянув на голову брезент, я все время поворачивала ее и смотрела на маму. Косынка, которую она повязала на голову, скрыла все богатство ее пышных, уложенных узлом каштановых волос, и теперь мне был виден только профиль матери, странно чужой в этой впервые ею надетой косынке. Этот безукоризненный тонкий профиль камеи она сохранила до старости…

С детства я была влюблена в красоту моей матери, я гордилась ею. Мне вспомнилась мама, какой она бывала, когда ехала в театр или на концерт: в вечернем платье, с жемчужной матовостью обнаженных чуть покатых плеч. На белой тонкой коже вокруг шеи играли разноцветными огнями бриллианты ожерелья; они сверкали точно переливающиеся капли росы на солнце. Я вспомнила маму, затянутую в черный шелк амазонки, со стеком, в седле на ее любимом Ладном — вороном жеребце арабских кровей. Потом перед моими глазами встала наша синяя гостиная, украшенная севром. Полуконцертный рояль «Бехштейн» с открытой крышкой, которая походила на застывшее крыло какой-то гигантской птицы, и у рояля — мама. Она поет, и голос ее на низких нотах льется широкой, мягкой и теплой волной, а поднимаясь вверх, звучит упруго, точно голос скрипки. Когда мама пела, она чуть-чуть опускала ресницы на свои искристые карие глаза, и они точно потухали в их тени, а на губах ее не виделась, а скорее угадывалась полуулыбка.

Я обожала мать, и я считала естественным то, что она не любила меня. За что было ей любить меня, такую некрасивую?.. Она должна была стыдиться меня, и я испытывала перед матерью всегда чувство своей вины, к тому же я сознавала, что это было непоправимо.

Но теперь, когда пришла революция и все в нашей жизни полетело вверх ногами, теперь, как это ни странно, мама стала относиться ко мне много мягче и нежнее. Может быть, потому, что не было Вячеслава, ее кумира, обожаемого ею сына?.. Если раньше, глядя на меня, она порой безнадежно вздыхала, произнося надо мной убийственные приговоры, вроде: «Несчастная девочка, она дурнеет не по дням, а по часам», или:

«Ах, почему Китти родилась не мальчиком?..», или: «Конечно, замуж она, по своему положению и состоянию, выйдет, это бесспорно, но кто будет ее любить?» — то теперь все ее сожаления куда-то исчезли, она точно о них забыла, а может быть, мама решила, что в новой жизни красота не нужна. Страдания, которые мы переживали, сблизили ее со мной. Если раньше я не смела мечтать о том, чтобы разговаривать с матерью как с равной, то теперь она сама, обращаясь ко мне, делилась со мной мыслями, а иногда даже советовалась со мной.

Сейчас, глядя на маму, я видела на ее лице выражение твердой решимости, но, несмотря на это, жаль мне было маму до слез.

«Мама — главная повариха, — думала я, — это значит старшая кухарка. Как же это будет? Может быть, все это только мне снится?.. А я? Что будет со мной? Как же я останусь недоучкой?..»

А грузовик уже достиг окраины Москвы. Подпрыгнув на нескольких ухабах и поворотах, он выехал на широкое шоссе и понесся вперед что есть духу. Ветер с яростью срывал с моей головы брезент, холодный дождь стал хлестать лицо. В ушах стоял свист ветра и грохот грузовика, все это сливалось в невыразимый шум. Одной рукой натягивая на голову брезент, я старалась другой удержать плясавшие на дне грузовика корзинку и узел. От быстрой езды и тряски они не хотели лежать на середине, а, весело подпрыгивая и перегоняя друг друга, скатывались в угол грузовика, где от дождя уже стояли лужи воды.

Как выглядит этот Рублевский водопровод? — спрашивала я у самой себя, и в ответ мне мерещилось что-то вроде водяной мельницы. Это «нечто» стояло посередине Москвы-реки и, шипя и пыхтя, вращая колесами, сосало воду, которая по трубам текла в город. А где же мы будем жить? — мучил меня вопрос. И чудилась пустая, сырая комната; по стенам ее тянулись водопроводные трубы, длинные-предлинные… Мысли мои становились все более нелепыми, фантастические картины — все более невероятными, и вскоре я впала в забытье. Мокрый ветер сковал все члены, я больше не могла уже удерживать узел и прыгавшую корзинку…

Сильный толчок разбудил меня. Это остановился наш грузовик. Мы приехали в Рублево. Если, собираясь в путь, я легко взобралась на грузовик, то теперь, по приезде, еле-еле из него вылезла.

В дреме я задеревенела в неудобной позе; от сырости и оттого, что все на мне промокло, все члены окоченели и теперь

ныли, а после сна меня бил озноб и зуб на зуб не попадал.

Рыжий шофер снова показал всю свою любезность: он быстро поставил на землю нашу корзинку, положил на нее узел и помог мне выбраться из машины. Я стояла около наших мокрых вещей, а мама отправилась к директору Рублевского водопровода для того, чтобы, как говорят, «выяснить по начальству».

Мне понравилось то, что проходившие мимо меня рублевцы мало обращали на меня, приезжую, внимания, а если и смотрели, то взгляд их был довольно дружелюбным, а шофер был даже ласков — по-своему. Высадив нас, он не тотчас отъехал, а еще некоторое время возился с машиной. Он зашел спереди, поднял капот двигателя и то, надув щеки, яростно в нем что-то продувал, то, схватив грязную, черную от масла тряпку, что-то протирал, и несмотря на то, что был, казалось, весь погружен в свою работу, он минутами отрывался от нее, кивал то в ту, то в другую сторону и знакомил меня с Рублевом. Я увидела вдали, около Москвы-реки, главное здание водопроводной машинной станции. Оно походило на большую, невысокую, но далеко вытянувшуюся фабрику с превысокими трубами. Ее мерный шум был похож на дыхание сказочного великана, его непрерывные вздохи, и как ни странно, но шум этот мне сразу понравился. Шофер показал мне на большое двухэтажное каменное здание, это был театр и клуб Рублева. Симметрично расположенные каменные двухэтажные дома оказались корпусами, в которых жили рабочие, и назывались эти дома почему-то казармами, хотя это военное строгое слово совершенно к ним не подходило. Все здания были из красного кирпича, все они были какие-то аккуратные, и Рублево выглядело маленьким, очень чистеньким городком. Только очень старые кадровые рублевцы жили в совершенно отдельных домиках, построенных из серого бетона и окруженных садиками. Все Рублево украшали и окаймляли аккуратно проложенные аллейки с густыми, подстриженными деревцами, и чем я больше вглядывалась во все меня окружавшее, тем оно становилось мне милее. После всех пережитых нами ужасов и страданий мне казалось, что мы попали в какой-то приветливый и добрый городок. Хотя в глубине души уже шевелилась тревога: «А вот как узнают, кто мы, так возненавидят, и снова начнутся преследования». Но я старалась гнать от себя эти опасения.

Собираясь покинуть Москву, мама сделала мне некоторое наставление и высказала некоторые соображения.

— Скрывать наш титул мы не имеем права, — сказала она мне, — так или иначе это все равно узнается. Но пока нам не будет в глаза задан этот вопрос, мы имеем право сами о нем не оповещать. В Рублеве будет, конечно, и своя интеллигенция, и вот

ее именно и следует нам избегать. С рабочими мне будет много легче, а тебя я прошу держаться от всех в стороне. Дай Бог, чтобы о нашем княжестве узнали после того, как я хоть какое-то время поработаю. Может быть, тогда нас не выгонят…

Начальником всего Рублевского водопровода был в те дни инженер Прудников. Мама вернулась ко мне от него с очень озадаченным лицом. Дело в том, что Прудников, поговорив несколько минут с мамой, решил определить на должность старшей поварихи другого человека, может быть даже, из местного населения, маму же с ее грамотностью использовать как заведующую столовой, так как она не только могла вести канцелярию, но справилась бы и со счетной работой. Возражать Прудникову мама не стала.

Высокий и рослый комендант общежитий по распоряжению Прудникова повел нас с мамой в одну из казарм. Там, на втором этаже, он распахнул перед нами дверь небольшой, но светлой комнаты. Во всех зданиях было паровое отопление. В комнате был свой кран водопровода и белела фарфоровая чаша умывальника. У одной из стен стояли две железные кровати, сквозь прутья которых просвечивал блестящий, похожий на линолеум, крашеный пол.

— Вон там, — показал пальцем в стекло окна комендант, — там, прямо против вас, видите красное здание?.. Там круглые сутки кипит для рабочих куб. Можете хоть сейчас взять чайник и послать дочку за кипятком… попьете чайку и отогреетесь с дороги… Ежели в чем-либо будут вопросы — обращайтесь ко мне… — закончил он приветливо и с этими словами вышел, а я, освободив нашу корзину от веревок, раскрыла ее и, достав большой чайник, побежала в указанное комендантом здание. Встав в небольшую, быстро двигавшуюся очередь за кипятком, я услышала разговоры:

— Это дочь нашей новой работницы…

— Из Москвы они…

— Кажется, в поварихи она к нам…

Но самое большое внимание к себе привлек наш чайник. Взяли мы его и ткнули с собой в корзину только потому, что у нас не было другого. Был он полон блеска, причудливый и игривый стиль рококо в изящных завитках, в изгибах фантастических цветов и в кокетливых медальонах таил какую-то помпезность и будил воспоминание об ушедшей роскоши. Ручка его была выточена из слоновой кости.

Чайник этот вызвал всеобщее удивление и осуждение:

— Ишь искусственный какой!..

— Это кому неча делать… его и в час не вычистишь…

— И гдей-то такой чайник купили?.. Ведь он и на чайник-то не похож, право слово… — слышались отовсюду вокруг меня реплики, а я, наливая кипяток и следя за горячей льющейся струёй, только считала минуты, чтобы как можно скорее уйти, и думала о том, что если бы эти люди узнали еще к тому же о том, что этот чайник был из чистого серебра (его нельзя было кипятить), то все они возненавидели бы меня.

Взбегая по лестнице в казарму, я думала, что если вид этого чайника вызвал у простого народа такую неприязнь, то какими чуждыми, какими непонятными были для этого народа наши души, любившие и восторгавшиеся тем, что казалось для этих людей нелепым и никчемным… Я поняла, что нам с мамой предстояли трудные дни. Однако, вбежав в комнату, я постаралась сделать самое беззаботное лицо и сказала:

— Первое время мы будем путать и наш дом, и нашу комнату. Мне сейчас все кажется до удивительности одинаковым.

— Наш дом? Нашу комнату?! — медленно, точно давясь на каждом слове, переспросила меня мама. На последнем слове голос ее странно пресекся. Она подошла ко мне, крепко обняла меня, и слезы покатились по ее щекам. — Неужели это наше, Китти? Неужели?..

Я не могу припомнить, по какой именно причине Рублево, этот благоустроенный замечательный городок, имевший школу первой и второй ступени, свой клуб, свою баню, свой театр, к моменту нашего приезда не имел здания столовой. То ли оно было занято под что-то более важное, то ли оно строилось, и потому столовая Рублева, в которой приступила к своей работе мама, была не что иное, как длинный-предлинный барак из наскоро сколоченных досок. Стоял этот барак на самом ветру, среди чистого поля. Пахло в нем свежим, мокрым деревом нетесаных досок, и его фанерная дверь, набухая от внутренних испарений, вся точно распухала и плотно не прикрывалась.

Вся кухня тонула во влажном дыме. Сквозь него чуть чернели выпуклые бока огромных котлов, и если бы не громкие реплики и переклички кухонного персонала, занятого приготовлением пищи, то их показывавшиеся то тут, то там головы напоминали бы головы ангелов, плывших в шапках крутых и плотных облаков.

Я была поражена картиной, которая представилась моим глазам, когда я впервые вошла в столовую и с любопытством заглянула в полуоткрывшуюся дверь кухни, желая взглянуть на маму.

Там, среди беспрерывного шума, напоминавшего шум и гул в бане, в сырости, в парах и в невыносимой жаре, начала мама свою трудовую жизнь.

Эта жизнь с ее первого дня казалась мне Дантовым адом. Первая ночь, проведенная в Рублеве, была настоящей пыткой. Платье и белье наше промокли. Веревки, которыми была перевязана наша корзина, мы протянули вдоль комнаты и развесили на них все мягкое содержимое нашей корзины. Лечь спать нам было негде, так как ни подушек, ни тюфяков у нас не было, а ложиться прямо на железные прутья кроватей было невозможно.

Тогда мы с мамой вспомнили о тех досках, которые мы с ней видели, проходя по двору. Они лежали сложенными неподалеку от нашей казармы. Мы надели пальто, вышли на улицу и выбрали две доски из самой середины, те, которые менее промокли от дождя.

Вернувшись в казарму, мы легли с мамой спать прямо на голый пол, а под голову вместо подушек подложили себе две этих доски.

Эту ночь я провела почти без сна, но когда под утро я чуть забылась дремотой, то успела в сонном состоянии занозить себе мокрым деревом ухо. Оно начало у меня болеть, а затем покраснело и сильно опухло.

Я заметила, что мама старается как можно дольше оставаться на работе, и я понимала, что ею руководило. Как ни тяжел был для нее этот непривычный труд, но самым тяжелым было ее возвращение в казармы. Каждый мой вопрос, казалось, ранил ее, а иное мое слово или невольно пришедшее ей на ум воспоминание было для нее ударом ножа.

Я поняла это и почти перестала с ней разговаривать, а если мы и перебрасывались словами, то это бывало вызвано необходимостью.

Часто по ночам я прекрасно чувствовала, что мама не спит, так же как и я, и, так же как я, притворяется передо мной, что спит…

Если в этой новой жизни маме было трудно, то мне было во сто раз хуже. Мама несла непривычный и потому непосильный для себя труд, однако он давал ей большое облегчение: в нем она могла забываться, и чем дольше и чем горячее бывало кипение ее рабочего дня, тем больше она забывалась.

А я?.. В какое невыносимое положение поставила меня судьба!.. Мне в этой жизни не было места. С утра мама уходила, а я оставалась совсем одна. Мама запретила мне знакомиться и говорить с людьми, она обрекла меня на полное «ничегонеделание», и от сознания наложенного на меня мамой запрета, от сознания всей своей никчемности мне хотелось только одного: повеситься.

Главная же драма моего унизительного положения состояла в том, что каждый вечер, приходя домой, мама приносила мне свой ужин. Этот ужин был моим обедом и составлял мое единственное питание.

Все служащие столовой были из местного населения или из окрестных деревень и в течение дня то к одному, то к другому под разными предлогами забегали через черный ход барака то сынок, то дочка, то старуха мать, и не то по традиции рублевской столовой, не то по молчаливому всеобщему соглашению никого голодным не отпускали, а тут же в укромном уголке кормили. Вернее, причиной этой поблажки был голод, черной гигантской тенью нависший над страной.

Столкнувшись с нелегальной кормежкой родственников, мама сначала возмутилась и пробовала протестовать, но вскоре она поняла, что «так было заведено», что хищением считалось только то, что могло выноситься под полой из столовой. Кроме того, об этом знала сама Ревизионная комиссия, и главным оправданием было то, что это «подкармливание» родственников отрывалось не от обедов, а состояло из вчерашней поджаренной картошки и из тех остатков супа, которые оставались на дне котла.

Служащий персонал столовой был осведомлен о том, что у мамы была дочь, и сначала все удивлялись, а потом стали даже спрашивать маму, почему я не захожу к ней на работу. Мама отвечала на все эти вопросы уклончиво, а мне строго-настрого запретила подходить к деревянному бараку, который, стоя среди поля, пыхтел целый день, выпуская из своей большой трубы клубы серого дыма, а из беспрестанно отворявшейся двери — белый, необычайно вкусно пахнущий пар.

Была я в столовой только один-единственный раз, когда среди пришедших на обед рабочих я забежала посмотреть, где работает моя мать.

В первый же свой день на работе, когда вечером все служащие сели ужинать, мама взяла тарелку с полагавшейся ей порцией, завернула в белую, принесенную ею марлю, а сама села поодаль и стала вести дневные подсчеты. Уходя из столовой, она унесла свой ужин домой. Весь служащий персонал насторожился: они почувствовали в этом ее действии если не молчаливый, направленный к ним укор, то, безусловно, вызов, а может быть, даже и подвох. Однако через несколько дней, видя, что это вошло в систему, они, наверно, в душе окрестили новую заведующую столовой «чудачкой» и совершенно успокоились, поняв, что это мамино действие не имеет к их родственникам никакого отношения. Позднее выяснилось, что они все думали, что маму

Бог наказал больной дочерью, так как только этим они могли себе объяснить мое безвыходное сидение в казарме.

А я, подчиняясь маминому строгому приказанию, сидела в бездействии одна, прячась от всех. В те дни я еще подчинялась маминой воле, хотя бунт уже нарождался в моей душе…

Я не знаю, почему, будучи рождена в роскоши, слыша в детстве со всех концов разговоры о нашем богатстве, привыкшая к большому штату слуг, вежливых и предупредительных, я не впитала в себя идей нашего привилегированного положения и у меня не было в крови той отличительной черты, которую приписывали дворянству, — «иждивенческой психологии». Я говорю «приписывали» потому, что, кроме двух моих теток (маминых сестер), я эту черту не встречала ни в ком из наших родных и знакомых.

Когда в первый вечер, придя со службы, мама принесла мне свой ужин: тарелку чечевицы и небольшую воблу, — краска стыда залила мне щеки. И все последующие дни, видя, что мама, отказываясь от своего ужина, приносит его мне, я получала эту тарелку как звонкую пощечину моему сердцу. Но я съедала ее, съедала потому, что бесконечно хотела есть, и потому, что мамин ужин составлял мое единственное питание за целый день. И вот тогда в первый раз в часы моего дневного, вынужденного мамой, одиночества я много раздумывала и стала приходить к выводу, что мама может кое в чем и ошибаться. Она не имела никакого права делать из меня бессловесного раба, бездеятельного трутня, она не имела права на мою свободу, а главное, она не имела права заставлять меня есть тот кусок, который зарабатывала.

Рядом с этим бунтом возмущения, который рождался в моей душе, из самых ее глубин поднималось еще одно чувство: это было чувство бесконечной любви и жалости к матери. Если в годы моего детства она была для меня божеством недосягаемым и непонятным, с которым я не имела ни права, ни времени разговаривать, то после октябрьских событий 1917 года все карты наших отношений были спутаны. Мы очень много трагического пережили с ней вместе, и я видела, что матери переживать все это было во сто раз тяжелее, нежели мне, и как бы дико ни звучали мои слова, но я чувствовала свою мать во многом слабее себя. Сейчас я видела ее в непосильном для нее труде, среди адской, изнуряющей жары, в парах над котлами. Она сразу стала работать без отдыха круглые сутки, оставаясь на кухне и на ночь, так как ввиду бесперебойной работы водопровода в столовую приходили питаться рабочие ночной смены. Мама умудрялась спать урывками днем, в перерывах, когда бывало меньше посетителей. Я знала, что руководило ею: ей тяжело было валяться на жестком

полу в казарме, ей тяжело было видеть меня, и когда она заходила домой, чтобы чуточку подремать и занести мне свой ужин, я поджидала ее на площадке лестницы, и мне было видно, как она шла. Она поднималась по ступеням лестницы словно сомнамбула, погруженная в какое-то оцепенение, похожее на сон с открытыми глазами. Бог знает, какие картины и какие воспоминания проходили в эти минуты перед ее внутренним зрением… Только под ее вечно прекрасными глазами лежали коричневой лентой тени, сами глаза лишились своего блеска, они теперь тускло мерцали, и в пышных каштановых волосах, казалось, с каждым днем прибавлялось седины.

«И на плечи такого слабого создания свалилась тяжелая обязанность меня кормить?» — беспрестанно задавала я себе вопрос, и каждый съеденный мною кусок ее ужина казался мне порцией ее теплой крови, которую я выпивала. А мама, иногда уловив на моем лице выражение, которое ее пугало, вдруг подходила ко мне и, крепко обняв меня, шептала мне на ухо:

— Не надо, Китти, не надо… ни о чем не думай!.. Мы должны благодарить Бога; подумай только об одном: мы видим небо, мы дышим воздухом, мы вместе и мы… свободны, — тихо добавляла она.

Но, как ни странно, мне этого было мало, и продолжать такую жизнь я не могла.

И вот однажды, когда маму послали в Москву за каким-то инвентарем для столовой, я, пользуясь тем, что меня еще не знали в лицо, отправилась к знакомому бараку столовой.

Минуя черный ход, где находилась кухня и где все-таки кое-кто мог меня узнать, я вошла прямо в столовую и решила поговорить с кассиршей, которая принимала обеденные талоны. Выждав минуту, когда она была менее занята, я спросила ее: не могу ли я устроиться на кухне помогать мыть тарелки, так, без всякого жалованья, только за одну тарелку супа?.. В душе своей я уже предвкушала, как удивится мама, увидя меня около себя, и как мне самой будет приятно быть около нее. Но кассирша, удивленно взглянув на меня, покачала головой.

— Что ты… — грустно ответила она. — У нас в столовой работают только люди, официально зачисленные на службу, с окладом… А ты сама-то откуда?.. Кто тебя прислал?

Пролепетав что-то невнятное о том, что я из Захаркова, рядом расположенного с Рублевом села, я поспешила быстро уйти из столовой. Таким образом, провалилась моя первая вылазка в жизнь, но я не унывала и начала строить новые планы. Оглядываясь вокруг и внимательно ко всему присматриваясь, я решила отправиться теперь в Рублевскую школу. Время для этого

я выбрала после окончания занятий, когда веселыми и шумными группами ученики выходили из школы, а преподаватели еще задерживались в ее здании, обсуждая текущие дела.

— У нас такой должности нет: мыть чернильницы и от доски меловые тряпки, у нас этим занимается уборщица, — с улыбкой глядя на меня, говорила краснощекая, здоровая молодая девушка с низким голосом (как я узнала потом — учительница русского языка Александра Николаевна). — А почему вы ищете работы, а не учитесь? — спросила она, все так же приветливо улыбаясь и продолжая на меня смотреть.

Ее улыбка, мягкий голос, обращенное ко мне вежливое «вы» сразу меня согрели, но ответить на ее вопрос я не могла и потому стояла потупившись.

— Вы где живете? — продолжала она свои расспросы. — Не в Рублеве? Почему я вас раньше не видела?

— Я дочь приехавшей из Москвы служащей столовой, — наконец кое-как выдавила я из себя.

— Так почему же вы не хотите поступить к нам? Почему не кончаете образования? Ведь у нас есть школа второй ступени…

— Насчет образования вопрос у меня кончен. Учиться мне нельзя… я пришла насчет работы, — уже твердо ответила я и посмотрела ей прямо в глаза.

Мой ответ сразу потушил ее улыбку.

— Тогда я не знаю, чем вам помочь, — ответила она коротко и снова начала сортировать какие-то тетради, лежавшие перед ней на столе. Она вернулась к занятию, за которым я нашла ее, войдя в комнату, и я медленно направилась было к выходу.

— Извините, — тихо сказала я, идя по учительской, а сердце мое с каждым моим шагом отбивало: «Все кончено, все кончено, все кончено…» Я шла мимо светлых окон, подоконники которых были все заставлены цветущей геранью, бегонией и еще какими-то зелеными кустами, шла мимо развешенных на стене пестрых географических карт и вдруг поравнялась с роялем, который, войдя, от волнения не заметила. Теперь я видела груду лежавших на его крышке нот. Не смея притронуться к этой дорогой моему сердцу груде, я старалась прочесть заглавие первой лежавшей передо мною обложки.

Александра Николаевна, очевидно, глядя мне в спину, следила за мной, и едва я замедлила свои шаги около рояля, как раздался ее вопрос:

— Вы играете?

— Немного, — ответила я.

— Подождите, подождите, — поспешила она вернуть меня. Быстро открыв крышку рояля, она заставила меня сыграть

наизусть первое, что пришло мне в голову, потом попросила меня подобрать по слуху «Интернационал».

— Я доложу о вас школьному совету, завтра, в обеденный перерыв, — сказала она, и уже теперь мне показалось, что ее приветливая улыбка всегда будет сиять для меня на ее лице. — А завтра же по окончании занятий, в такое же время, как сегодня, приходите. Вы нам больше чем необходимы, ведь среди нас никто не играет, а уж как мы вас оформим, об этом надо подумать. По крайней мере первый месяц испытательного срока оплаты вам не будет, но зато вы будете иметь питание в нашей школьной столовой наравне с педагогами, об этом я уж сама позабочусь.

Так в 1919 году началась моя первая служба. Но с первого же моего трудового дня встали на моем пути и первые трудности.

Дело в том, что все до одного школьники, точно сговорившись, не желали видеть во мне педагога, все они держали себя со мной «запанибрата». Все они не хотели меня слушаться, а некоторые из них начали с того, что стали меня «изводить». Это были в большинстве случаев ученики старших классов, у которых были уже мужские голоса и легкий пушок над верхней губой.

На уроках музыкальной практики, когда сама Александра Николаевна пела с нами своим густым меццо-сопрано, все шло благополучно, но едва начинался урок теории — нотной грамоты — и я оставалась с моими учениками с глазу на глаз, как начиналось нечто невообразимое. В меня летели глупейшие записки, меня умудрялись даже дергать за косу.

Благодаря больному сердцу я имела яркий цвет лица, а так как в детстве у меня вились волосы, то впоследствии, когда я выросла, они еще хотя и слабо, но продолжали у меня завиваться вокруг головы. Эти два обстоятельства и послужили поводом для самых нахальных насмешек надо мною. Сделав себе из бумаги что-то вроде папирос, некоторые сорванцы, выскочив из-за парты, подбегали ко мне, тыкая мне в щеку свои бумажки, и, обступив меня со всех сторон, кричали:

— Можно прикурить? Ишь как горит, можно прикурить?.. Остальные хором орали мне в лицо:

— Катерина в класс пришла, накрасилась, висюльки себе навила, накучерявилась!..

Так они орали до тех пор, пока я в ярости не вскакивала с учительского места и мы всем гуртом, к их великому удовольствию, не отправлялись в умывальную, где я при них мочила волосы, которые еще больше завивались, и терла лицо холодной водой, от которой оно еще больше пылало.

Конечно, весь этот шум не мог пройти незамеченным, и

школьный совет, посовещавшись, решил мне помочь. Теперь на уроках музыкальной теории стал присутствовать учитель математики, бывший одновременно и председателем школьного совета. Я сама почему-то боялась его ужасно. Он был лысый, в очках, с огромными усищами, и когда он сидел на моих уроках, мел прыгал в моей руке, я рисовала на доске нотные линейки, пальцы мои дрожали, и линейки выходили кривыми. Зато в классе царила мертвая тишина.

Все же я почувствовала себя взрослой и стала закалывать мою косу в пучок; от этого пучка у меня в душе росла какая-то гордость, но вскоре она видоизменилась и превратилась в спокойную уверенность. Я была нужна, я приносила пользу, я ела тот кусок, который сама зарабатывала.

До сегодняшнего дня я сохраняю один очень ценный для меня документ. Эта бумага со штампом Рублевской школы представляет не что иное, как ходатайство школьного совета перед московским МОНО о проведении меня заочно учительницей пения, так как я успешно провела месячный испытательный срок, а мой отъезд вредно отзовется на школьных занятиях. На самом же деле школьный совет Рублева просил о моем заочном проведении в педагоги только потому, что, увидя мой «непедагогический девчоночий» вид и догадавшись о том, что я «недоучка», МОНО никогда бы меня педагогом не утвердило. Но в те дни интеллигенция не шла работать, людей не было, и Рублево сначала получило отказ, так как МОНО колебалось, но при вторичной просьбе учителей оно согласилось.

Итак, я была учительницей пения школ двух ступеней. Я имела оклад и школьное питание.

Мама была поражена. Сначала она рассердилась на мое ослушание, потом смирилась и заплакала.

Но доставалось мне не на шутку. У меня оказалась масса работы, которая не оплачивалась и считалась общественной.

Все учительницы пели, и все они хотели, чтобы я каждой из них аккомпанировала. Все школьные спектакли тоже проходили с моим участием. Но этого было мало: в большом рублевском клубе часто устраивали кино, натянув на сцене полотно для экрана, и тогда я, усевшись по ту сторону экрана, глядя на него, должна была иллюстрировать кинокартину музыкально. В то время я еще не потеряла пианистической техники и это не составляло мне особого труда. Но после кино начинались танцы, и меня не отпускали. Я должна была играть вальсы, краковяк, па д'эспань, польку, русского, цыганочку и т. д… В Рублеве оказался застрявшим с Первой мировой войны один австриец по фамилии Вальтер. Он был неплохой скрипач-самоучка. К нему примкнули

ребята, имевшие гитары, балалайки, мандолины, и вскоре у нас уже был свой оркестр, на радость всем рублевцам.

Теперь я так же, как и мама, пропадала целыми днями, и жизнь моя была настолько загружена службой и репетициями, что мне не хватало дня.

Я столкнулась лицом к лицу с тем народом, который прежде, благодаря моему происхождению, был отгорожен от меня непроходимой стеной.

Ведь крестьяне эти были для меня те толпы, которые с песнями тянулись по дороге из деревень к нашему имению Петровское и окружали кольцом нашу террасу. Они приходили к нам систематически: то чтобы поздравить нас «с приездом из Москвы», то чтобы поздравить нас «с первым снопом», принеся с собой украшенный лентами сноп, то поздравить с тем или иным церковным праздником. Они получали деньги, на поляне им накрывали столы с угощением, а иногда в особо торжественных случаях выкатывали из погреба бочку вина.

Видели мы крестьян и поближе. Это бывало в морозные стужи зимних каникул, когда, пройдя несколько верст на лыжах, мы заходили в первую попавшуюся избу отдохнуть и натереть лыжи канифолью. Нас встречали приветливые лица, нам ставили медный самовар, в нем варили чисто вымытые яйца, мы мазали свежесбитое масло на душистый черный деревенский хлеб своего печения, и нам наливали полные блюдца тягучего ароматного меда со своей пасеки.

Крестьян мы видели также и в наших слугах, к которым были привязаны всей душой.

Теперь эти крестьяне были тем народом, который уничтожил самодержавие, который мало-помалу уничтожал дворян и должен был в конце концов уничтожить и нас. Так по крайней мере думала я в тот день, когда мы приехали в Рублево.

Но все вышло иначе. Как только мы с мамой с головой ушли в работу, так со всех сторон к нам стали протягиваться самые искренние, дружеские руки. Кто-то из рабочих, случайно зайдя к нам в комнату, заметил, как мы спим. У нас тотчас же появилось два роскошных, набитых душистым сеном матраца, и мы больше не спали на полу.

Когда я нечаянно разбила в нашей комнате фарфоровый умывальник, Сережа Еремин, рублевский слесарь, заменил его новым. Разбитый мной умывальник куда-то «списали» и даже не вычли из моей зарплаты. Нас с мамой окрестили «Екатерина старая» и «Екатерина молодая», и, кроме бесконечного внимания и ласки, мы с мамой ничего не видели. Я говорю только о рабочих, потому что тамошней интеллигенции мы с мамой

сторонились. Даже со всем учительским персоналом я никогда ни о чем, кроме работы, не говорила.

Все рабочие дни мы бывали очень сыты, но зато в воскресенье наступал полный голод, так как столовая не работала. Но вскоре и это неудобство было побеждено. Жена инженера Нестерова попросила меня заниматься музыкой с ее сыном и дочерью. За это она расплачивалась молоком и продуктами. Таким образом голод был побежден и мы были спасены.

Но, конечно, в работе не все всегда шло гладко. Оказалось, что Рублево часто меняло своих заведующих столовой, которые все как одна попадались на воровстве. Почти все они были из местных жителей и на глазах богатели, покупали коров и отстраивали дома в прилегавших к Рублеву деревнях.

Когда мама вернулась из Москвы, то все решили, что с работой ей не справиться. Однако очень скоро обеды, завтраки и ужины рабочих стали заметно улучшаться. Зачастую, пообедав, рабочие подходили к маме, жали ей руку и благодарили. Кроме того, в столовой стало оставаться много остатков, и они тоже пошли в запас, образовав особый фонд. Стало ясно одно: мама не воровала. Но стало ясно и другое: воровали все предыдущие заведующие. Тогда мама стала получать анонимные письма, в которых ее предупреждали, чтобы она была готова к тому, что ее не нынче завтра «пырнут ножом» за честность. Но мама была не из пугливых; я, к сожалению, не помню, какие именно меры она предприняла, но «анонимки» быстро прекратились, и мама, слава Богу, осталась жива и невредима.

На моем «культурном фронте» тоже бывали неприятности. Несколько раз я была свидетельницей самых отчаянных побоищ. Дело в том, что на спектакли, на концерты и в рублевское кино приходило немало публики из окрестных деревень. В большинстве случаев это были парни. В то время во многих избах «гнали самогон», и вот эти-то бутылки с так называемой ханжой парни приносили на гулянье и тут же из-под полы распивали. После зрелищ начинались танцы, а вместе с ними начиналось ухаживание за девушками. Подбодренные ханжой, парни, придравшись по всякому поводу, затевали драку. Начавшись с рукопашной, она иногда кончалась побоищем с ножами-финками. Иногда это начиналось в стенах клуба, а потом переходило на улицу, привлекая все больше и больше участвующих. Дрались партиями: с одной стороны — рублевцы, с другой — пришлые. Однако та большая просветительная работа, которая велась при клубе — а велась она главным образом учительским персоналом, — понемногу изживала подобное варварство.

Я почти весь день проводила за роялем, так как без музыки

ни одна культурная затея не обходилась. Мне по-прежнему досаждали мои ученики старших классов, но теперь они уже изводили меня любовными записками. Получала я также записки и от взрослых парней. Тексты были приблизительно такими: «Катя, почему ты ни с кем не гуляешь? Давай гулять со мной», или: «Катя, выходи гулять на фильтры, я давно по тебе страдаю», или: «Катя, я влюбился в тебя как свинья, сам не знаю, что со мной. Давай гулять», и все в этом роде. Чтобы никого не обидеть, я каждому из них отвечала одно и то же, а именно: что я педагог и мне ни с кем «гулять» не положено. Однако среди похожих друг на друга чувств и среди одних и тех же шаблонных слов я встретила в Рублеве одно непохожее на других сердце.

Напротив Рублева, по ту сторону Москвы-реки, располагалось имение князей Юсуповых с дворцом, называлось оно Архангельское и в то время принадлежало Льву Троцкому. Однажды даже в один из революционных праздников он навестил Рублево и выступил перед нами. Мне запомнился маленький, заросший черными волосами человечек с такой же черненькой, острым клинышком, бородкой. Говорил он горячо, сильно жестикулируя, быстро бегал взад и вперед по эстраде и как будто со злобой выбрасывал в зрительный зал короткие зажигательные фразы. Голос у него был неприятный, резкий, иногда даже пронзительно-визгливый, но оратор он был замечательный и говорил пламенно, заставляя забывать о том неприятном внешнем впечатлении, которое производил. И вот из этого самого Архангельского сбежал сторожевой черный, пушистый пес Гектор. Ростом он был с теленка. В своей бродячей жизни он совсем одичал, в руки никому не давался. Как-то вечером, увидя его худой, огромный силуэт у ямы с отбросами, я ласково позвала его. В тот час я шла домой и несла в бумаге остатки своего хлеба на ужин. Гектор посмотрел на меня недоверчиво и не подошел. Тогда я положила около одного из деревьев свой сверток, развернула бумагу и стала ждать. Но Гектор, хотя поднял голову и смотрел на меня внимательно, однако все же не доверял и потому не подходил. Тогда я отошла на еще большее расстояние. Теперь Гектор, внимательно следивший за каждым моим движением, осторожно, медленно ступая своими большими мохнатыми лапами, подошел к дереву и с жадностью накинулся на нежданное угощение. Со временем он стал мне доверять и наконец привязался ко мне. Взять его к себе в казарму я не имела права, да Гектор и не променял бы своей свободы ни на что; он привык к своей бродяжьей жизни и был очень самостоятельным. Он знал, в какой именно казарме я живу, и хотя прибегал ко мне неаккуратно, зато, прибежав, вызывал меня лаем, а потом, если я

не выходила к нему, поднимал жалобный вой. Иногда он пропадал по два-три дня. И вот однажды, неизвестно по каким причинам, Гектор стал вести себя странно. Придя ко мне, получив порцию собранных ему остатков и приласкавшись ко мне, Гектор, как обычно, убегал, а через какие-нибудь полчаса возвращался вновь и поднимал около нашей казармы отчаянный вой. Но самое странное было в том, что когда я, вызванная его воем, снова выходила на улицу, то Гектор куда-то прятался и ни за что не хотел показаться мне на глаза. Моему удивлению не было границ, когда я убедилась в том, что такое поведение вошло у Гектора в обыкновение. Я ломала себе голову над тем, что ему надо и почему, вызвав меня, он неизменно прячется. Так длилось до тех пор, пока рублевские девушки не поведали мне, что это по уходе Гектора каждый раз «воет под Гектора» зеленоглазый Мефедка, сын старшего мастера машинного отделения. Таким оригинальным способом он вызывает меня для того, чтобы сказать мне что-то, но каждый раз не решается…

Мефедка был красивый, очень застенчивый и хороший парень с золотым сердцем. Когда мы покинули Рублево, он еще долго писал мне в Москву. Бесконечно кипя в труде, по роду своей работы имея дело с живыми людьми, я очень тосковала по одиночеству, и только очень редко мне удавалось урвать для себя какой-нибудь час. Тогда, в морозную ночь, я убегала на фильтры. Это было большое ровное пространство, на котором виднелись круглые крышки выходивших наружу из земли подземных фильтров. Крышки иных фильтров были закрыты, у иных — полуприподняты над землей. Уходя в мир своей фантазии, я представляла эту снежную даль брошенным полем сражений, а круглые крышки фильтров — то там, то сям разбросанными щитами русских витязей. Зимний ветер в этот час ночи претворялся в моих ушах в симфонический оркестр. Я слышала оперу Глинки, я слышала арию Руслана среди заброшенного поля битвы: «О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?» Потом я бродила по густо засаженным деревьями ровным аллеям Рублева. Черные узоры оголенных ветвей качались над моей головой на фоне бесцветного зимнего неба, и мне казалось, что их шум похож на шум деревьев моего родного Петровского, моего любимого парка, в котором промелькнуло мое короткое детство… Иногда ночью я одна прокрадывалась в здание клуба. Мне с большим доверием был вручен от него ключ для того, чтобы я смогла, когда захочу, заниматься на рояле. Я входила в пустое здание, запиралась на ключ, ощупью проходила на сцену и включала свет. Потом доставала мои, всегда хранившиеся около рампы, ноты и садилась за рояль. Знакомые произведения,

связанные с детством и отрочеством, возвращали меня в далекое прошлое, которое было еще совсем-совсем недавно; передо мной в том или ином произведении воскресали образы родных и близких, ушедших от нас навсегда. Эти очень редкие часы, вырванные мною, были для меня той запретной роскошью, которую позволяла себе моя душа…

Потом снова наступала работа, и я забывала обо всем. Иногда меня по школьным делам посылали в Москву. Эти поездки бывали для меня крайне тяжелы. В то время Рублево сообщалось с Москвой или посредством грузового транспорта, или рублевской железнодорожной веткой, одноколейкой, которая довозила пассажиров до Немчиновского поста Александровской железной дороги. Оттуда можно было ехать в Москву уже на обычном поезде. Так как зимой на грузовике я бы окончательно замерзла, я предпочитала поезд.

Выходить надо было к семи часам утра, зимой еще в полную темноту, в открытое снежное поле, где свистал ветер. Там, на узких рельсах, похожих на самодельную железную дорогу, подавал рублевский парень, так называемый Володя-машинист, свой поезд, который состоял из смешного допотопного паровоза с высокой трубой и двух товарных вагонов. Они были настолько ветхими, что через их щели всю дорогу можно было наблюдать окружающую природу, и ветер, с яростью просвистывая, пролетал из одной стены в другую и вырывался снова на волю. Придя на это поле в своем холодном драповом пальто, так как шубы у меня не было, и погружаясь в снеговые сугробы в одних коротких кожаных ботинках, так как калош у меня тоже не было, я, вся закоченев, вскарабкивалась под крышу этого разваленного вагона, а Володя-машинист, маленький, коренастый, короткорукий парень, блестя белками голубых глаз на измазанном сажей лице, весело покрикивал на карабкавшихся:

— А ну, садись веселей! А ну, веселее!.. Потом, набегавшись за целый день по Москве, я врывалась на Александровский вокзал и неслась сломя голову в дамскую уборную. Это была благоустроенная «дамская комната» с мягким диваном и такими же мягкими креслами. Какое счастье! Здесь час-другой до подачи поезда я могла отогреться и отдохнуть. В детстве меня воспитывали строго и не нежили, но все же спанье, хотя и на матраце, набитом сеном и лежащем на досках, было для меня не очень сладким, и теперь, сев на мягкий диван, я испытывала настоящее блаженство. Но стрелка на большом белом циферблате вокзальных часов показывала, что надо торопиться, и я снова отправлялась в долгий мучительный путь.

Что касается мамы, то она в своем человеколюбии совершала

настоящий подвиг. С некоторых пор по просьбе рабочих столовой и по решению соответствующей комиссии ужин выдавался на руки сухим пайком дважды в месяц. И мама, завернув в чистую тряпочку немного чечевицы, немного грязноватого пшена и немного сухой воблы, дважды в месяц ездила в Москву. Она отвозила свой паек Прянишниковым, которые голодали, сидя на своем золоте и драгоценностях. Их негде и некому было продать. В те дни рояль меняли на мешок пшена, и питались только те люди, у которых уцелела лишняя обувь, лишняя одежда, вещи домашнего обихода и отрезы материалов. На все это можно было выменять сахарин, патоку и какую-нибудь крупу. Кстати, о наших драгоценностях. Как я уже писала, мы приехали в Рублево, привезя их в маленьком сундучке. Когда через несколько дней вслед за мамой устроилась на работу и я, комната наша в казармах целый день стояла пустая и даже незапертая. Этот же сундучок, который в те дни был, как выражаются, «мертвым капиталом», стоял прямо на полу в пустой, без всякой мебели, комнате, и надо было определить для него какое-нибудь место.

Отпуская рабочим в столовой обед, мама видела каждого из них через полукруглое, вырезанное в дощатой перегородке окошечко. Когда однажды к нему подошел мужчина средних лет с открытым взглядом светлых глаз и очень серьезным и озабоченным лицом, мама попросила его зайти к нам после работы вечером, в нашу казарму.

Я была потрясена внезапно принятым мамой решением и тем, как, ни минуты не колеблясь, она привела его в исполнение. — У меня никого здесь нет знакомых, — сказала она, обратившись к этому впервые вошедшему к нам и совершенно неизвестному нам человеку, — мы с дочерью приехали сюда из Москвы, где у нас тоже не было крова. Все, что мы имеем, заключено в этом сундучке. Я бы очень просила вас, здешнего жителя, спрятать его куда-нибудь, чтобы он сохранился.

— А что именно в нем есть? — задал пришедший совершенно естественно напрашивавшийся вопрос.

Вместо ответа мама взяла ключик, отперла сундучок с драгоценностями и показала по одному все три его отделения. Она сняла бумагу, лежавшую под крышкой, ту самую, которую тогда в банке выдал ей матрос.

— Вот бумага, ее выдали мне в банке при реквизиции нашего сейфа, — объяснила она.

— А куда же мне спрятать ваш сундучок? — удивленно спросил наш новый знакомый.

— Куда-нибудь… Куда найдете нужным…

— Ладно, — медленно раздумывая о чем-то, произнес

пришедший и вдруг неожиданно улыбнулся: — А почему вы именно меня выбрали?

— Сама не знаю, — искренно призналась мама, — просто так… да и выхода нет, нельзя же оставить его стоять в незапертой комнате, а делать из-за этого ключ, право, не стоит…

— Хорошо, давайте-ка его сюда. — С этими словами рабочий взял под мышку все, что мы имели, и пошел к выходу. — Когда понадобится, скажете, — бросил он на ходу и скрылся за дверью.

Этот человек оказался Иваном Тихонычем Зенкиным, одним из самых старых «кадровых» рабочих Рублевского водопровода. Жил он не в казарме, а на привилегированном положении в отдельном домике из серого бетона, в котором жили все старые рабочие. Имел он корову и свой небольшой садик. Впоследствии мы познакомились со всей его многочисленной семьей: женой Екатериной Ивановной, старшей дочерью Капитолиной, взрослым сыном Василием и младшей дочерью, моей однолеткой, светловолосой, голубоглазой, веселой Женей.

Мы с ней очень подружились; вообще в Рублеве все девушки льнули ко мне, окружая меня стеной. Это и понятно. Их привлекал рояль, а какая девушка не любит песен? Среди них было много хорошеньких, способных, одаренных хорошими голосами, но изо всех них выделялась одна. Она сначала привлекла мое внимание, а затем завоевала мою дружбу. Шура Осокина была тоненькая, точно выточенная из слоновой кости, девушка. Меня поразил ее матовый, без румянца, совершенно белого мрамора цвет лица, небольшое личико, утопавшее в пышных волнах (обстриженных до плеч) густых волос, и огромные на небольшом личике, бездонные, темные глаза. Шура обладала предельной музыкальностью, чудно пела — у нее было глубокое бархатное контральто. Она была одарена большим артистическим дарованием и темпераментом.

Но какая превратность судьбы! Шура была безнадежно влюблена в бесталанного, глупого, совершенно безличного парня, которого все почему-то звали Навагой. По моему настоянию Шура держала экзамен в Московское театральное училище. Когда мы уехали из Рублева, то в первое время я со многими девушками переписывалась, прежде всего с Шурой Осокиной, но впоследствии мы потеряли друг друга из виду. На насосной станции отец Шуры был простым рабочим машинного отделения, а мать — совершенно неграмотная женщина.

Итак, первая зима в Рублеве прошла; мы с мамой обжились, привыкли к нашей казарме, к своему труду и от души полюбили всех рублевцев. Должна сознаться, что по молодости лет я бы не смогла вести школьной работы, если бы не Александра

Николаевна, та самая учительница, к которой я первый раз пришла наниматься мыть чернильницы и тряпки для стирания мела с классной доски. Кроме нее, все педагоги относились ко мне очень хорошо, все старались мне помочь, но она в особенности. Бывала я в квартире инженера Нестерова, где давала уроки музыки его сыну Вадику и дочери Ляле. Часто я замечала, что со стороны рублевской интеллигенции бывали попытки расспрашивать меня о нашей с мамой жизни в Москве, люди явно хотели сблизиться со мной и искали для этого всякого повода, но я молча отходила, и меня оставляли в покое. Как ни странно, но мне так же, как и моей матери, тяжелы были образованные люди, мне было легко и хорошо только с простыми рабочими. Я страшно стыдилась моего происхождения, именно стыдилась. Узнав о нем, люди на глазах менялись и становились неискренними. Больше всего нас с мамой могла оскорбить жалость…

Когда настало лето, мама получила из Петровского письмо от одной фельдшерицы, знавшей нас. Она писала о том, что сотрудники расселились во всех наших четырех флигелях, в том числе и она сама. Имущества нашего было еще очень много, и оно постепенно из всех флигелей растаскивалось. «Я с трудом узнала ваш адрес, — писала она, — и я подумала о том, что вы, наверно, ничего не имеете. Меня поселили в один из ваших флигелей. Ко мне еще никого не прислали, поэтому я живу в нем пока одна. Дом полон вещей, приезжайте, возьмите себе хотя бы что-нибудь, ведь сейчас вам все пригодится…» Первым решением моей матери было не ехать.

— Раз отнято, значит, отнято, — сказала она, — поблагодарю добрую женщину письмом, а сама не поеду… не хочу. Но тут я стала уговаривать маму.

— Если нам с вами ничего не нужно, — говорила я, — то подумайте о других. Разве не приятно будет вам сознавать, что наши вещи попадут в руки хороших, известных нам людей? Вы говорите, что наше имущество сейчас растаскивается народом. Но разве та же семья Зенкина не является частью этого же самого народа? Разве они не имеют права на то, что делают их братья по классу?

Сначала мама назвала мои рассуждения казуистикой, потом она назвала меня иезуитом, а потом она улыбнулась и согласилась со мной.

И тогда на моих глазах претворилась в жизнь одна из восточных сказок, прочитанных мною в детстве. В ней надо было перед волшебной горой, полной сокровищ, произнести заклинание, и тогда гора раскрывалась, впускала людей в свои

недра, и они могли унести на спине своей столько сокровищ, сколько им унести позволяли их человеческие силы.

В Петровское поехали Зенкина Екатерина Ивановна и две ее дочери — Капа и Женя. С ними поехала, конечно, и мама, которая предупредила их о том, чтобы они взяли с собой побольше мешков и чтобы не удивлялись тому, что они увидят, также попросила их, чтобы эта поездка осталась для всех полной тайной. При таких необыкновенных обстоятельствах вся компания двинулась в путь.

Вернулись они, неся за спиной непомерную тяжесть. Мама не взяла ни одной вещи, которая бы представляла из себя материальную ценность. Она привезла легкий пакет, в котором лежало несколько дорогих ее сердцу портретов и фотографий; и здесь она осталась верна себе. Эту черту — благородство перед самой собой — я в ней обожала.

Зато с этого самого дня вся семья Зенкиных смотрела на нас с нескрываемым удивлением и возрастающим интересом, но все они сдержали слово, и о волшебной поездке никто ничего не узнал.

Надо признаться, что поездка в Петровское подействовала на маму губительно: несколько дней она ходила словно потерянная, однако со мной никакой откровенности себе не позволяла. Только однажды поздно ночью, когда обе мы не спали, а лежали с открытыми глазами молча, что часто с нами бывало, мама вдруг тихо позвала меня. Я сейчас же вскочила и забралась к ней на постель. Тогда она стала мне рассказывать.

Из Петровского дворца было уже все вывезено, местное население теперь вынимало из окон рамы вместе со стеклами. Больница снимала полы, и огромные длинные доски спускали на веревках прямо из зияющих пустых глазниц окон. Медная статуя Аполлона лежала в сарае больницы. Греческого бога распиливали на мелкие части, которые расплавляли и заделывали ими дыры в ваннах, котлах и кухонных кастрюлях больницы.

— Я не могу понять этого варварства, — говорила мама, — ведь из дворца они могли сделать театр, поскольку наверху была сцена и зрительный зал… Да и, в конце концов, из него бы вышел чудесный дом отдыха! Разбивают ценнейшие майоликовые печи, в которых жарили целых, подвешенных за ноги лосей… а наш музей, а библиотека, а ценный архив?..

Когда я заснула, то потом сквозь сон слышала, как мама тихо плакала.

Больше мы о Петровском никогда не говорили, и жизнь наша потекла по-прежнему. Летом Рублево украшалось близостью Москвы-реки, а времяпрепровождение расцвечивалось катанием

на лодках. Кроме того, на летние каникулы школьников распускали, и у меня лично оставалась только работа с оркестром, игра в кино и иногда аккомпанемент тем или иным самодеятельным певцам.

Лето быстро промчалось, незаметно пришла осень, а за ней и зима.

Теперь, оборачиваясь назад к этим давно прошедшим временам, я вполне понимаю, что ни моя мать, ни я ни в коей мере не соответствовали тому положению, которое занимали. Если мама в прежней жизни любила кулинарию, интересовалась тем, как готовили наши повара, и сама могла вести самый изысканный стол, то навряд ли именно эти ее познания могли пригодиться для пшена, мороженой картошки, сухой воблы и всего «голодного стола» тех дней. Рублеву был просто нужен честный человек, который бы не воровал и старался бы вкусно накормить рабочих тем скудным ассортиментом, которым располагала база питания.

Я же, и вовсе недоучка, да еще, по молодости своих лет, очень смешливая, не умевшая себя поставить, без всякого авторитета как в словах, так и в поведении, ну какой я была педагог?..

Но в то время не было стольких музыкальных школ и не так легко можно было найти квалифицированного пианиста. Я же не отказывалась ни от какой работы по общественной нагрузке, а так как кино, танцы и пение были с моим участием обеспечены в любой день, то молодежь, как говорится, «стояла за меня горой», да и школьный совет меня не обижал. Мы же с мамой были уверены в том, что нашли свое место в новой жизни, и решили, что в Рублеве пройдет все наше дальнейшее существование.

Зима в тот год стояла лютая. На новогодний концерт Рублево пригласило артистов из Москвы, среди которых были жонглеры и какие-то эквилибристы, за которыми, вместе с их аппаратурой для выступления, Рублево должно было выслать в Москву свой грузовик.

Не помню точно, что именно послужило причиной того, что артисты не приехали. То ли сильный мороз и вьюга, которых они испугались, то ли они отказались потому, что в те дни артисты были «нарасхват» и им предложили более выгодное выступление, а может быть, и наш часто портившийся грузовик застрял в дороге и не мог вовремя привезти артистов из Москвы. Одним словом, новогодний концерт в Рублеве впервые был сорван. Узнали мы об этом событии всего за три часа до начала концерта, объявленного в расклеенных по Рублеву афишах. А народ, любивший прийти пораньше, чтобы занять лучшие места в

зрительном зале клуба, понемногу уже прибывал со всех концов. Часть публики вошла в здание, разместившись у входа в запертый зал, дожидаясь в тепле, когда его отопрут, другая часть, в основном молодежь, гуляла, несмотря на сильный мороз, по расчищенным от снега аллеям.

Как всегда, наше культурно-просветительное ядро, состоявшее из учителей, решило спасать положение. Прежде всего учителя попросили правление Рублевского водопровода, чтобы оно, насколько возможно, не торопилось вести официальную торжественную часть, а затем, так как в запасе оставалось около трех часов времени, учителя, забрав меня, отправились в школу, в учительскую комнату, к роялю.

Было решено устроить концерт собственными силами: небезызвестная учительница Александра Николаевна стала репетировать со мной арию Любавы из оперы «Садко» Н. А. Римского-Корсакова и арию Купавы из оперы «Снегурочка». Один из учителей, игравший неплохо на скрипке и часто просивший меня ему аккомпанировать, теперь отважился выступить с «Баркаролой» Мендельсона и с «Песней без слов» Чайковского. Хорошенькая учительница Валерия Александровна своим небольшим, но чистым голоском должна была пропеть «Сирень» Рахманинова, и даже жена одного инженера, давно мечтавшая о выступлении на эстраде, жгучая и эффектная брюнетка Калерия Михайловна стала примерять одно за другим свои вечерние платья, чтобы спеть «Если рыбка плеск, плеск плещет» из оперетки «Гейша» и арию Сильвы «О, не ищи ты счастья в высоте небесной»…

Но растянуть на два концертных отделения выступление этих четырех отважных любителей было просто невозможно: необходимы были еще хотя бы двое участников. Под общие крики и мольбы учитель русского языка согласился наконец прочесть, хотя бы по книге, два смешных рассказа Чехова. Ну, а кого бы еще привлечь и использовать в концерте?.. — вертелся у всех нас на уме мучительный вопрос.

— Моя мама могла бы что-нибудь спеть, — вдруг предложила я, сама еще не осознавая всех могущих быть от моего предложения последствий.

— Ваша мама?! — с большим удивлением переспросила меня Александра Николаевна. — А что она может спеть?

— Наверно, какие-нибудь русские песни… — подсказал мне кто-то стоявший сбоку у рояля, за которым я сидела.

Впервые за все время я почувствовала себя задетой, и самолюбие залило мое лицо яркой краской. Я так всегда гордилась моей матерью, ведь это было моей единственной

радостью в жизни!.. — У мамы классический репертуар, — ответила я, стараясь казаться спокойной.

— Она где-нибудь училась? Какой же у нее голос? Почему же мы об этом не знали? — посыпались на меня со всех сторон вопросы.

— В свое время мама окончила по пению курсы филармонии, она училась у профессора Бежевича, в одном классе с Леонидом Витальевичем Собиновым, с ним вместе кончала класс и пела дуэты на выпускном экзамене. А потом она совершенствовалась в Италии, в Милане, дважды выступала в оперном театре «Ла Скала»…

Никакая разрывная бомба не могла бы произвести такого действия, как мои слова. Трудно описать, что только здесь началось, а когда узнали, что я даже привезла из Москвы ноты, тогда все закричали «ура! ура!» и стали надевать шубы, чтобы отправиться целой делегацией к маме в столовую и просить ее спеть.

Узнав об этом и поняв, что виновник всего случившегося была я, мама пришла в полное отчаяние и страшно на меня рассердилась. Стоя около котлов, в поднимавшихся парах, она, худенькая, в белом халате, энергично отмахиваясь от всех руками, была похожа на какую-то большую птицу, машущую своими крыльями в облаках густого тумана. Но делать было нечего. У меня вылетели невозвратимые слова, кроме того, чем больше она отговаривалась, тем настойчивее ее просили, и кончилось тем, что всю ее работу в этот вечер взяла на себя старшая повариха, высокая, дородная, смуглая Поля, а все служащие столовой стали снимать с нее халат и выпроваживать ее из столовой. Все они присоединились к просьбе школьного совета. Наверно, мама не могла отказать, потому что в это событие было втянуто слишком много народа, ее окружила целая толпа, и она… сдалась. Мы пошли с ней репетировать.

Потом мама стояла в казарме, в нашей комнате. Она беспрестанно возмущалась моим поступком, а я ползала перед ней на коленях по полу и закалывала на ней одно из уцелевших черных ее платьев, которое мы привезли с собой в корзинке. Когда-то, в 1914 году, во время войны, мама в нем ходила на работу в наш лазарет, надевая его под белый халат. Оно вышло из моды и было несколько длинно. Я быстро подколола прямо на ней покороче подол платья, а потом так же быстро подшила его на руках. А когда я его как следует разгладила, а мама еще к тому надела на него небольшой белый воротничок, то все получилось скромно и очень прилично.

— У тебя нет совести, — продолжала на меня сердиться

мама. — И как только ты посмела спровоцировать меня на это выступление?.. Ты вольна делать с собой что хочешь. Не окончив образования, ты заделалась педагогом (мама так и говорила «заделалась»)… И сейчас на этом вечере я бы ничуть не удивилась, если б ты стала на эстраде плясать на канате. Но какое ты имела право распоряжаться мной?..

Она говорила еще много-много, вспоминала мое детство и всех тех «провидцев» из наших знакомых, которые считали, что из меня ничего хорошего не выйдет. Мама договорилась даже до того, что я, конечно, еще принесу ей в жизни не одно несчастье…

Я долго слушала ее, молчала, молчала, а потом решилась возразить:

— Мама, ведь я сделала все это вовсе не для того, чтобы вы пели на именинах у жены какого-нибудь рублевского инженера! Разве не вы все время говорите мне о том, что наш долг велит нам приносить пользу всюду, где это только возможно? А тут дело общественное: надо выручать из беды. Ведь вам известно, что артисты из Москвы подвели и не приехали? Клуб не частное предприятие, вы будете петь для народа!

— Хорошо, хорошо, замолчи, я давно уже убедилась в твоих юридических способностях… — При этих словах мама улыбнулась и с этой минуты уже больше меня не бранила.

Я с детства привыкла аккомпанировать брату, игравшему на скрипке, и маме в пении (я знала и чувствовала каждое ее даже самое мимолетное настроение или волнение), и теперь, когда впервые после долгого молчания, после самых тяжелых переживаний мама должна была запеть уже «в новой» для нас жизни, я на миг была испугана не только тусклым звуком ее голоса, но и каким-то внутренним равнодушием… мне показалось, что ей уже никогда не петь больше так, как она некогда певала…

Но вот мама стала все больше и больше со мной распеваться. И вдруг неожиданно, вслед за обычными арпеджио и двумя-тремя ее излюбленными вокализами, голос очистился и заиграл прежними красками; это было похоже на яркий солнечный луч, пробившийся сквозь серую пелену туч…

Мама распелась: на щеках ее появился чуть заметный румянец, глаза ее заблестели. У нее даже вырвалось искреннее сожаление о том, что она не может спеть несколько арий из итальянских опер на итальянском языке, который она обожала и который называла «языком своего сердца». Мама была в меру оживлена, в меру спокойна, и теперь я была в ней совершенно уверена.

Однако, когда мы с ней вышли на сцену и она запела первым

номером романс Глиэра «О, если б грусть моя…», я вдруг снова услышала в ее голосе какие-то матовые нотки и заметила ее странно потухшие глаза. Но это было только несколько мгновений, несколько первых музыкальных фраз, пропетых ею равнодушно. Родная стихия звуков покорила ее, вдохнула в нее жизнь, властно увлекла за собой. Тепло и волнующе она спела романс Чайковского «И больно и сладко», а в арии Лизы из «Пиковой дамы» сила беспредельно глубокого страдания пронизывала каждое слово, каждую музыкальную фразу, и образ обманутой девушки, оживленный певицей, встал перед нами во всем своем отчаянии.

Мамино выступление на концерте вызвало не только гром рукоплесканий, но и восторженные выкрики: «Бис! Бис!» Вызывали ее без конца. Публика только тогда успокоилась, когда ведший концерт бухгалтер Рублева объявил о том, что мама будет выступать еще и во втором отделении.

— Ты слышала, Китти, — обратилась ко мне мама, — как кто-то в зрительном зале выкрикнул: «Ай да кухарка! Ишь как она запела-то!» — И в первый раз за долгое время мама засмеялась.

— Слышала, слышала, — подтвердила я, — наверно, это кто-нибудь из окрестных деревень… ведь здесь все знают, что вы…

— Ах, какие пустяки, — перебила меня мама, — я и есть кухарка, мне казалось, что я разучилась и думать и чувствовать музыку…

Вместо ответа я быстро поцеловала маму в щеку и убежала, оставив ее за кулисами, где происходил этот короткий разговор. Мне надо было спешить. На эстраде учитель русского языка дочитывал рассказ Чехова «Хирургия», и весь зал покатывался от смеха. После этого номера я опять должна была выйти на сцену для того, чтобы аккомпанировать скрипке.

Да… я так же, как и мама, слышала этот выкрик о кухарке. И теперь, наблюдая за зрительным залом, я старалась вникнуть в причину того восторга, который вызвала мама. Может быть, действительно пятьдесят процентов его было только изумлением, чем-то вроде того, что вызывает неожиданный сюрприз?.. Как эта по своему виду незаметная и немолодая женщина, которая больше года каждый день отпускала молчаливо рабочим обеды в столовой, вдруг вышла на сцену и запела «вроде артистки»?.. Может быть, это удивление и вызвало такой гром рукоплесканий?..

Но во втором отделении концерта я убедилась в том, что ошибалась. Эти простые рабочие прекрасно разбирались в искусстве и каким-то внутренним чутьем почувствовали профессионала и поняли, что на фоне самодеятельности перед

ними выступает и поет настоящая артистка как по качеству своего голоса, так и по выразительности драматического исполнения.

Мама пела, и весь зал слушал ее затаив дыхание. Особенно застывшими и взволнованными были лица слушателей при ее исполнении романса Василия Калинникова: «Острою секирой ранена береза, по коре сребристой покатились слезы…» Композитор, всей своей душой подлинно русский, сумел представить в этом романсе картину любимой им родной природы: в то время как голос ведет широкую задушевную мелодию, аккомпанемент звучит то мерными ударами стали, которая врезывается в- нежную кору молодого дерева, то переходит в шелест пышного, густого леса, равнодушно стоящего вокруг во всей своей летней распустившейся красе…

На «бис» мама исполнила романс Глиэра «Жить будем, жить!». В музыкальной фразе «в неведомую даль свободные пойдем!» ее высокий, чистый голос затопил своей сверкающей волной весь зал. Мне стоило большого самообладания не сбиться с такта, а в самом конце меня спасли только мощно лившиеся волны маминого голоса, в которых потонули кое-как доигранные мною аккорды.

Слезы застилали мне глаза. Как могла мама найти в себе такие силы, найти в себе, казалось, до конца опустошенной страданиями, такую радость? Она, измученная, исстрадавшаяся, усталая, возродилась точно из пепла и предстала передо мною такой светлой, сияющей, радостной и молодой!..

Когда после многочисленных вызовов зрительного зала мама вышла за кулисы, ее обступили со всех сторон, ее благодарили. В особенности восхищались ее голосом педагоги. Пришли за кулисы из зрительного зала и инженеры с их женами. Все хотели увидеть маму, пожать ей руку, поблагодарить ее, выразить свое удивление.

— Почему же вы молчали до сих пор? — спрашивали ее многие. Часы приближались к полночи, и все спешили домой, чтобы встретить Новый год. Со всех сторон посыпались приглашения: все наперебой звали нас к себе встречать праздник. Мы отказались, так как никогда ни у кого не бывали. Это было главным образом вызвано тем соображением, что, бывая у кого-либо, мы должны были бы и сами звать к себе, а это при наших обстоятельствах было невозможно. Отговорившись под разными предлогами, мы с мамой ушли к себе в казарму.

Я никогда не забуду встречи этого Нового года. Завернутая в бумагу и во всякую одежду, стояла на нашем матраце из сена, в маленьком котелке, заранее нами сваренная картошка. Она была мороженая; вся в черно-розовых пятнах, она старалась

выпрыгнуть из рук в то время, когда мы ее чистили, — такой противно скользкой она была. Из котелка шел от нее приторный, сладковатый, тошнотворный запах. Эту картошку мы запивали так называемым «чаем». Он состоял из кипятка с кусочками сушеной, совсем черной свеклы «вприкуску» — вместо сахара.

— И все-таки ты это напрасно затеяла, — задумавшись, говорила мне мама. — Напрасно… прекрасно обошлись бы и без меня, а теперь начнутся разговоры… расспросы и всякие догадки…

— Мама, мама, — целуя ее, говорила я, — все будет хорошо, вот увидите, все будет хорошо… На другой же день инженер Прудников, начальник всего Рублевского водопровода, вызвал маму к себе на квартиру.

— Каким образом вы попали к нам в Рублево? — спросил он ее, когда мама, несколько взволнованная, пришла на его вызов.

— Меня послала к вам биржа труда.

— Это я сам знаю. Ведь оформлялись вы через меня; я давал свою подпись. Насколько мне помнится, вы приехали сюда даже на должность старшей поварихи.

— Да…

— Почему? Что вас, человека с высшим образованием, заставило устраиваться именно на подобной должности, совершенно вам не соответствующей?

— Другой для меня на бирже труда не было.

— Почему?! Мама молчала.

— Почему? — повторил свой вопрос Прудников. — Говорите. Ведь я, как видите, вызвал вас в нерабочий день к себе, говорю я с вами как товарищ, а не как ваш начальник. Итак, ответьте, почему?

— Такова моя анкета. Другие должности мне не хотели доверить.

— Но, насколько я понимаю, вы прежде всего певица, — с какой-то непонятной для мамы строгостью сказал Прудников, — и ваше место совсем не здесь, не в нашей столовой. Нам жаль будет расстаться с вами, вы во всем нам подходите. О вашей работе мы дадим вам самые хорошие отзывы, которые, кстати сказать, вам совершенно не понадобятся. Мой совет вам: поезжайте в Москву, делайтесь педагогом и учите нашу молодежь петь так, как поете сами. Это мой долг — поступить с вами именно так, а ваше дело — внять моему совету или нет. Подумайте, посоветуйтесь с вашей дочерью и решайте. Мой же совет, даже, если хотите, моя просьба к вам: поезжайте в Москву, и чем скорее, тем лучше…

В это самое время нам из Москвы пришло письмо. Было оно

от старушки Грязновой, жившей в нашей бывшей квартире на Поварской улице, 22. Она писала, что ее сын со всей семьей уехал навсегда на работу в Польшу и будет хлопотать о том, чтобы и ей, его матери, разрешили к нему туда поехать. Квартира наша бывшая опустела, и ее начинают заселять по ордерам, а так как сохранилось много наших вещей, а она сама думает покинуть Россию, то и предлагает нам, поскольку у нас нет угла, переехать пока к ней для того, чтобы в будущем, при ее отъезде, она могла оставить нам свою комнату.

Таким образом, все складывалось так, что мы должны были расстаться с Рублевом. Мама и я пришли к такому решению. Рублево, обжить которое стоило нам немало страданий, Рублево, которое мы уже успели полюбить, вдруг стало нам казаться давно прошедшей страницей нашей жизни, которую мы теперь спешили перевернуть.

Мы вспомнили о нашем сундучке с драгоценностями, который мама отдала на хранение Ивану Тихоновичу Зенкину.

— А я его для сохранности в сарае у себя закопал, — сказал нам Зенкин, — ведь пол-то у меня земляной. Ладно, ужо откопаю — вечерком принесу вам…

Но день отъезда приближался, мы отрабатывали с мамой последние дни нашей службы, а зенкинское «ужо» все длилось. То ему было некогда, то он забывал про нашу просьбу, то находился еще какой-нибудь предлог для отговорки.

Тогда ужасная догадка пришла нам на ум: да разве можно было доверять первому попавшемуся на глаза человеку? Да кто бы выдержал такое испытание? Да разве можно было так искушать человека?..

— Что ж делать… — сказала мама, — значит, такова наша судьба. Все равно хранить драгоценности в пустой, незапертой комнате был такой же точно риск.

И как раз в этот же вечер пришел к нам в казарму Зенкин. Под мышкой он держал наш сундучок.

— Вот проклятый! — сказал он, улыбаясь и передавая сундучок маме. — Ведь он, подлец, словно живой. Взял да под землю и ушел! И место я заметил, как его закапывал… а он взял да и исчез… Вот оказия-то! Пока весь пол сарая не перерыл, до тех пор его не нашел. Только тогда моя лопата о его крышку и стукнулась… Вот чудеса-то! Право слово, чудеса!..

Мы с мамой облегченно вздохнули. Да… Это было действительно чудо, этот стоящий перед нами простой человек, отиравший пот со лба. Уставший и радостный, он смотрел нам прямо в глаза своим открытым хорошим взглядом.

— А ну-ка, отпирайте его, подлеца, — весело говорил

Зенкин, — посмотрим, все ли в нем в целости?..

Зенкин получил от мамы тут же швейцарские карманные часы отца, которые только потому уцелели, что их передняя и задняя крышки были не из металла, а из хрусталя и соединены тонким золотым обручем. Таким образом, весь их механизм был виден. Старшая дочь Капитолина получила серьги из мозаики в золоте, с замечательными подвесками. На серьгах в мозаике был изображен голубь, летевший с оливковой ветвью в клюве. По преданиям Библии, голубь первый известил Ноя этой веткой о том, что бедствие потопа кончилось. Женя, младшая дочь, моя однолетка, получила весь мой прибор из розовых кораллов: три нитки ожерелья, серьги, кольцо и резной золотой браслет с пятью кораллами. Подарки, сделанные жене Зенкина и его сыну Василию, я совершенно забыла и потому не могу их описать.

Прощание наше с рублевцами было трогательным: самые искренние слезы лились с обеих сторон. В Рублеве у нас не было не только ни одного врага, но не было человека, который бы относился к нам как-нибудь неприязненно.

Я думала о том, что ведь рабочие Рублева были частью того народа, который нес уничтожение нашему классу. Однако никто из этих рабочих не причинил нам зла, наоборот: мы были окружены их лаской, вниманием и уважением. Я поняла, что никто из них не был и не мог быть нашим врагом. А уничтожение нашего класса продолжалось стихийно, подобно смертельному огню вулкана, который время от времени выбрасывал пылавшую огненную лаву, сжигавшую все на своем пути.

Только неустанный труд, в котором было все наше забвение и все наши надежды, был в то же время и единственной нашей броней, спасавшей нас от этого огня.

Так на Рублевском водопроводе мы с матерью получили наше «первое трудовое крещение».

В Москве мама прошла экспертизу РАБИСа, получила членский билет педагога-вокалиста. Ей также вручили охранную грамоту на наш полуконцертный рояль «Бехштейн», стоявший в квартире на Поварской улице, 22, который был ей возвращен в собственность. Что касается меня, то я стала продолжать мою музыкальную работу по клубам.

Змея

Дневник Китти

Итак, мы с мамой опять в Москве. С какой радостью увидела я родные улицы, знакомые площади, кривые переулки… Опять на Поварской, опять в нашей (то есть в бывшей нашей) квартире — но где? На плите! Да, да, все комнаты заняты по ордерам коммунистами, а милая старушка Грязнова, сын которой перед отъездом за границу занимал нашу квартиру, эта старушка, обещавшая вписать нас к себе (она занимает мамину спальню, проходную и мамин кабинет), этого, оказывается, сделать не может, ей не позволяют. Наверное, эти комнаты тоже хотят отдать по ордеру. А ведь в кабинете — наш полуконцертный рояль «Бехштейн», столько ценной мебели, вещей, оставшихся после нашего ареста, которые она нам сохранила, а главное, наши кровати! Боже мой! Два года мы не знаем, что значит спать на кроватях. И сейчас, ночью, я ворочаюсь на жесткой плите, и мне кажется, что я еще на Рублевском водопроводе. Кажется, что мы по-прежнему спим в казарме, на полу, а через стекла запертых окон слышится бесконечный гул и шум машин Рублевской насосной станции.

Да, эти два года нашей работы там были не из легких. Мама день и ночь, желая забыться в работе, старалась даже не приходить ночевать в казарму. Среди поля, в наспех сколоченных бараках, стоя в парах над котлами, она отпускала завтраки, обеды и ужины рублевским рабочим. Я в двух школах вела хоровые занятия, и мои ученики дергали меня за косы или писали мне глупейшие записки вроде такой: «Катя! Выходи гулять на фильтры!»

Конечно, если б не снежные заносы, задержавшие приезд артистов из Москвы на новогодние торжества, и если бы не тот прекрасный концерт, который неожиданно дала мама, спев два отделения Чайковского, Глиэра и Рахманинова, то сидеть бы нам по сей день на Рублевском водопроводе и никогда не быть маме членом московского Союза РАБИС. Сейчас у меня одна мечта: как можно скорее найти себе работу, и тогда заживем мы с мамой на славу!.. Но о чем я это размечталась? Пока мы с мамой спим на плите, и хотя она не нужна жильцам, так как топить ее нечем (у всех в комнатах прямо на паркете стоят на железных листах времянки, или, как их называют, «буржуйки»), однако те, кто приходит в кухню за водой, смотрят или, вернее, косятся на нас крайне недружелюбно. Господи! Что-то будет с нами!

В Жилищное товарищество по Поварской улице, д. 22.

От гражданки Грязновой, прож. в кв. 5.

Заявление

Ввиду того, что занимаемые мною комнаты и ранее принадлежали гр. Мещерской Е. П., которая в суровое время поручила сохранять их моему теперь уехавшему сыну А. Ф. Грязнову, и ввиду того, что даже вещи, находящиеся в этих комнатах, принадлежат Мещерской, прошу прописать ее с дочерью на их прежнюю площадь.

Грязнова Татьяна Павловна.

Выписка из протокола заседания правления Жилищного товарищества по Поварской улице, дом 22

Постановили:

Въехавшую в кв. № 5 бывшую княгиню Мещерскую с ее дочерью, ночующих на кухне, на плите, выселить как не имеющих права по своему происхождению быть членами Жилтоварищества и как социально чуждый элемент, являющийся классовым врагом. На этом же основании отказать им в прописке на площадь Грязновой Т. П.

(Подписи)

Архитектор Дубов — в Ленинград, товарищу

Дорогой Петр!

Итак, я больше не житель Ленинграда; особенно не жалею, Москва нравится с каждым днем больше, хорошо, что мой проект утвердили и вызвали меня сюда. Ленинград — мертвечина, «сын былого величия»… а здесь пульс жизни бьет, здесь жизнь, здесь сердце!.. Хожу словно в горячке, город осматриваю и горю, понимаешь, горю весь желанием скорее, скорее смести кривые переулки старой Москвы, смести попадающиеся иногда деревянные домишки и построить новым людям новые, светлые, залитые солнцем дома. Сам я живу на бывшей аристократической улице — Поварской. Дали мне ордер на прекрасную комнату. Первым делом купил большой стол, поставил на середину комнаты и разложил на нем свои чертежи. Не успел я еще прописаться да как следует оглядеться, как меня уже выбрали в правление нашего жилищного товарищества (вот уж, признаюсь, нежелательная нагрузка!). К тому же не обошлось без курьеза: весь актив нашего дома занят выселением какой-то бывшей княгини, да-да, княгини, представь, такие еще в каких-то щелях сохранились! Княгиня эта к тому же не одна, а с дочерью своей — княжной. Так вот, эти «сиятельные» спят на плите, в кухне, в своей бывшей квартире. Как это тебе нравится? По-моему, это

звучит курьезом в наши дни. Итак, правление постановило об их выселении, и протокол уже написали, хотели дать отпечатать, как вдруг сам председатель правления Гапсевич (начальник Особого отдела ВЧК) все дело повернул обратно. А почему? Неизвестно. О, цэ — штука!!! Говорят по-разному: будто берет он к себе в секретари эту девчонку-княжну (она знает иностранные языки и ему нужна), а кто говорит, она ему приглянулась, но это чушь. Приглядываться не к чему, видел я ее, некрасива, ничего в ней нет хорошего, а мать, кажется, большая ханжа и вся в поповщине. Видишь, дружище, я в Москве, и мне довелось даже посмотреть на «бывших», но, к сожалению, выселить их не пришлось!

Виды Москвы получишь от меня в следующем письме. Привет! Пиши, дружище, не забывай!

Твой А. Дубов.

Е. П. Мещерская — в Петровское, Н. А. Манкаш

Дорогая Наталья Александровна!

Господь нам помог: каким-то чудом старушка Грязнова прописала нас в наши бывшие комнаты, и эта милая женщина сохранила нам массу вещей, мой рояль, помните, любимый, полуконцертный, что стоял у меня в кабинете. Конечно, она это сделала потому, что сама уезжает к сыну в Варшаву, и потому, что у меня с ее сыном был такой уговор, но ведь она могла и не исполнить этого обещания!..

Что мы перенесли! Нас не хотели прописывать, выселяли (из-за княжества), но Бог помог! Гроза всего дома, сам И. Л. Гапсевич, следователь (кажется, ЧК), председатель жилтоварищества, взял да все и отменил! Велел прописать, а мою Китти стал устраивать на работу в В. С. Н. Х., но так как моя младшая сестра Таля без службы, то Китти уступила это место ей. Тогда Гапсевич стал устраивать Китти в Ц. У. С., но мы сейчас же подумали о Вашей Валюшке и устроили ее. Ведь, будучи студенткой Вахтанговского театра, она голодала и жила где-то без присмотра, а теперь она у нас, мы ее взяли к себе. В наших двух, хотя и смежных, комнатах места хватит, ведь она моя крестница. Сам Бог велел мне назвать ее моей второй дочерью, и Китти выросла с ней, они как сестры, так что о ней не беспокойтесь! Сыта, в тепле и под моим кровом.

Но представьте, Гапсевич все не успокаивается: теперь он настаивает на том, чтобы Китти шла к нему в секретари, а она — ни за что! Ведь такому человеку и отказать-то страшно… но Вы ведь знаете ее характер, она всю Москву обегала, где-то в библиотеке познакомилась с профессором Понятским Николаем Сергеевичем, другом сына профессора Тимирязева, и он ее устроил руководительницей детского сада при

Коммунистическом университете имени Свердлова, где сам имеет кафедру, то есть в университете, который находится на Малой Дмитровке.

Детский же сад «Галочка» располагается на Тверской, в Дегтярном переулке, Китти очень помогли справки с Рублевского водопровода, где она в клубах двух школ полтора года вела хоровые кружки. Мы часто теперь бываем у профессора Понятского, Китти играет с ним в четыре руки сюиту Грига «Рассвет», «Танец Анитры» и т. д. Он подарил ей свою только что вышедшую брошюру «Происхождение человека» с трогательной надписью: «Моему дорогому другу Екатерине Александровне Мещерской от автора. В знак неизменной дружбы». Как правильно сказал Иоанн Кронштадтский, когда ее крестил:

«Вы надеетесь на сына, его с вами не будет, всю жизнь вас будет спасать ваша дочь!»

Пишите, как дела в Петровском и как себя чувствуете на том месте, которое было мне предназначено.

Е.М.

Н. А. Манжаш — Е. Л. Мещерской

Дорогая княгиня! Разрешите хотя бы в письме называть Вас так!

Видно, Богу угодно, чтобы всю жизнь наша семья получала добро из Ваших рук. Вы спасли меня от самоубийства, когда мой муж проиграл в карты весь свой зубной кабинет, Вы всю жизнь помогали нам, на Ваши деньги воспитывала я своих дочерей… и вот теперь, когда Вы сама нищей стали, Вы все еще заботитесь о нас… Но не жалейте, что Вы уступили мне место кастеляншки при больнице, на которое Вас устраивал ее главный врач. Уж очень тяжело было бы Вам смотреть на разорение Петровского! Статуи распилены на куски, ими паяют ванны и котлы в больнице. После того как вывезли все из Петровского дворца и полный товарный поезд ушел в Нару, теперь снимают полы и разбирают майоликовые печи.

Все четыре флигеля заняты под больничный персонал, а так как я тоже принадлежу к нему, то уж, простите, беру себе на память все, что в силах, ведь все равно чужим пойдет!

Знаете, как говорится: «Доброму вору все впору!» Ведь мы обносились так, что воспользовались Вашим гардеробом (оставшимся). Я белье себе и дочерям сшила, опустошив Ваши комоды, и знаете, какие чудные простыни из голландских Ваших скатертей вышли, просто чудо какие мягонькие!.. Посуду и кое-какие мелкие вещи меняю на молоко у крестьян. Из кавказской венгерки, суконной, коричневой, Вашего покойного князя

(помните «памятную венгерку», простреленную турецкой пулей, что висела у Вячеслава в кабинете?), я сделала дочери пальто, да какое теплое вышло!..

За Валюшку спасибо! Она ведь Китти боготворит с детства, она ее больше своей старшей сестры Лели любила всегда. Да, кстати, о Леле: она устроилась учительницей в Наре, и там комната пустая. Вы ведь знаете, она тонкая натура, любит красоту, так что увезла туда часть ковров, акварели, ноты, ну, в общем, чтобы поуютнее ей там было. Знаю Ваше доброе сердце, да к тому же если мы не возьмем — возьмут другие.

Жаль мне Вас, что Вас преследуют, да что делать! Видно, так Богом суждено. А я Вам очень благодарна, вот поживу здесь, послужу, на пенсию выйду благодаря Вам и уж по гроб своей жизни буду за Вас Бога молить!

Преданная Вам Н. А. Манкаш.

Дневник Китти

Ах, как давно-давно я не заглядывала в мой дневник! А нового-то сколько! Я служу! Ура!!! Мне еле-еле удалось избегнуть грозы всего дома — Гапсевича. Это небольшого роста, но с большим животиком латыш. Он занимает теперь всю квартиру № 4, бывшей генеральши Грэн. Я его случайно встретила у нас в доме на лестнице, он так строго и проницательно на меня посмотрел, а оказался очень даже хорошим: благодаря ему нас не выселили и мы прописаны в маминой бывшей спальне и кабинете. «Гром победы, раздавайся!» — запел бы Вячеслав. Я каким то чудом избегла мрачного Гапсевича с его бесконечными службами, которые он мне предлагал, и мне совершенно случайно из-за знакомства в библиотеке удалось устроиться на службу в детский сад руководительницей.

Дом моей дорогой крестной на Поварской весь теперь занят совершенно новыми людьми, и среди них у нас уже есть друзья; так, например, над нами живет певица Большого театра Катульская Елена Климентьевна. Мы очень часто у нее бываем. У нее в квартире живет один пожилой инженер, Илья Ефремович. Он получил высшее образование за границей, там долго жил, он настоящий европеец. Он часто дает нам взаймы любую сумму денег, в промежутки от одной продажи наших вещей до другой. В первом этаже живет приехавший из Ленинграда известный архитектор Дубов, он тоже уже неоднократно приходил к нам и купил у нас ряд вещей, он почти не торгуется, и мама этому очень рада. А я больше всего рада тому, что Валя опять живет с нами. Мы устроили ее на службу, но за полтора года, пока мы с мамой жили в Рублеве, она завела самые настоящие романы,

окончившиеся очень неудачно, и теперь ходит, бедняжка, с разбитым сердцем.

Несмотря на то что нас все-таки продолжают выселять, мы живем весело. Многие московские друзья нас нашли, и у нас целыми вечерами толчется народ. Если бы я ходила в театр на все приглашения, то мне не хватило бы недели.

Да, я хотела рассказать о службе. Это детский сад при Коммунистическом университете; сюда со всех концов Союза съехались люди для партийного образования. Мне кажется, их дети родились в вагоне или всю свою короткую жизнь провели на колесах, в дороге. У всех у них нет никакой дисциплины. Едва выйдешь с ними на улицу на прогулку, как они моментально разбегаются кто куда, собрать их совершенно невозможно, некоторые тут же уходят домой и не считают нужным вернуться в детский сад. Нас три руководительницы, и мучаемся мы с ними ужасно. Ни лаской, ни уговорами, ни наказаниями дисциплина к ним не прививается. Порядок у нас такой потому, что сейчас плохо с продуктами питания. Мы не хотим сделать одну из нас ответственной за детское питание — ведь полагалось бы одной заведовать хозяйством, другой ведать воспитательными и образовательными делами, поддерживать связь с МОНО, а третьей уже быть всецело посвященной детям. У нас же так: сегодня я занимаюсь хозяйством, завтра иду в город по делам детсада, а послезавтра занимаюсь с детьми. Когда наступает моя очередь проводить с ними весь день, я провожу его прекрасно, и вот почему. Перед тем как идти с ними гулять, я обещаю им или конфет, или печенья, или ягод, смотря по тому, сколько у меня денег в кармане. И что же? Мои дети выходят на улицу с самым благовоспитанным видом, никуда не разбегаются и во всем меня слушаются. Во время прогулки я покупаю им обещанное, и мы вместе пируем. Правда, мама сердится, что от моего жалованья ничего не остается, но ведь, если они разбегутся и не будут меня слушаться, меня и вовсе уволят со службы, а пока я найду новую, нас немедленно выселят как нетрудовой элемент. Мама после тифа еще очень слаба и не может работать. В детском саду дети поднимают невообразимый шум, и, каким бы играм я их ни учила, им ничего не интересно, они предпочитают все время драться и кричат дикими голосами. Из этого положения я тоже сумела выйти: как только обе руководительницы уйдут по делам в город, я вынимаю огромные ящики из буфета. Часть детей садятся в него, а другая часть их катает по всем комнатам. Шум, правда, тоже стоит невообразимый, зато детям весело, они не бьют друг друга, а я могу, сев в стороне, писать стихи и имею время отвечать на письма. Правда, нижние жильцы приходили и

жаловались:

— Что это у вас через два дня на третий делается? Полы, что ли, плотники стругают? У нас с потолка валится штукатурка, и мы целый день ходим с головной болью!

Я — молчок, дети меня не выдают, а руководительницам невдомек. Но однажды мне все-таки влетело, хотя и по другому поводу. Во время моего отсутствия, когда я была по делам в МОНО, из МОНО же пришла комиссия. Эта комиссия что-то проверяла, потом говорила с детьми и наконец ушла. Прошло несколько дней, и вдруг опять приходят из МОНО.

— Кто из троих руководительниц здесь тетя Катя? — спрашивают.

Оказывается, дети им сказали: «Больше всех мы любим тетю Катю, и пусть она с нами всегда будет, каждый день». — «Почему?» — «Потому что на ней платья все кружа-а-авные, на руках у ей — брулюа-а-анты и деньжищ полны карманы, она нас конфетами кормит».

Мне было приказано немедленно снять все кольца, а сверху платья теперь надеваю халат, а сластями я все равно кормить их буду, иначе у меня с ними ничего не выходит.

Ах, какое счастье, что мы опять в Москве, но останемся ли? Коммунисты, занявшие нашу квартиру, все продолжают грозить, а самый главный из них, Алексеев, занявший нашу гостиную и столовую, выбранный ответственным съемщиком квартиры, сказал, что нас все равно выселят и что они подают в какую-то высшую инстанцию. Господи, ну что только нам делать!..

Дубов — в Ленинград, товарищу
Петр! Дружище!

Конечно, приезжай, чего спрашиваешь? У меня остановишься. Жду. По случаю скорого свидания распространяться долго не буду, но скажу, что купил у пресловутой княгини чудные миниатюры прямо за бесценок, она не знает цену вещам, ведь они ей не своим трудом достались. Их все-таки собираются выселять. А знаешь, люди они в общем неплохие. А в дочери есть все-таки что-то «чертячье», кроме всего, смесь большого ума и непроходимой глупости, она ничего, и представь: много поклонников, не боятся даже ее княжеского происхождения, народу у них труба нетолченая. Ну, приезжай, увидишь сам, я — познакомлю.

Твой Алексей Д.

Е. П. Мещерская — в Петровское, Н. А. Манкаш
Милая Наталья Александровна!

Очень Вас прошу прислать нам из Петровского творогу, масла и сметаны, деньги почтой высылаю (я продала часы времен Николая I и этой же эпохи малахитовый письменный прибор), поэтому уж не подведите нас, пришлите к Пасхе. Насчет нашего белья и оставшихся вещей — конечно, берите, нам теперь еще с Китти неизвестно, где придется кончать жизнь, потому что некий Ф. С. Алексеев, занимающий нашу бывшую гостиную и столовую, сделает все, чтобы выкинуть нас на улицу. Несмотря на злобу, которой к нам некоторые полны, мы нашли в доме много хороших людей. На Масленой неделе мы ели блины у Катульской. Там был Константин Николаевич Игумнов, бывший преподаватель Китти, была А. Нежданова с новым аккомпаниатором, только что кончившим консерваторию молодым Николаем Голованoвым, и многие артисты Большого театра.

Знаете ли Вы, что Китти теперь служит, но от этой службы никакого толку нет, так как она все свое жалованье проедает вместе с детьми детсада на сластях. Когда она утром выходит из дому, чтобы идти на службу, Гапсевич дожидается ее в своем экипаже у подъезда, чтобы предложить ей довезти ее до службы, а архитектор Дубов, живущий в первом этаже, предлагает ей с этой же целью свой шарабан. Руководительницы, работающие с нею вместе, жаловались мне, что она целыми днями получает через окна записки от своих поклонников — благо окна из детского сада в первом этаже выходят на улицу. Целыми днями она занята своей корреспонденцией и тем, что пишет стихи и еще какую-то ерунду. Я предчувствую, что она плохо кончит, и у меня одно желание: как можно скорее выдать ее замуж. Она вся в свою сводную сестричку-герцогиню, у нее отчаянная голова. Но за кого выходить? Кругом все молодежь. Единственный завидный жених — это архитектор Дубов. Внешне хорош, есть будущее, и достаточно обеспечен, но не знаю, какие у него намерения и входит ли в них женитьба…

Валя Ваша здорова, служит и с утра до ночи смеется с Китти. Знаете что? Не приедете ли Вы к нам сами? А главное, и продукты привезете. В один из Ваших свободных дней…

Е. Мещерская.

Дневник Китти

Боже мой, что случилось! Что делать мне с этой Валюшкой?.. Едва улегся ее роман с астрономом, который ее бросил и которого она настойчиво подстораживала с его невестой на всех углах, чтобы устраивать ему очередные скандалы, как она под строжайшей тайной сообщила мне, что в нее влюблен бывший

миллионер-фабрикант.

«Он умирает у моих ног, — сказала она. — Он богат и так известен в Москве, что стоит только нам с ним войти в какой-либо ресторан, как оркестр, увидя его, начинает немедленно играть его любимые музыкальные отрывки. Словом, я хочу тебя с ним познакомить…»

Она уговаривала меня до тех пор, пока я не согласилась, и хотя мне было очень некогда, но в воскресенье в назначенный час я вошла с Валей в кафе, где он нас ожидал.

Я увидела вставшего нам навстречу из-за столика типичного приказчика из какой-нибудь комедии Островского. Он был небольшого роста, на толстом его животе висела массивная золотая цепь от часов. Штаны заправлены в сапоги. Рубаха из-под пиджака виднелась пестрая, а фуражка… фуражка меня поразила: она была какая-то допотопная, суконная, в середине смешно выпирала его макушка. Из-под потрескавшегося лакированного козырька висел сизоватый, в оспинах, разбухший, похожий на проросшую картошку нос. Боже мой! Нет слов описать эту фигуру. Валя сделала ему замечание, что он сидит в кафе в фуражке, и он, смешно крякнув, снял ее. Потерявшая от изумления дар речи, я безмолвно опустилась на подвинутый мне Валею стул, а она уселась со мною рядом как ни в чем не бывало.

Посмотрев на нас с самодовольной улыбкой, «миллионер-фабрикант» достал из кармана смятый ярко-красный платок и, к моему великому удивлению, взмахнул им в воздухе в сторону оркестра, который немедленно заиграл «Солнце всходит и заходит…». После чего между Валей и ее поклонником завязался разговор, причем он ее все время называл «Кланя, Кланька, Клашкя».

— Почему вы ее так зовете? — возмутилась я.

— Да глаза-то у ей точь-точь как у одной моей амуры, которая в прошлом году чахоткой померла…

Я не помню, как вскочила из-за столика, вылетела из кафе и понеслась по улицам домой. Возмущению моему не было границ.

В этот вечер Валя пришла очень поздно, но я не спала, и мы с ней проговорили до утра. Валя заверяла меня, что выходит за него замуж и что скоро состоится их пышная помолвка.

— Ты сошла с ума! — воскликнула я. — У тебя будет такой муж?!

— Да, будет! — твердо ответила она. — Я разочаровалась в любви, и меня спасти могут только деньги, меня успокоит только роскошь! Но пока я с ним не обвенчаюсь, наши мамы не должны ничего знать, а вот на тебя он в обиде, и даже очень большой. Ты так ушла…

И от Валиных слов мне стало стыдно. Моя несчастная сестренка! Кто виноват в том, что так все нескладно у нее сложилось! Хочу ее бранить, а в душе люблю ее и жалею. Что ж делать, если она уж так решила, то дай Бог им счастья. Но все-таки это ужасно…

Е. Д. Юдина — Е. П. Мещерской

Вы не можете себе представить, дорогая Екатерина Прокофьевна, какое впечатление осталось у меня от нашего, хотя и мимолетного, свидания. Боже, сколько перемен! Дай Вам Бог вынести все посланные на Вашу долю испытания!.. Конечно, я много счастливее Вас: хотя мы и лишились всего, но со мной остались мой муж и оба сына. Правда, Володя все время в музыкальных бригадах, на фронтах гражданской войны. Ждем его со дня на день домой… А давно ли он вместе с Вашим сыном занимался на скрипке у одного и того же профессора… Мечтаю зайти к Вам и лично посмотреть, какая стала Китти.

Уважающая Вас Елизавета Дмитриевна Юдина.

Дневник Китти

Могу ли я радоваться тому, что произошла Октябрьская революция? Конечно, нет, потому что у меня из живых родных осталась только одна мама. Но что касается моей судьбы, я бесконечно рада революции! Если б было старое время, быть бы мне женой хорошего, но недалекого и абсолютно чуждого мне по душе Мишотика Оболенского. Теперь же я сама себе голова, и хотя маму я и слушаюсь, но уж замуж ей меня не спровадить! Нет! Вот счастье-то!

Это совсем не означает, что я не люблю мужчин. Наоборот, я их очень люблю, они самые лучшие товарищи, и дружить с ними одно удовольствие.

Мне кажется, что чаще всего сами женщины бывают виноваты в своих несчастьях. Они всегда ищут себе поклонников, верят в свою неотразимость, отчего часто даже самые хорошенькие из них бывают несчастны.

Я, например, знаю, что некрасива, и поэтому в мужчинах буду всегда искать только дружбу; наверное, поэтому их так у меня много. Все окружающие меня мужчины — мои друзья, и каждый из них имеет для меня свою особую прелесть.

На Виталия, например, я люблю просто смотреть, так он прекрасен. Он похож на Байрона (исключая байроновскую хромоту), и у него большое дарование — его стихи прекрасны. Мы часто ходим с ним на Поварскую, в бывший дом графов Сологубов. Теперь это Дом поэтов. Виталий — член

литературного общества, которое называется «Африфэкс». Ах, как я люблю литературные вечера в этом старом особняке!.. Потом, в поздний час, мы возвращаемся по пустынной, затихшей улице. Он провожает меня и часто читает мне по дороге стихи Бодлера или Альфреда Мюссе на французском, которым прекрасно владеет. Я слушаю стихи, смотрю в его по-настоящему синие глаза, на его вьющиеся, откинутые назад волны каштановых волос, на нежный, по-девичьи очерченный рот и наслаждаюсь красотой, которая, встречаясь на пути человека, не может не радовать, не волновать его, красотой безотносительной, самой по себе, несущей в себе отблеск вечного и совершенного…

Или, например, мой друг — молодой профессор философии Т. С ним я иногда целые вечера просиживаю в просторных залах Румянцевской библиотеки, в мягком, зеленоватом, спокойном свете настольных ламп. Он выбирает мне книги одну замечательнее другой — например, «Речь о венце» Демосфена или «Аякс» (трагедия) Аристотеля, интереснейшие книги об эстетике и искусстве.

Высокий, худощавый, бледный, немного болезненный, он, с большими, светлыми, лихорадочно блестящими глазами, почему-то часто представляется мне в моей фантазии в черной, шуршащей шелковой сутане иезуита средних веков. В нем есть что-то от фанатика, есть и какой-то аскетизм. Может быть, он мне кажется таким потому, что умеет блестяще развить какую-нибудь теорию и тут же сам разбить ее в пух и прах. Он заставляет меня читать и учить «Психологию» Челпанова, спрашивает и проверяет, поняла ли я что-нибудь из прочитанного, и любит меня поддразнить. Его едкий, тонкий и блестящий ум часто играет, сверкает и пьянит, как самое лучшее, изысканное вино…

Какой противоположностью всем этим людям является мой другой друг, некто N.! Об этом человеке стоит рассказать. Это бывший офицер, который в 1917 году эмигрировал за границу. Там он быстро разочаровался во всех, кто выступил против Советской России, и смело перешагнул обратно границу, рискуя быть расстрелянным на месте. Очутившись на родине, он немедленно отдал себя в руки советского правосудия. Претерпев все то, что ему надлежало при таких обстоятельствах, он, хотя и носит красноармейскую шинель без всяких нашивок, слывет первым стрелком, на всех состязаниях берет первые призы, преподает стрельбу красноармейцам. Его портрет неоднократно появлялся в журнале «Советский спорт». Он ворвался в нашу квартиру (вернее, в наши две комнатки) бурный, шумный, с переборами гитары, с жестокими цыганскими старинными романсами, со сворой своих чудесных собак, так как он вдобавок

ко всему еще и ярый охотник. Мои друзья сейчас же окрестили его Ричард Львиное Сердце, но, конечно, его появление никому особенно не понравилось. Что касается меня, то если б не мой внутренний иммунитет, спасающий меня от любви, то я, наверное, погибла бы от коварного Ричарда. Он повел на меня самую головокружительную атаку, и, несмотря на то, что я сначала отшучивалась, а потом серьезно призналась ему, что высказанные им мне чувства могут только испортить наши отношения, он не переставал разыгрывать всяческие страсти, даже не скрывал своей ревности, пока наконец его не увидела у нас одна дама из «бывшего света».

— Боже мой! — всплеснула она руками, вызвав маму в коридор. — Он, видимо, ухаживает за вашей дочерью… А знаете ли вы, что он вернулся сюда, в Россию, только из-за своей невесты, которой в 1914 году дал слово, когда он, раненый георгиевский кавалер, лежал в госпитале, а она, как многие из девушек «света», в качестве сестры за ним ухаживала?

— Это непорядочно с его стороны, — возмутилась мама, — но, слава Богу, моей дочери он совершенно безразличен, а его бедной невесте можно только посочувствовать. Во всяком случае, я вас очень благодарю за это сообщение.

Разумеется, я попросила Ричарда привести к нам его невесту и с этого дня бывать у нас только с нею вместе. Он закатил очередную мелодраму, но ослушаться меня не посмел, и через несколько дней его невеста вместе с ним была у нас с первым визитом. Но ее первый визит оказался и последним, а он принялся опять за прежние изъяснения и уверения.

Вот какая коварная стрела Амура могла в меня попасть, если б я, не предполагая о существовании его невесты, взяла бы да и влюбилась в него!.. Хорошо, что я, с детства воспитанная моим братом в «военщине», получила не только навеки отвращение к военной выправке, к галантным комплиментам, к штампованным — с пришаркиванием сапога — манерам, но и вообще к типичному мужскому образу — с запахом табака, с любовью к пошлым анекдотам и мимолетным интрижкам…

Сны милого, золотого детства, как властны вы еще над моим существом, над моею памятью, вновь и вновь вызывающей и воскрешающей вас в моем воображении…

Моя детская, девчоночная любовь к синеглазому «викингу Зигфриду» — к незабвенному погибшему Алеку… Мне кажется, что она навсегда завладела моей душой…

Е. П. Мещерская — Е. Д. Юдиной
Милая Елизавета Дмитриевна!

Как жаль, что Вы нас с Китти не застали, а моя крестница Валя не догадалась Вас уговорить нас подождать! А ведь мы пришли через каких-нибудь полчаса! Наши ужасы продолжаются: нас опять выселяют! Алексеев подал в ревтрибунал, но он это дело не принял, наверное, потому, что мы были еще совсем недавно с Китти на политической проверке нашей благонадежности. Теперь Алексеев со всей компанией подал на нас в народный суд. Мы с дочерью пришли, и по ходу дела выяснилось, что нас выселяют «как нетрудовой элемент и как занимающихся проституцией». Последнее они доказывали тем, что к нам ходит «слишком много мужчин» и что «после 11 часов ночи они (то есть мы) много смеются». Суд им в иске отказал. Было доказано, что Китти служит и я до двух перенесенных тифов тоже работала. Кроме того, Китти делала профессору Понятскому немецкий перевод какой-то книги, и он за своей и за подписью самого Тимирязева представил в суд характеристику ее как переводчицы. Но Алексеев все-таки подает кассацию… Если б Вы только знали, как мы измучились! Я кое-что продала и мечтаю хоть на два дня вырваться из Москвы в Петровское, к Наталье Александровне. Пусть уж девочки здесь сами похозяйничают. Скоро ли вернется Володя Ваш с фронта? Интересно, какой он стал, я его никак не могу себе представить артистом, да еще певцом. Я сама забегу к Вам, и мы назначим наш с Вами день свидания.

Е. Мещерская.

Дневник Китти

Вот что случилось позавчера. Валюша, уже несколько дней возвращаясь поздно якобы «с вечерних курсов машинописи» (как она это объясняла маме), отпирала свою детскую деревянную, с нарисованными плавающими лебедями шкатулку и прятала в нее целые листы, или, как она выражалась, «простыни», денег (неразрезанные миллионы).

— Как только твоя мама поедет в Петровское к моей, так Гри-Гри, то есть Егор Егорыч, назначит наш с ним вечер очень пышной помолвки! Гостей бу-у-удет! И он через меня приглашает тебя. Надеюсь, на этот раз пойдешь?

— Ну хорошо, ты выйдешь за этого фабриканта-миллионера замуж, будешь богатой. А тебя не пугает, какой у тебя от этого чучела родится ребенок? — полушутя-полусерьезно спросила я.

— Это мы еще посмотрим, — ответила Валя.

Хорошенькая она! Стройная, тоненькая, с узкими руками и такой же ногой, похожая на изящную статуэтку. У нее длинные, небольшие, но блестящие черные глаза и ослепительная южная

улыбка юной румыночки. Как в ней сказалась кровь отца! И почему только у нее так все несчастно складывается? Почему ни один из бывающих у нас молодых людей не обращает на нее внимания?..

Наконец, после долгих сборов, мы проводили маму на Брянский вокзал, и она уехала на два-три дня к Наталье Александровне, а мы отправились на предстоящую Валину помолвку. По такому торжественному случаю мы оделись как можно тщательнее.

По дороге Валюшка мне рассказала, что Гри-Гри живет на своей даче под Москвой, а потому их помолвка состоится на квартире у одной его знакомой, «бывшей дамы».

— Я туда иногда к нему заходила, но никого из его приятелей не видела. Ты увидишь, какой это будет пир! — гордо твердила она. — Он ради меня никаких денег не жалеет!

Она привела меня на Малую Бронную, в один из прилегающих к ней переулков. Мы вошли в парадное двухэтажного покосившегося домика, по кривым, скрипящим, истертым ступенькам деревянной лесенки со смешными пузатыми старинными колонками поднялись на второй этаж и остановились перед дверью, на которой клеенка от старости порыжела и во многих местах торчала изорванными лоскутьями.

Валя привычным движением дважды дернула старомодный звонок, и он дважды разбито и дребезжа взвизгнул за дверью.

Почти тотчас же дама во всем черном открыла нам дверь. Она приветливо улыбалась нам своим старым, помятым, сильно нарумяненным лицом. Меня как-то неприятно поразил ее коричневатый парик с гребнями, на которых блестела осыпь фальшивых бриллиантов, и мне показалась страшно противной пуд- ра, лежавшая на черной материи ее платья, на плечах и груди. Не то эта дама так неряшливо пудрилась, не то пудра постепенно осыпалась с ее наштукатуренного лица.

— Наконец-то! Егор, Егор весь изождался! — проговорила дама и прибавила, взглянув на меня: — Вот хорошо, что подружку привели! Скорее раздевайтесь, мы за стол не садимся — вас ждем!

Мы быстро скинули шубки и вошли вслед за хозяйкой в довольно большую комнату, в одном углу которой стоял большой стол, уставленный живыми цветами, винами и закусками всех сортов. Мне бросилось в глаза, что сервировка стола была сгруппирована по два прибора, причем перед одним прибором стояла бутылка вина, а перед другим — бутылка водки. Мне это показалось весьма оригинальным, но, вспомнив, что хозяин пира чудаковатый Егор Егорыч, я решила, что стол накрыт по его

вкусу.

В другом углу комнаты на высокой тумбочке старинный граммофон с огромной трубой громко и противно хрипел затасканный вальс «Оборванные струны», мужчины и женщины ходили, толкались, разговаривали, а две-три пары даже танцевали под этот хрип — танцевали, безобразно подпрыгивая в вальсе, словно это была полька, и не знали, куда девать растопыренные пальцы.

Я успела мельком окинуть взглядом стены с дешевыми картинками и большим неправильным стеклом зеркала, рама которого была украшена гирляндой бумажных хризантем. Около зеркала на стене висела гитара с большим ярким красным бантом.

Егор Егорыч подошел к нам, мясистой рукой сжал мне руку, буркнул что-то невнятное и тут же, обняв Валю, увлек ее за собою, и я увидела, как они вдвоем торжественно заняли самое главное место в начале стола.

Я была очень удивлена тем, что меня ни с кем не познакомили, и стояла в нерешительности, в то время как вокруг меня, громко галдя и смеясь, гости занимали места за столом.

— Разрешите мне быть сегодня вашим кавалером? — подошел ко мне мужчина — довольно молодой, с пышной рыжей шевелюрой и такими же рыжими веснушками на переносице широкого, расплюснутого носа. Он вежливо подвинул мне стул, сам уселся рядом со мной.

Я была ему очень признательна за его любезность, и вскоре он уже накладывал мне на тарелку какую-то закуску и наливал в мой бокал вина.

В 20-е годы Москва еще голодала, и мы, как многие, жили с мамой от одной продажи наших вещей до другой. Я вспомнила наш серебряный самовар с откидным краном — головой льва, из которого мы пили часто простой кипяток с сахарином или сушеной свеклой вместо сахара, а лучшим нашим угощением был торт из пшена, заменявший обычные лепешки из картофельных очистков, обвалянных в сероватой полутемной муке.

Я сидела пораженная обилием яств на столе и вместе с чувством еще мучительнее поднимавшегося во мне голода ощущала какую-то необъяснимую мне самой брезгливость.

Рассеянно отвечая на вопросы моего почему-то очень любопытного соседа, я не спускала глаз с жениха и невесты и все ждала, когда же, наконец, фабрикант-миллионер встанет с первым бокалом в руке и скажет несколько торжественных слов по случаю сегодняшнего торжества. Но увы! Он пил далеко уже не

первый бокал, не обращая ни на кого внимания, да и вообще вокруг никто не поддерживал общего разговора, каждая пара пила, чокалась, хохотала, и в комнате стоял такой шум и гул, точно это была баня…

— Эка барышня к нам сегодня пришла! — услышала я обращенные ко мне слова. Это говорил сидевший визави в потертом пиджаке старик, лысоватый, напомнивший мне почему-то проводника вагона. Он смотрел на меня, продолжая нагло улыбаться мне прямо в лицо.

— Кто это такой? — спросила я возмущенно своего рыжего соседа, который отрекомендовался мне Пал Палычем и не назвал почему-то своей фамилии.

— А кто его знает… — равнодушно чавкая, ответил он, запихиваясь каким-то куском. — А что вам до него? Вы пейте! Пейте!.. — дружелюбно подмигнув, добавил он. Увидев на моем пальце кольцо, вдруг поймал мою руку и, внимательно вглядываясь в камень, спросил: — Сапфир?

Я кивнула утвердительно головой.

— Кто подарил? — опять весело подмигнув, спросил рыжий.

— Никто, — удивленно протянула я, — это кольцо моего отца… он носил…

Он оторвал свой взгляд от тарелки и как-то насмешливо на меня посмотрел.

— А то, что у вас в ушах, тоже ваш отец носил? — странно улыбаясь, спросил он. — Я ведь ювелир, меня на камнях не обманешь.

Не успела я отчитать его за такой наглый тон, как со всех сторон послышались крики возмущения тем, что я не пью вина. Несколько человек потянулись к моему бокалу, собираясь, видимо, насильно заставить меня его выпить. Я почувствовала, что от негодования вся кровь отхлынула от моего лица, и Пал Палыч, взглянув на меня, отстраняя тянувшиеся ко мне руки, вдруг диким голосом заорал на весь стол:

— Пошли все к черту! Она ко мне пришла!

После этих слов все стихли и оставили меня в покое.

— Что это все значит? Что за чудачества? — спросила я искренно, ничего не понимая.

— Да сами вы чудная… Наверное, здесь в первый раз? — уже улыбаясь, по-хорошему спросил он.

— Конечно. Я никого здесь не знаю, — ответила я, — это какие-то совершенно невоспитанные люди…

На эти мои слова сосед мой ухмыльнулся, но ничего не ответил. Я, сидя на далеком расстоянии от Вали, тщетно пыталась поймать ее взгляд. Мне хотелось показать ей, что здесь

мне все очень не нравится, но она ни разу не взглянула в мою сторону.

Наконец ужин был окончен, и многие не только мужчины, но и девушки были, к моему великому удивлению, совершенно пьяны.

Хозяйка, почему-то не ужинавшая с нами, вдруг появилась из какой-то двери и, подойдя к граммофону, начала опять его заводить и ставить пластинки с танцами.

Мой сосед тоже встал из-за стола и, стоя со мною рядом, чуть покачивался на ногах. Он вел себя достаточно прилично, если не считать того, что с нескрываемым, все возраставшим интересом меня разглядывал.

— Как вы сюда попали? — прямо глядя мне в глаза, вдруг спросил он и стал нетерпеливо забрасывать меня вопросами: — Как попали, спрашиваю я? Кто вас сюда привел? Ну, что же вы молчите?!

— Что вы на меня кричите? — возмутилась я. — Я пришла сюда на помолвку. Моя подруга выходит замуж за вон того фабриканта…

— За какого еще фабриканта?!

— За того. — И я указала глазами на Егора Егорыча. Видя, что Пал Палыч полон недоумения, я добавила: — За того, который сегодня угощает всех вас ужином.

— Кто угощает всех?.. Ничего не понимаю… — дико вытаращил рыжий детина на меня свои глаза. — Здесь никто никого не угощает, здесь каждый расплачивается сам за себя и за свою женщ… — Тут он как будто поперхнулся и продолжил: —… и за свою даму… Вот я, например, плачу за вас, потому что я пригласил вас к столу… Что это? Пить вы не пили, а чушь какую-то несете.

— Как вы смеете! — возмутилась я. — Как вы смеете говорить, что за меня что-то платите! Здесь помолвка, моя подруга выходит замуж. Понимаете?

— Замуж! Ха-ха-ха-ха! — Он дико захохотал. — Здесь каждый вечер все замуж выходят… Да не фабрикант это, и не был он никогда никаким фабрикантом… Это спекулянт, по прозванию Егор Сапог. Он сапожник, имеет подпольную сапожную артель, ну там кое-где ворует кожу… словом, ловчится…

— Не может быть, — уже с отчаянием говорила я, отстаивая версию, в которую сама начинала терять веру. — Вы ничего сами не знаете… Почему же они тогда сидят на таком почетном месте?

— Да Егор Сапог всегда там сидит, это его место, он здесь свой и больше других платит, вот ему и место лучшее, и почет, пока не нашлось здесь другого, с более толстым карманом. Да что

вы, глупенькая, что ли? Вы что, не понимаете, зачем сюда пришли?.. — Он отер пот, выступивший на лбу, носовым платком и вдруг серьезно, вполголоса, чтоб окружающие не услыхали, добавил: — Уходите-ка вы отсюда поскорее, вот что… слышите? Постарайтесь незаметно выйти в переднюю, оденьтесь, минут через пять я выйду провожу вас, только тише, тут, знаете, народ разный, и есть отчаянные, баловные…

Как среди тьмы блеск молнии вдруг освещает малейшую подробность окружающего, так все совершенно беспощадно, ясно и понятно стало вдруг моему сознанию. Но я не могла уйти одна. Несмотря на охвативший меня ужас, на негодование, которое как расплавленный металл струилось по всему моему существу, на подступавшую к горлу тошноту, я нырнула в толпу и через несколько мгновений очутилась около Вали.

К счастью, фабрикант-миллионер, или попросту Егор Сапог, в это время отошел к хозяйке, заводившей граммофон, и, перебирая пластинки, о чем-то оживленно с ней разговаривал. Я впилась в Валину руку.

— Если ты сию минуту не уйдешь вместе со мной, — прошипела я, — твоя и моя мать узнают обо всем! Сию минуту вставай — и идем!

Валя, сидя на диване, лениво жевала яблоко и пыталась мне улыбнуться. Она каким-то чудом не была пьяна, вообще она никогда не любила вина.

— Слышишь? — опять ей в ухо зашипела я. — Слышишь? Вставай сейчас же, или я убью тебя, несчастная фабрикантша!

Валя поняла, что я не шучу; она знала мой характер и никогда не могла меня ослушаться. Она взглянула на меня взглядом напроказившей кошки.

— Да ну… Да что ты… — начала было она, но вместе с тем послушно встала и выскользнула за мной в переднюю.

Когда мы накидывали на себя наши шубки, с трудом достав их из-под вороха многочисленных одежд, в переднюю к нам выскочил мой рыжий спаситель Пал Палыч. Вид у него был ужасный: галстук сбит набок, из носа сочилась кровь. — Бегите! — крикнул он диким голосом. — Бегите!

Я уже успела повернуть ключ в замке входных дверей, мы с Валей выскочили и побежали вниз по лестнице, но сзади раздавались яростные крики: «Лови их! Бейте гада, кляузника, рыжего Иуду! Бей его! Это он девчонок выпустил! А ну, ходу! Догоняй их!»

Счастье наше, что все участвовавшие в погоне были пьяны. Я слышала треск деревянных перил, кто-то упал на лестнице, другие на него свалились. Кто-то, выбежавший за нами на улицу,

грузно шлепнулся в черные лужи от талого снега, покрывавшие переулок маленькими темными озерами.

Вскоре мы сидели уже на Поварской, на уютном мамином диванчике друг перед другом. Я не могла снять с себя шубу. Меня трясла лихорадка, зубы стучали друг о друга, и дикая ярость, переходившая в отчаяние, заставляла меня говорить Вале ужасные вещи. Она слушала, не оправдываясь. Под конец я сказала:

— Итак, ты бывала в этом притоне, тебя знает его «хозяйка», ты уже в нем своя… Понимаешь ли ты, что это значит? Боже! Что с тобой? С ума ты, что ли, сошла? Какая необходимость толкает тебя на такие поступки? Подумай, ведь мы вместе с тобой выросли, с первого дня рождения нас окружали одни и те же люди, у нас было одно и то же воспитание, наконец, мы живем с тобой вместе под одной кровлей. Почему же со мной никогда не может произойти ничего подобного?

— Да… — серьезно и грустно перебила меня Валя, — ты права, мы живем с тобой в одном доме, в одной квартире, в одной комнате, но… ты всю жизнь ходишь по парадной лестнице этого дома, а я — по черной. — Она сказала это с большой тоской.

— Не знаю, почему так получается, — ответила я. — Ты живешь у нас как моя сестра, и мама моя не делает между нами различия. А главное, подумай об одном: ты ведь хорошенькая, Валюшка, это лотерейный билет, который ты выиграла у судьбы. Тебе дано все, чтобы быть счастливой… Наконец, я далека от того, чтобы читать тебе мораль. Я сама не вижу счастья девушки в том, чтобы обязательно выйти замуж и иметь детей, но жизнь так прекрасна, столько интересного есть в мире, столько красоты!.. Для меня порок там, где потеряна красота. А то, что я видела сегодня, было настолько безобразно, что, продлись это еще один час, я, наверное, умерла бы от разрыва сердца…

Да… эти несколько дней, проведенные в Москве без мамы, как-то внутренне опустошили и отравили меня… Не могу никак прийти в себя.

Е. П. Мещерская — Н. А. Манкаш

Дорогая Наталья Александровна!

Не успела я приехать в Москву — нагрянула новая, очередная неприятность. Помните ли Вы Линчевского, того, который въехал по ордеру в комнату для прислуги в нашей квартире? Он умер от сыпного тифа. Его жена собралась покинуть Москву и уезжать к себе на родину, на Украину. Укладываясь и упаковываясь, она выкидывала массу мусора на кухню. И вот наш враг Алексеев нашел на кухне, около помойного ведра, несколько заграничных

марок, вырезанных с конвертов. Линчевский коллекционировал марки, и его племянница, работающая во Внешторге, срезала ему часто марки с кусочком конверта. Около ведра, очевидно, валялись те марки, которые покойный не мог отделить от бумаги.

Так или иначе, но эти марки послужили для Алексеева доказательством того, что «князья ведут тайную переписку с заграницей». Он дал знать куда следует, и это разразилось неожиданным, жесточайшим ночным обыском. Потом все, слава Богу, понемногу разъяснилось, но, пока это опроверглось, мы с Китти очень переволновались…

Когда открыли мой шкаф черного дерева (зеркальный) и вынули все четыре коробки с нашими драгоценностями, я сейчас же представила бумагу из банка (которую получила при вскрытии моего сейфа) о том, что половина в золоте и бриллиантах (царских шифрах) уже у меня изъята. Пересмотрев все шкатулки и убедившись в том, что в них нет валюты, а только серьги, кольца, броши и браслеты, мне вернули все четыре шкатулки обратно. Представьте, как мы счастливы!..

Алексеев с женой и все его друзья до утра дежурили в передней, думая, что нас увезут, и были очень разочарованы, что все благополучно кончилось. Но Алексеев сказал, что все равно он нас выселит. Я просто в отчаянии. Приезжайте к нам под свой выходной!..

Е.М.

Дневник Китти

Да, жизнь вовсе не так хороша, и люди тоже… Архитектор Дубов, живущий в первом этаже, купил у мамы русский старинный народный лубок (рисунки из нашей коллекции). Дубов уже отдал за них деньги, но так как он спешил на службу, то не мог взять этот альбом и просил, чтобы я вечером занесла ему как-нибудь альбом сама. Что я и сделала, не откладывая, в этот же вечер, так как считала неудобным держать дома уже проданную вещь. И что же? Этот приличный, воспитанный на вид, вполне солидный и уважаемый всеми человек, едва я вошла к нему в комнату, начал без всякого повода целовать мои руки и потом стал пытаться обнять меня. Сначала я старалась его ударить, но, видя, что он много сильнее меня, я успела как-то вывернуться и, так как под рукой не было ничего тяжелого, ударила его по голове трубкой от настольного телефона, после чего мне удалось выскочить из комнаты. Сегодня я неожиданно встретила его на парадном. Я поспешила от него отвернуться, чтобы не поздороваться, а он как ни в чем не бывало галантно со мною раскланялся и звал меня в Большой театр на балет. Я его

ненавижу. Ему было бы самое настоящее место на Малой Бронной, там он пришелся бы ко двору. Мерзкое животное! Почему мама от него в таком восторге? Ведь я от нее ничего не скрыла. Мама сказала мне, что я во всем сама виновата: слишком много и громко смеюсь, и это очень дурной тон… Может быть, и так, но Дубов еще от меня по голове получит не один раз, я это чувствую.

В. Н. Юдин — матери (записка)

Мама! Заходил — ни тебя, ни папы. Пошел к себе. Кажется, устраиваюсь петь в бывшем «Славянском базаре», в «Оперетте». Надоело разъезжать по концертам. Приду завтра к вам обедать и принесу мой артистический паек. У Мещерских еще не был, зайду на днях.

Володя.

Дневник Китти

Какое произошло со мной несчастье, нет, просто скандал… и даже не скандал, а позор навек! Ведь мы с мамой поем в церкви Большого Вознесения у Никитских ворот. Там теперь поет вся «бывшая» Москва. Поем, конечно, бесплатно, ведь сейчас для Церкви очень трудные времена!.. Стоим мы, то есть весь хор, на небольшом отдельном возвышении. Вот уже неделя, как все только и говорят о том, что бывший князь Львов, обладающий чудным голосом, будет петь «Разбойника». И сам-то он молод, высок и красив… Ну, словом, все девушки и дамы в нашем хоре помешались на этом Львове и только о нем и говорили…

И вот за обедней в воскресенье, когда церковь была полна народу, во время чтения Апостола я, как самая младшая в хоре, которой вменено в обязанность подготавливать ноты трудных очередных песнопений и раздавать их по порядку идущей церковной службы, была занята разборкой нот. По моей рассеянности партия басов у меня завалилась за пюпитр, я тороплюсь, волнуюсь, чтение Апостола вот-вот кончится, а я еще только собираю листки, сзади певчих стоя на четвереньках, благо меня не видно. Вдруг слышу — все в хоре зашептали: «Львов! Львов! Смотрите, вот он идет, смотрите — Львов!»

Мне же было совершенно не до Львова, я была занята лихорадочным собиранием разлетавшихся, как нарочно, нотных листков. Кроме того, я была уверена, что весь этот шепот относится к тому, что этот Львов просто появился в храме. Могла ли я догадаться, что он вздумает среди службы пробираться к нам для переговоров с нашим регентом и что он взойдет сюда, на наше возвышение?!

И ужас! Случилось так, что именно в тот момент, когда Львов сделал шаг, всходя на возвышение, где стоял хор, я как раз собрала все нотные листки, порывисто выпрямилась во весь рост и изо всей силы угодила головой в самый живот несчастного, но знаменитого князя Львова. Бедняга испустил стон, побелел и тут же сел на подставленный ему стул. Это трагикомическое происшествие вызвало почти у всего хора еле сдерживаемый смех. Я же, поскольку ударилась головой в живот, боли не почувствовала, зато смеха своего была не в силах сдержать; вынув носовой платок, я, давясь от хохота, хрюкала в него до тех пор, пока наконец наш регент с мамой не выгнали меня вон из церкви. Больше я петь в церкви не буду, так как мне стыдно туда показаться, и вообще я осрамилась на всю жизнь…

Е. П. Мещерская — Н.А. Манкаш

Наталья Александровна, милая, у меня к Вам огромная просьба: к Вам в двухнедельный отпуск едет Ваша Валюшка, прошу Вас, постарайтесь у нее выведать, не произошло ли чего-нибудь между Китти и Дубовым и что именно. Я ума не приложу, теряюсь в догадках, ведь Дубов — большой архитектор, благородный и солидный человек, и притом милый…

Представьте, у нас было, как всегда, затруднительное положение с деньгами, я несла вещь на продажу, Вы ведь знаете, что мне приходится помогать моим двум сестрам. Я зашла по дороге вниз, к Дубову, чтобы перехватить у него на несколько дней в долг денег. Я была расстроена, измучена и вообще в подавленном состоянии. Он встретил меня так приветливо, как никогда, и несмотря на то, что он брился и половина его лица была в мыле, я уловила необычное радостное его выражение.

Он почему-то похлопал меня по плечу, положил передо мною на стол сумму вдвое больше той, которую я у него просила, и сказал: «Ваши мучения кончаются, все будет хорошо, с сегодняшнего дня вся ваша жизнь изменится — ничего больше продавать не надо!.. — И прибавил весело: — Дома ли Екатерина Александровна и могу ли я, с вашего разрешения, к ней зайти?»

Я, конечно, поспешила ему утвердительно ответить, а сама все-таки отправилась в город насчет продажи, несколько удивленная и, не скрою, приятно взволнованная его прозрачными намеками. «Неужели что-нибудь серьезное?» — подумала я. И что же? Возвращаюсь через час домой. Китти молчит. Я спрашиваю: «Кто-нибудь был?» «Никого», — отвечает она и глазом не моргнув.

Дня через два я встретила Дубова, это было на улице. Он холодно поклонился и прошел мимо. Что это все значит? Вы ведь

знаете, насколько Китти всегда была скрытна по отношению ко мне. Я несчастная мать! В кого пошла она, это насмешливое, холодное и бездушное существо?.. Вся моя надежда на Вас. Ради Бога, узнайте и немедля напишите мне. Всего лучшего.

Е. П. М.

Дневник Китти

Не писала много дней. Готовим в нашем детском саду праздник. Мне больше всех достается. Шью детям костюмы, ставлю музыкальную постановку. Выступаем в нашем Коммунистическом университете имени Свердлова.

Да, я забыла записать одно происшествие. Дубов отличился. В прошлое воскресенье, утром, едва мама ушла в город по делам, заявляется Дубов в ослепительном костюме. Я держала его в коридоре, за дверью, и не хотела пускать в комнату, зная его наглое поведение, тем более что мамы не было дома.

— Не ставьте меня в неловкое положение, пустите меня, — настаивал он. — Даю вам слово, что я пришел с разрешения вашей матери.

— Почему же тогда она сама с вами не пришла? — не верила я ему.

— Потому что у меня к вам личное дело.

Короче говоря, мне пришлось его впустить, хотя бы из-за того, что двери в коридор из всех комнат открылись и все жильцы насторожились. Войдя к нам. Дубов вел себя крайне странно. Куда девалась его развязность? Он пыжился, тужился, точно его что-то давило, и надувался, как индюк.

— Вам, наверное, новый костюм где-нибудь жмет? — еле сдерживаясь от смеха, спросила я его.

И тогда только стало ясно, что он собирается мне что-то сказать, и это «что-то» оказалось предложением, которое он, откашливаясь и несколько раз поправив свой галстук, пролопотал. Тут же, не давая мне еще ответить, он начал приводить замечательные доводы: что он скупил у нас много вещей, а мое замужество их все мне вернет; потом он сказал, что маму устроит у своих родных в Ленинграде на даче и она будет в чудных условиях, так и сказал: «Я ей создам условия!» Когда весь арсенал его скудных слов был исчерпан, он вдруг достал из кармана золотой браслет с часами и собрался мне надеть его на руку, так как никаких возражений он предполагать с моей стороны не мог: еще бы, честь-то какая!

Я спокойно взяла из его рук часы и опустила их в карман его необыкновенного костюма. После чего с необыкновенным чувством радости, я бы даже сказала — счастья, выгнала его

вон…

Не удалось ему поприжимать меня по темным углам и достичь своей цели, так он решил добиться своего «законом». Скудоумное животное!..

О, если бы только моя мама знала об этом! Боже мой, что было бы! Она была бы расстроена до слез, а затем, наверное, читала бы мне лекцию соответствующего содержания относительно «первого предложения»… Господи, какая гадость, и слово-то какое мерзкое! Что может быть пошлее этого слова? И говорится обязательно так: «Он сделал ей предложение…» Это слово для многих девушек — магическое, а у меня оно вызывает смех. От глагола «предложить» слово достаточно откровенное и, я бы даже сказала, циничное. Он, видите ли, пришел ей «предложить»… Между этим словом и романтикой лежит огромная пропасть…

Жизнь! Я стою на твоем пороге с изломанным детством, со скомканной юностью. Пожалуй, я даже не стою, а давно уже лечу в челне по волнам без всякого управления, и каждый порыв ветра может опрокинуть меня в пучину. Я слаба, у меня нет даже образования, нет профессии, и с моим слабым здоровьем я не имею даже элементарных человеческих сил, но… я живу, я дышу, я мечтаю, я даже имею другую, счастливую жизнь за роялем, за чистым листом бумаги, а главное — имею мою свободу и дешево ее не отдам!

Конечно, если подумать нормально, по-человечески, я должна была бы принести себя в жертву, потому что не только моя мать в нужде, но две мои тетки и один дядя всецело живут продажей наших вещей. Но браки, в которых жена питает чувство только к деньгам и положению мужа, а не к нему самому, кажутся мне преступными, и я, очевидно, вижу зло там, где добро, и наоборот. Надеюсь, что мама никогда не узнает о предложении Дубова. В Жилтоварищество дома № 22 по Поварской улице.

От ответственного съемщика кв. № 5

Алексеева Ф. С.

Заявление

Прошу немедленно сделать перерасчет квартплаты г. Мещерской, занимающей две смежные комнаты. До настоящего времени они оплачиваются со ставки ее дочери Е. Мещерской, в то время как последняя является еще несовершеннолетней и не имеет права владеть площадью, которая принадлежит ее матери, бывшей княгине Мещерской, 48-ми лет, еще вполне трудоспособной женщине, которая просто не желает работать.

Они с дочерью живут не по средствам, принимают гостей,

ежедневно пируют и поют в церкви. Они, как социально опасный элемент, разлагают нашу квартиру, и неужели справедливо ей занимать с дочерью такие комнаты, в то время как люди с пролетарским происхождением не имеют угла, например слушатели нашей Военной академии?!

Прошу вычислить по новой ставке все прожитое ими до сих пор время и взять им оплату по ставке нетрудового элемента. Прошу также поставить им строгие сроки и в случае неуплаты выселить их через Народный суд с наложением описи на их имущество.

Ответственный съемщик Алексеев

Жильцы (подписи)

Н. В. Львов — Е. П. Мещерской

Многоуважаемая Екатерина Прокофьевна!

Неоднократно заходил к Вам, но не застал ни разу Вас дома. Прошу Вашего разрешения представиться Вам вновь, так как два года тому назад наше знакомство состоялось, если Вы вспомните, на похоронах Вашего родственника Сергея Борисовича Мещерского, на которых я имел честь быть представленным Вам и Вашей юной дочери.

В настоящее время я служу в Советско-Американском обществе АРА и был бы рад быть Вам чем-либо полезным, а также засвидетельствовать Вам мое нижайшее почтение. Для этого прошу Вас позвонить мне по следующему телефону в любой день с 10-ти до 6-ти (это телефон моей службы).

Николай Владимирович Львов

Дневник Kummu

В воскресенье мы все сидели за вечерним чаем: мама, Виталий, профессор Т., Наташа (сероглазая племянница Катульской), Валя и я. Так как в прошлое воскресенье на Смоленском рынке я выменяла на мои куклы разные продукты, то у нас на столе торжественно красовался торт из размолотого через машинку пшена и из сухарей, на соде.

Мы не слыхали звонка, и дверь, наверное, открыл наш враг-шпион Алексеев. Словом, после легкого стука в нашу дверь на пороге появился странно одетый молодой человек. На нем была шуба из черного каракуля и из такого же меха гладкий берет на голове. Когда он распахнул шубу и развязывал белоснежное кашне, на концах которого тончайшими шелковыми лентами были вышиты золотые и лимонные хризантемы, на его выхоленных красивых пальцах блеснули, рассыпав искры, два бриллиантовых перстня.

«Боже мой, что это за чучело?» — подумала я, еле сдерживаясь от смеха.

Это оказался не кто иной, как Владимир Юдин. Он поцеловал маме руку и, с интересом глядя на нас, трех девушек, спросил:

— А которая же из них маленькая Китти? — И я увидела, с каким восторгом его глаза остановились на хорошеньком личике Наташи и так и не могли от него оторваться.

Неподдельно искреннее и плохо скрытое разочарование мелькнуло у него на лице, когда он узнал, что «маленькая Китти» — это я.

Под каракулевой шубой оказался безукоризненно элегантный черный костюм. В худощавом и стройном молодом человеке я узнала друга нашего детства, бледного и мечтательного гимназиста со скрипкой в руке, не любившего особенно товарищей и проводившего много часов за роялем, на котором он неплохо играл.

Теперь у него лицо стало много мужественнее, но прежняя грусть делала его похожим на печального Пьеро, хотя это сравнение сразу же исчезло в моем сознании, как только он сел с нами за стол. Смех, шутки, остроумные замечания так и посыпались с его языка. Все пришли в прежнее веселое расположение духа, и первое впечатление от его каракулевого манто и изощренного, какого-то вычурного берета тоже изгладилось. У него очень нежная кожа и прекрасные темно-карие, мягкие глаза.

Но едва смех смолкал и разговор принимал серьезный характер, как страшное самомнение, эгоцентризм, самовлюбленность начинали сквозить у него в каждом слове, даже в манере держаться, и это меня не только отталкивало, но почему-то и задевало. Никто из мужчин, окружавших меня, не держал себя так, в этом, как мне казалось, была даже доля какого-то нахальства. Я искала причину этого и наконец решила, что, будь он оперным певцом, он был бы иным; а оперетта, легкий жанр, имеет сама по себе какой-то специфический налет, хотя сама я была всегда поклонницей легкой музыки.

Владимир уже успел между разговоров дать нам понять, что он устал от девичьих букетов, вздохов, писем и изъяснений в любви.

— И вам ни одна девушка не нравилась и не нравится? — спросила я.

— Они все мне разонравились, не успевши понравиться, — ответил он, мешая ложечкой чай и привычно любуясь своими красивыми руками. Потом задумчиво добавил: — Вот женщины, эти бывают ничего, но в общем я вполне согласен с Шекспиром…

— «Ничтожество вам имя»? — подсказала я, не на шутку им задетая. — Простите меня, но эта фраза истерлась уже, как ходячая монета, и взгляд ваш тоже самый дешевый шаблон.

— Может быть. — Он усталым жестом провел по своим гладко зачесанным волосам, и мне показалось даже, что умело сдержал зевоту. — Виноваты ли мужчины в том, что все женщины на один манер, на один покрой и все одно и то же?..

— Подождите… Встретится вам необыкновенная женщина… влюбитесь… да еще как! С собой покончите, — сама не сознавая почему, вспылила я.

— Что вы! — Он даже оживился, встрепенулся и засмеялся. — Такой я не встречу никогда, потому что такой, которая бы свела меня с ума, просто нет.

После этого обоюдного вызова общий разговор за столом возобновился, и спустя полчаса мы перешли в кабинет. Я села за рояль, а Владимир, перебирая наши ноты, ставил мне их поочередно на пюпитр. Поет он чудесно, тембр и фразировка подкупают. Скажу откровенно: до него мне не нравился ни один тенор, я считала их слащавыми и была поклонницей баритона. Голос Владимира при самых нежных нюансах сохранял какую-то мужественность. Мы музицировали часа два, и под конец он спел мне какую-то неизвестную колыбельную: «Тихо реет ночь, все кругом молчит, серебрясь луной, сонный парк стоит…» Он просил меня на слух подобрать аккомпанемент, что я и сделала.

Кроме его голоса, меня все в нем раздражало. Иногда он в начале романса обрывал его на полуслове: «Нет, не стоит, это слишком запето…» Или перед началом другого романса закрывал ладонью глаза и говорил устало: «Подождите, дайте сосредоточиться…»

Он ломака и препротивный. На прощание мы обменялись любезностями.

— Вы знаете, Китти, мне моя мама столько о вас говорила… я представлял вас какой-то иной. Зато играете вы много лучше, чем я ожидал. Я забыл, что вы хорошо играли.

— Что делать, — ответила я, — я такая, какая есть. Что же касается вас, то мне кажется, что вы не столько артист, сколько играете его.

— Володя, приходите к нам петь, — перебила нас мама, — приносите ваши ноты, и я надеюсь, что занесете нам два билета на ваш очередной концерт или в «Оперетту».

Владимир ушел раньше всех, и Виталий с профессором долго еще его вышучивали. У меня же в первый раз в жизни шевельнулось в груди странное чувство: захотелось положить его к своим ногам. Он задел меня, может быть, необдуманно, но

очень больно. Я никогда еще никому не хотела нравиться, но его самоуверенность, его самовлюбленность, его «позу» я сорву! «Я представлял вас какой-то иной, зато играете вы много лучше…» Этих небрежно брошенных мне слов я не прощу никогда. Если нужно, я буду с ним целоваться, но у моих ног он будет.

А. Дубов — в Ленинград. Петру

Да, Петр, дружище, ты, к сожалению, прав. Влип я в эту «княжескую эпопею». Жениться я, собственно, вообще не собирался, не знаю сам, как эта девчонка мне голову свертела. А с тех пор как она мне так нагло отказала, поверь, я во что бы то ни стало решил на ней жениться. Думаю, что скоро она сама придет ко мне. Дело в том, что их выселение неминуемо, тем или иным путем их выселят. Слишком много есть на это данных. Несколько человек в нашем доме неуклонно и упорно ведут это дело, и надо удивляться только, как они еще до сих пор не выселены. К тому же они веселятся: целый день у них пение, игра на рояли, веселье. Едят хлебные сухари — на серебре и кашу — в хрустале, но «тона», понимаешь ли, не сдают, вот сволочи!.. Продают все подряд и ни о чем не жалеют. Скажу искренне, что представлял себе «бывших» иными. Мне казалось, что это в лучшем случае опустившиеся, приниженные и запуганные люди, а в худшем — желчные и озлобленные. А у этих, я скажу, можно даже кое-чему поучиться. Они веселы, на вид благожелательны, жизнерадостны, и самая главная их сила в том, что они не желают унывать.

К тому же им дьявольски везет! Как ни старается тот же Алексеев их унизить, обезличить, это ему никак не удается. Сейчас ранняя весна, мостовые и тротуары полны снежных куч, наросшего во много слоев льда, и по городу объявлен приказ об общей трудовой повинности. Конечно, первыми были назначены Мещерская с ее дочерью — и что же?.. Узнав об этом, два инженера из квартиры № 3 — Графтио и Красницкий (даже незнакомые лично с Мещерскими) — вышли на мостовую и работали за них. Представляешь? Алексеев, злорадно мечтавший увидеть обеих женщин с ломами в руках, не умеющих ими владеть, остался в дураках! Признаться, я тоже был разочарован: с них не мешало бы сбить немного спеси… и злюсь, и желаю им зла, а вместе с тем жалею их в душе и ни в каких займах не отказываю, когда сама мать приходит ко мне. Неужто и в самом деле это неизлечимое дело, а?.. Видишь, ни о чем больше, как о них, писать не могу.

Ну, кончаю. Настроение паршивое. Забываюсь и отдыхаю в работе.

Твой А. Дубов.

Дневник Китти

Теперь кроме Виталия, Ричарда Львиное Сердце, профессора Т., Владимира у нас бывает еще Львов. Он тактично не вспоминает о том, как я его изувечила в церкви Большого Вознесения. Зато он вспоминает со всеми подробностями о том, как хоронили мы два года назад Сергея Борисовича Мещерского, где с ним познакомились впервые. Львов действительно очень интересный и огромного роста, но чересчур благовоспитан и потому немного скучен для меня. Он зовет меня вернуться петь в церковь и предлагает устроить к себе на работу в АРА. Но первое я не сделаю потому, что не имею свободного времени, а второе — потому, что в моем саду «Галочка» я слишком привыкла к моим «галчатам».

Владимир бывает почти каждый день. Сначала я ему всецело уделила два вечера, мы играли и пели до полного бесчувствия. Зато теперь, придя вечером, он неизменно остается наедине с моей мамой, потому что каждый вечер я ухожу с кем-нибудь из моих друзей в театр, в оперетту, в оперу, в Дом печати или куда-нибудь еще. Он сердится и тщетно пытается это скрыть. Тем лучше! Еще не то будет!..

Н. А. Манкаш — Е. П. Мещерской

Дорогая княгиня! Не браните — называла Вас и буду называть так, хотя бы в письмах! Хоть в письмах вспомнить золотую старину…

Была у меня в отпуске Валя, но о Китти и Дубове ни словом не обмолвилась. Ничего не удалось мне выведать, как я ни старалась. Зато Китти не сходит у нее с языка. И вот о чем я узнала. У Китти, оказывается, много поклонников. Нельзя ли за кого-нибудь пристроить мою Валюшку? Ведь она хорошенькая… Если Китти откажет Дубову, может, Вы поговорите с ним о Вале? Ведь она Ваша крестница, подумайте об ее судьбе! Хотите или не хотите, а вроде как родственница, а уж Китти как любит!..

Вот об этом и пишу, не оставьте ее своей заботой!

Преданная навсегда Ваша Н. А. Манкаш.

Дневник Китти

Все-таки в воскресенье с самого утра Владимиру удалось поймать меня, застав дома. С ним пришел его младший брат Николай. Его я совсем не помню. Он грубоват и ничего общего с Владимиром не имеет ни в чем. У него голос хотя и не профессиональный, но приятный баритон. Они принесли клавиры «Периколы», «Корневильских колоколов» и «Сильвы». Мы опять

пели до бесчувствия: Валя, Владимир, Коля и я. Как весело было! Зато жильцы из себя выходили… В следующий раз Владимир принесет костюмы. Он говорит, у него их два сундука. Его тетка, уехавшая за границу, была опереточной актрисой и, уезжая, оставила ему все.

Между прочим, мы были на эстрадном концерте в Доме Союзов, где выступал Владимир. Ему действительно преподнесли две большие корзины цветов и бросали срезанные цветы прямо на сцену. Главное же представление состояло в кучке истеричек, выжидавших его выхода у заднего подъезда, и надо было видеть, как они завизжали и забесновались, когда он вышел.

Это, безусловно, вид особого душевного заболевания, и, может быть, оно вызывает в том, к кому направлено, тоже своего рода заболевание, выражающееся в самомнении и самовлюбленности?..

Е. П. Мещерская — Н. А. Манкаш

Милый друг Наталья Александровна!

Конечно, я позабочусь о Валиной судьбе, как заботилась и до сих пор, но сейчас мы с Китти еле живы от всего перенесенного за последние дни. Представьте себе: нам принесли новые повестки в суд. На нас наложили новую квартплату, объявив прошлую ошибочной!

Мы должны уплатить за все то время, которое прожили здесь по приезде из Рублева. Это выразилось в бешеной сумме. Нам грозила улица и выселение с опечатанием всего оставшегося имущества!

Весть о том, что нас опять выселяют и что на этот раз наше положение действительно безвыходно, облетела весь дом; и однажды утром, когда Китти ушла на службу, ко мне пришел Илья Ефремович (живущий над нами, у Е. К. Катульской). Он протянул мне пакет с деньгами, что меня потрясло до глубины души. Он просто сказал мне, что эти деньги у него «лишние», что он стар и одинок и что для него большое счастье сделать добро для нас. Вот какие чудесные люди нас окружают, и если у нас есть враги, то есть также и друзья…

Только я успокоилась, наивно предполагая, что, внеся требуемые деньги, прекращу весь процесс против нас, как в нашу дверь вдруг раздался стук. Гапсевич, Алексеев и несколько других представителей жилищного товарищества официально предложили мне пойти на мировую, поставив мне следующие условия. Я расписываюсь в моем добровольном выезде из квартиры и уезжаю с моими вещами куда глаза глядят, а они берут обратно из суда начатое против нас дело.

Китти была на службе, и я просила подождать до вечера, так как хочу посоветоваться с дочерью. Когда все ушли, Гапсевич вернулся.

— Я пришел затем, — обратился он ко мне, — чтобы предупредить вас. Вы ведь помните, что в свое время я первый отстоял вас с вашей дочерью. После чего я хотел укрепить ваше положение и устроить вашу дочь на работу моим секретарем. Поверьте, своего секретаря я уж как-нибудь сумел бы защитить. Вы этого не захотели, а теперь дело обстоит так, что я бессилен второй раз перед всеми и против всех вас отстаивать, это просто неэтично, и у меня нет к этому никакого предлога. Вам лучше, пока не поздно, смириться и уехать из Москвы в какую-нибудь провинцию. Сейчас вы уедете добровольно и с вещами, а дальше неизвестно еще, что может с вами случиться. Вы знаете, я защищал вас сколько мог, но… — И он красноречиво замолк.

Мне стало совершенно ясно, что наши комнаты уже кому-то предназначены.

На этот раз Гапсевич умывал руки. Конечно, если б в свое время Китти пошла к нему в секретари, этой катастрофы не случилось бы…

Когда Китти вернулась со службы и узнала обо всем, она сначала пришла в полное отчаяние. Потом объявила мне, что раз так, то наша участь решена и мы должны собираться и покинуть Москву.

Сердце мое было полно отчаяния. «Как, — думала я, — вся наша борьба за Москву, за свои две комнаты — все напрасно? Сесть в поезд и ехать… Куда? В полную неизвестность, в страшное ничто…»

Не успела я прийти в себя, как в передней раздалось два звонка. Значит, к нам. Я пошла открыть дверь. Пришел Владимир Юдин. Я, не скрывая, все ему рассказала.

— Хотите, — вдруг сказал Владимир, — я сниму с вас все эти неприятности? Я, как вернувшийся с фронта гражданской войны и хотя молодой, но певец, имеющий кое-какие заслуги, могу выхлопотать себе ордер на обе ваши комнаты и опередить того, кто на них посягает. Надеюсь, что вы не заподозрите меня в какой-либо заинтересованности, кроме искреннего желания помочь вам.

— Делайте что хотите, только спасите нас! — воскликнула я, еле сдерживая слезы. — Подумайте, нас с дочерью на свете только двое, и мы совершенно беззащитны! Около нас нет ни одной мужской твердой руки!

— Успокойтесь! — перебил он меня. — Я сделаю все, что смогу.

И вот наступили страшные дни. Мы с Китти не жили, а горели точно в лихорадке, хотя внешне, выходя, например, в переднюю или в кухню, мы были очень веселы, и в эти дни Китти очень много часов проводила за роялем.

Я сделала все так, как советовал мне сделать Владимир: подписала бумагу о добровольном моем выезде из наших комнат, и мне был дан двухнедельный срок на сборы и на выезд. Этим я усыпила бдительность Алексеева, и он совершенно успокоился, чувствуя себя победителем.

В это самое время Владимир неустанно хлопотал о деле. Но, к несчастью, лицо, которое должно было подписать этот ордер, было в командировке.

Владимир ежедневно сторожил его приезд. Он прекрасно знал, что среди людей, приходивших к кабинету этого работника, был друг Алексеева, который тоже ожидал подписи ордера на наши комнаты. Но в кабинете за письменным столом сидел всего-навсего заместитель, его полномочия были ограниченны, и подпись ордера задерживалась.

Получилось самое необыкновенное и неожиданное. Однажды утром Владимир принес ордер с долгожданной подписью на наши комнаты, а буквально через два-три часа раздался звонок и… явился какой-то военный с ордером на эти же комнаты, вместе с ним пришел и Алексеев. Как же это могло случиться?..

Дело в том, что Владимир Юдин, как певец, хлопотал через РАБИС и получил оттуда указание МУНИ на выдачу ордера, а друг Алексеева хлопотал по линии Военной академии и получил такое же указание из военной инстанции. Вернувшийся из командировки работник МУНИ нашел, наверное, на своем письменном столе кипу накопившихся и неразобранных дел. В общей суете и шуме первого дня работы он не обратил внимания на один и тот же адрес комнат, так как вряд ли мог предполагать, что два столь различных учреждения охотятся за одними и теми же жилыми помещениями, тем более что в 1921 году в Москве было еще очень много свободной площади.

Так как Юдин получил ордер на два-три часа раньше, то комнаты были закреплены за ним.

Мы, оставшиеся в двух смежных комнатах, стояли в недоумении и не могли побороть чувства какой-то неловкости. Спасая нас, Владимир должен теперь с нами жить, и мы неожиданно и невольно стали связанными самой тесной, интимной жизнью с ним, а главное, неизвестно даже, на какое время!..

Вы знаете, что мне удалось устроить Валю в нашей же квартире, в комнате одной уезжающей через год дамы, и что в

будущем эта комната станет ее собственной. Так вот, в случае нашего выселения она бы осталась жить в ней, так как оплачивает полжировки этой дамы, с которой я сумела найти общий язык. Мы отвели Владимиру диванчик в кабинете, на котором раньше спала Валя. Сами мы по-прежнему остались в первой проходной комнате, моей бывшей спальне.

Вы понимаете меня, дорогая, что как бы идеален ни был Владимир, но наличие этого молодого человека, так молниеносно оказавшегося не только хозяином наших комнат, но и членом нашей семьи, меня и Китти крайне стесняет. Вот что у нас произошло! Кроме того, они все свободные часы с Китти поют, и это утомляет меня, но ведь, если б нас выселили, было бы еще хуже.

Ну, будьте здоровы и благополучны!

Е. П. М.

Дневник Китти

Как странно, вся наша с мамой жизнь пошла вверх дном! Владимир нас спас и живет с нами. Вот какая судьба! И надо же было так обернуться всем обстоятельствам, что именно он явился нашим спасителем. Что заставило его, почти чужого нам человека, человека такого изнеженного, избалованного, привыкшего к удобствам, во имя нашего спасения столько хлопотать и теперь жить здесь, корчиться на маленьком диванчике, подставив кресла для его продолжения, чтобы куда-то положить ноги? Он бросил квартиру родителей и продолжает терпеливо играть эту комедию, чтобы охранять нас. Самое же главное, что делает он это без всякой заинтересованности, бескорыстно, не имея никаких затаенных чувств. Нет! Он, конечно, необыкновенный человек, и этого никто бы не сделал!

Когда нам грозила опасность, то лицо каждого из окружавших меня друзей обнажилось, и я увидела то, чего не ожидала увидеть.

Помню тот день, когда я поднялась наверх к Илье Ефремовичу для того, чтоб отдать ему его пакет с деньгами. Вспоминаю, как он просил меня взять их обратно. Он открыл свой диван, подняв его крышку, и весь деревянный ящик под ним оказался в связанных пачках денег. Потом он протянул руку в углубление стены, где помещался калорифер, и вытащил оттуда небольшой замшевый мешочек, чуть побольше кисета.

— Дайте мне вашу ладонь, — попросил он и, растянув шнуровку этого мешочка, тряхнул его.

На мою ладонь тотчас посыпались искрящиеся камни без оправы. Это были бриллианты чистой воды.

— Это далеко еще не все, что я имею, — сказал он, — и показываю я это вам для того, чтобы вы не боялись будущего, как бы мрачно оно вам ни казалось. Деньги могущественны. Я показываю это вам еще и для того, чтобы вы не делали опрометчивого шага и чтобы не вышли замуж, как говорят, очертя голову, лишь бы закрепиться в Москве. Я вам скажу, что уже давно сам мечтаю уехать отсюда. Я хотел бы где-нибудь на Кавказе начать и развернуть широчайшее дело разработки и лучшей переработки нашей отечественной шерсти. У меня большие планы, и ваш отъезд послужит мне сигналом и толчком для перестройки моей жизни. Вы будете иметь и кров, и прекрасную работу. Только не коверкайте необдуманно вашу жизнь, и я помогу вам во всем, но взамен прошу одного: вашей полной со мной откровенности и только одного чувства — вашей дружбы… Так говорил этот благородный и великодушный человек… Дубов встретил меня на лестнице и обратился ко мне иначе:

— Ну, недотрога, не хотели за меня замуж, а теперь придется мне вас у себя в комнате приютить, так и быть! Екатерину Прокофьевну отправим к моим под Ленинград. Ну как? Может, теперь согласитесь? А? Знаете, «не плюй в колодец…». Не дослушав, я быстро прошла мимо него по лестнице вниз. Мой милый Ричард Львиное Сердце коротко меня спросил:

— Скажите, кому именно надо набить морду?.. Прикажите! Красивый Виталий со слезами на глазах просил у меня на память прядь волос и трогательно покупал мне в дорогу изящную почтовую бумагу.

Львов временно воздерживался от посещений, объясняя это тем, что Алексеев может догадаться, что он князь.

— К сожалению, моя внешность говорит сама за себя, — оправдывался он, и голос его звучал самодовольно. Профессор Т. приходил каждый вечер и, видя, что я не расположена идти с ним на лекции в Политехнический музей, садился и высиживал в углу целыми часами, молча и недвижимо, напоминая мне какого-то глухонемого и наводя на меня невероятную тоску. Господи, какое счастье, что все это позади!..

Вернусь к Владимиру. Мне хорошо с ним. Почему? Сама не знаю. Что касается той глупой и недостойной игры, которую я вздумала, на него обидевшись, начать, то, во-первых, на нее меня не хватило, а во-вторых, в минуту опасности всякая неестественность рухнула, как внезапно взорванная стена, стоявшая между нами. Я искренна с ним, и он стал совсем иной: простой, мягкий и нежный.

— Почему у вас вечно вымазанные ногти? — с улыбкой

спросил он меня, и теперь каждую субботу он делает мне и себе маникюр, к великому возмущению моей мамы, считающей это безнравственным и слишком фамильярным.

После его выступлений наши комнаты наполняются живыми цветами в красивых корзинах с изогнутыми ручками.

Моей душе с ним тепло. Каждое утро он сам приготавливает мне перед службой завтрак, во всем я чувствую его заботу.

Прокурорскому надзору
города Москвы.
Главному прокурору
от Алексеева Ф. С.,
ответственного съемщика кв. № 5 в
доме № 22 по улице Поварской
Заявление

Бывшая княгиня Мещерская Е. П. со своей дочерью были, как все враги Советской власти, смыты волной революции и выкинуты из своей квартиры № 5 по Поварской улице.

Всякими ухищрениями вернувшаяся в Москву, эта княгиня въехала сначала на плиту в свою бывшую квартиру, а затем, найдя сочувствующий элемент в лице старухи Грязновой Т. П., проживающей после отъезда своего сына в двух смежных комнатах, впустившей и прописавшей мать с дочерью на своей площади, эта княгиня очутилась снова в своей бывшей квартире, среди своих вещей.

Позднее оказалось, что Грязнова, перейдя жить в чуланчик около кухни, хлопочет о выезде к сыну в Польшу.

Несмотря на то что мною своевременно были представлены заграничные марки с конвертов писем как прямая улика того, что эти бывшие князья переписываются с заграницей, они сумели каким-то образом оправдаться.

В настоящее время, когда доказана их задолженность Советской власти в виде неправильно взимавшейся с них квартплаты и когда Мещерская лично дала подписку о своем с дочерью выезде, к ним въехал какой-то певец (их знакомый), возможно, что с фальшивым ордером, и они продолжают жить своей нетрудовой жизнью, а именно: целыми днями играют и поют. Не давая покою и возмущая рабочий класс. Прошу срочно принять меры и проверить этих авантюристов.

Алексеев Ф. С.

Дневник Китти

Он мне сказал, что любит меня и что только ради меня все это сделал. Он сказал, что останется с нами столько времени,

сколько потребуется для нашей защиты. Но он сказал также, что хотел бы остаться около меня на всю жизнь… Как запутались обстоятельства! Как все переплелось!.. С одной стороны, теперь я вижу меньше великодушия и благородства в его поступке, если он был продиктован личным чувством; с другой — я покорена его умом, волей и энергией.

Он мне больше чем нравится, но я не люблю его. В то же время я не могу противиться сладкому дурману его красивого ко мне чувства, его нежных слов, его голосу и той мягкой и вкрадчивой властности, которая, к великому моему ужасу, с каждым днем все больше и больше покоряет меня. Я надеюсь на то, что все-таки не подчинюсь. Многое в нем отчуждает меня от него. Его отношение к людям: цинизм и презрение. Его ненависть к моей матери и то, как бывает порой зол и беспощаден его язык ко всем, кроме меня… Меня резнуло, когда он вдруг назвал меня «Котик», — это ласка для закулисной примадонны, но через некоторое время в его устах это же имя приобрело для меня особо нежное и теплое значение. Что со мной? Неужели я влюбляюсь? Какая чушь!..

А. Дубов — в Ленинград, Петру

Ну, Петр, напишу тебе нечто, чего ты никак не ожидаешь от князей, которыми ты так интересуешься. Представь, Мещерских не удалось выселить!

По заявлению Алексеева пришли от Прокурорского надзора гор. Москвы, и, захватив нашего председателя ж-ва Гапсевича и нескольких членов ж-ва, в числе которых был и твой покорный слуга, пришедшие отправились в кв. № 5 и постучались к Мещерским. Их обеих не оказалось дома, и нам открыл дверь эстрадный певец тенор Юдин, может, ты его слышал?.. Он показал свой ордер на комнаты, который оказался не поддельным, как это утверждал Алексеев. На вопрос, почему не уезжает из его комнат бывшая княгиня с дочерью, он спокойно ответил, что они ему ничуть не мешают (?!). Он даже добавил, что сам просил их остаться, так как теперь это его семья.

— Уж не женились ли вы? — невольно вырвалось у меня.

— Вы угадали, — нагло глядя мне прямо в глаза, ответил он, — на одной из них.

Меня, поверишь, точно кипятком крутым ошпарили!.. Вот каким путем они вывернулись. Ну, если теперь придет ко мне эта «сиятельная» старуха, я найду ей подходящее слово. Не сердись, не могу писать: взбешен!

Твой А. Дубов.

Е. П. Мещерская — Н. А. Манкаш

Родная моя! Господу Богу было угодно сделать так, чтобы одно испытание, кончаясь, вело за собой еще худшее и страшное. Мы не потеряли крова и не остались под открытым небом, где-нибудь вдали от Москвы, но зато мы попали в самое двусмысленное положение, которое только возможно себе представить!

Официальной комиссии, пришедшей проверить вселение и ордер Владимира, последний громко, при всех заявил, что он потому нас не выселяет, что «близок» с одной из нас!!!

Бедный мой муж, бедный покойный князь! Он, наверное, переворачивается в своем гробу от того неприличного фарса, в который попали его несчастная жена и юная, чистая дочь!

Мне этот наглец объяснил, что его слова были вызваны необходимостью, нужно было убедить пришедших, что мы его семья. С дерзкой улыбкой он добавил: «Я ведь не назвал ни одной из вас, не желая объявить ничего определенного, и я не мог предположить, что для вас может быть оскорбительно, если подумают, что у вас муж такой молодой человек, как я!»

А Китти? Она стояла тут же, смеясь до слез, и это ее ничуть не задело. «Мама, не все ли равно, что будут думать и что будут говорить? Мы победили, и это самое главное!» — вот что она мне сказала, это ее мнение.

Но самое ужасное было мне выслушать то, что сказал Дубов. Он через домработницу вызвал меня к себе и имел со мной крупное объяснение: «Если вы таким способом решили спасать себя, то уверяю вас, что для этого Екатерина Александровна могла найти более удачный случай и сделать более блестящий выбор. Я делал ей предложение. Почему она мне отказала? Этот актеришка из захудалых дворянчиков показался ей лучше? Вы воспитали в вашей дочери очень плохой вкус…» и т. д.

Подобные речи я должна была выслушивать!.. Вы понимаете, я не хочу с этим человеком ссориться: он делает нам тысячу одолжений, он даже через свою домработницу вызывает нас к телефону, и я в деловых случаях даю номер его телефона как свой собственный.

Он не торгаш и покупает наши вещи по той цене, которую я ему назначаю. Вообще лучшей партии в наше время для Китти я себе и не представляла. Поэтому я была вне себя, когда услышала от него, что он делал Китти предложение, о чем эта своенравная девчонка мне даже ни разу не обмолвилась!

Он сказал, что согласен сейчас, сию минуту жениться на ней, даже венчаться (но, конечно, тайно, где-нибудь в провинции), да разве она согласится? Пусть мое материнское сердце разрывается

от боли, но она будет продолжать его презирать неизвестно за что и еле отвечать на его поклоны.

Я же прекрасно вижу: ей нравится Владимир. Я не могу за ними уследить, они так часто остаются одни… Вот в какую историю мы попали! К тому же мы живем с ним почти в одной комнате и к тому же еще — о ужас! — мы ведь в его руках!..

Пишите Ваше мнение и совет. Я в полном отчаянии.

Е. Л. М.

Владимир — Китти (записка)

Котик, я положу письмо на столе, как напишу, даже если будет темно у нас в комнате, — но сумеешь ли ты его взять?

Володя.

Дневник Китти

Что мне делать? Как разобраться в самой себе, в своей душе, в своих чувствах?.. Мне кажется, что если Владимир мне нравится, то это еще не значит, что я его собственность. Его ревность меня отталкивает. Когда за мной зашел Илья Ефремович, чтобы идти в театр, я не могла нигде найти свои ботинки, которые, как потом оказалось, спрятал Владимир, и, чтобы не опоздать, я пошла в открытых туфлях.

Когда пришел Николай Владимирович Львов, с которым я сговорилась, что буду ему аккомпанировать, Владимир явился в одних подтяжках и начал мыть обе наши люстры, причем он бегал как угорелый с тазами, полными мыльной воды, с губками и щетками и когда наконец, подставив лестницу, чтобы мыть люстру, залез наверх, то капал нам сверху на головы, чем, конечно, сорвал всякое настроение и пение. Вечером я с ним объяснялась. Я сказала ему, что если он будет так недостойно себя вести, то я его возненавижу. Он просил прощения и сказал, что не может без меня жить, а я сказала ему, что он мне милее всех, но что, кроме самой лучшей дружбы, между нами ничего не может быть. Мы помирились и поцеловались. В это время вошла мама.

Скандал был грандиозный!.. Я рада только одному: что не услышу больше о том, что я «ее юная, невинная и чистая дочь»; эти слова мне безумно надоели, так же как и пафос, с которым они произносились.

Хотя мы живем вместе, но Владимир ухитряется мне передавать в день несколько записок, а иногда и писем. Ночью, проходя к себе мимо моей постели, он всегда умудряется бросить мне на одеяло какую-нибудь записку. Мама это заметила, и теперь я должна спать вместе с ней на ее кровати. Как она

наивна! Разве может что-либо меня остановить и разве это способ воздействия — лишить меня покоя и собственной кровати? Но я подчиняюсь: не могу ее огорчить.

Но что это со мной? Ведь он действительно нравится мне больше всех.

Владимир — Китти (записка)

Милый мой, горячо любимый Котик, мне очень тяжело сознавать, что тебя разными подлыми словами связывают и заставляют делать глупости. Зачем ты спишь там? Я знаю, что это новые выдумки Е. П., но мне очень тяжело сознавать, что ты там корчишься где-то вместо своей постельки.

Подумай, можно ли верить в справедливость, в хорошее, в Бога, наконец, если такая эгоистичная старая кукла гадит тебе жизнь! Ведь она одной ногой в могиле, и неужели ты, у которой вся жизнь впереди, должна так мучиться из-за нее?!

Ну скажи правду, положа руку на сердце, открыто и прямо, хотя не мне, а самой себе: разве так все было бы, если бы не твоя ненормальная мать? Сама изгадила свою жизнь и теперь вдолбила себе, что ее дочь не может делать того-то и того-то. Я знаю, ты так мало любишь меня, что мои слова бессильны, но знай, голубка моя, что каждая ночь, проведенная тобою там, для меня бесконечная, полная страданий ночь.

Володя.

Н. В. Львов — Е. П. Мещерской

Многоуважаемая Екатерина Прокофьевна! Простите, что пишу, но с тех пор, как у Вас поселился известный Вам молодой человек, я не имею надежды увидеть наедине Вас или Екатерину Александровну.

Вы, наверное, догадывались, что мои столь частые посещения Вашего дома были вызваны чувствами, которые я питал к Екатерине Александровне. Само собою разумеется, что я говорю о чувстве, которое не могло бы ни в коей мере быть оскорбительным для Екатерины Александровны.

Но появившийся в Вашем доме певец спутал все мои карты, и теперь мне остается только молчать, тем более что, к моему великому прискорбию, она к нему чересчур благосклонна.

Вам же, как матери, я считаю своей обязанностью сказать то, что я узнал о Юдине из самых достоверных источников. Сей молодой человек имел родную тетку (сестру его матери), известную примадонну «Оперетты», носившую псевдоним Глория. Будучи подростком, гимназистом, он, как говорят, был у нее на содержании. Уехав в начале революции с бывшим миллионером-

нефтяником за границу, она оставила здесь все своему племяннику-любовнику. Вот откуда у этого альфонса драгоценности и бриллиантовые перстни, а также и остальная роскошь.

Его близость к Вашей дочери марает ее, а его жизнь под одной кровлей с Вами отпугнет от Вашего дома всех порядочных людей. Простите, что пишу столь некрасивые вещи, но считаю своим долгом предупредить Вас.

Остаюсь Ваш покорный слуга

Н. В. Львов.

Дневник Китти

Мама получила письмо от Львова и, прочтя его, совершенно сошла с ума!.. Мне она сказала, что Владимир преступник и что на это у нее есть живые свидетели, она прибавила также, что ни одного слова больше сказать мне не может. Потому что это что-то такое, о чем неприлично говорить… Не могу себе представить, что мог написать Николай Владимирович о Владимире и на какое преступление последний способен. Наконец, на Знаменке живет Николай Николаевич, его отец, и Елизавета Дмитриевна, его мать, у которых можно расспросить, не клевета ли это.

Был вечер, и Владимир был на концерте. К нам пришли Ричард, Виталий и профессор Т. Разговор как-то не клеился. Виталий играл сонату Моцарта, очень неплохо. Он теперь занимается с Игумновым и говорит, что музыка очень помогает его стихам.

За вечерним чаем зашел разговор о том, что всех людей можно разделить по типам, характеру, жизни и поступкам, отнеся их к тому или иному писателю. Мы стали тут же за столом разбирать общих знакомых. Общим мнением нашли, что Гоголь-Яновские написаны Салтыковым-Щедриным, Мотовиловы — Гоголем, Греч — Гончаровым.

— А кто написал наших Мещерских? — улыбаясь, спросил Ричард.

— Ну конечно, Достоевский, — почти грустно ответил Виталий.

Молодой профессор Т. покачал головой, и на его лице промелькнуло то выражение, которое у меня всегда ассоциировалось с шуршащей сутаной иезуита.

— Не-е-ет, — тихо протянул он, — Мещерские с некоторых пор живут такими красочными приключениями, что над их домом теперь невидимо реет герб самого маркиза Рокамболя!..

От этих слов вся кровь бросилась мне в голову, но я сдержала себя, приняв эту язвительную шутку смехом, однако мама

бросилась на него в штыки, и ему пришлось тут же перед нами извиняться.

Итак, благодаря Владимиру нас упрекают в авантюризме. Да, нервная и напряженная атмосфера царит в нашем доме с минуты вселения к нам Владимира. Но все эти господа забывают, что он фактически нас спас, и, не приди он нам на помощь, не сидеть бы им с нами сегодня и не пить чай.

Под влиянием полученного письма мама была очень взвинченна, нервна и ссылалась на головную боль, чем заставила всех трех молодых людей быстро после чая откланяться.

Когда Владимир вернулся с концерта, так мама прямо ему заявила, что просит его оставить наш дом, причем не желает объяснять причины.

— Вы думаете, что вы уже вне опасности? — спокойно, но насмешливо спросил Владимир. — Едва я уеду, прежние обвинения против вас вступят в силу и вы будете немедленно выселены!

— Ах, значит, в таком страхе вы соображаете нас держать? — воскликнула мама. — У вас не хватит благородства уехать по моей просьбе, оставив официально комнаты за собой и дав нам покой. Очевидно, мне придется говорить и взывать к помощи и порядочности ваших родителей… если у вас ее не хватает.

— Ах так! — вскипел Владимир. — Вы думаете, мои предки (он называл так родителей) для меня авторитет? Я не уеду уже потому, что вы, когда я был вам нужен, использовали меня, а теперь выгоняете, выкидываете ни с того ни с сего…

— Вы бессовестный человек! — И тут мама вдруг горько расплакалась. — Нас с дочерью все могут обидеть, это нетрудно!

— Что вы, что вы! — воскликнул растроганный Владимир. — Не плачьте, я готов все сделать, ведь я люблю Котика и сейчас докажу вам это. Он быстро вышел в кабинет и появился через минуту с бумагой в руке. Это был ордер, выданный ему на наши комнаты.

— Вот, — сказал он, — смотрите! — И, сложив ордер, он разорвал его на наших глазах на несколько частей и бросил в пепельницу. — Теперь я больше не услышу от вас, что вы у меня в руках, но уехать от вас я не могу. Я люблю Котика, не гоните меня. Ордер разорван, возобновить его нельзя, пусть об этом никто не узнает, но пусть это вас успокоит. Давайте помиримся… — И, подойдя, он поцеловал мамину руку.

После этого мама действительно пришла в самое прекрасное расположение духа. Мы мирно разошлись и легли спать.

Е. П. Мещерская — Н. В. Львову

Николай Владимирович! Не удивляйтесь загородной марке. Я заставила Китти тайно от Юдина взять двухнедельный отпуск и увезла ее в наше бывшее Петровское, к моей приятельнице.

Получив Ваше письмо, я чуть с ума не сошла от ужаса! Я решила погибнуть, но выгнать Юдина вон! И что же? Вдруг во время нашего с ним объяснения он взял и разорвал ордер! Таким образом, он развязал мне руки для дальнейших действий. Как только он утром пошел на репетицию, я собрала все его вещи в чемоданы и выставила их в коридор. В чемодан я вложила ему соответствующую записку. Вы уже догадываетесь, какого содержания? Затем, очистив наши комнаты от всех его пожитков, я заперла их и уехала с Китти в Петровское. Что ему остается делать, как не подчиниться? Права свои он сам разорвал, и не враг же он сам себе, чтобы рассказывать кому-либо всю создавшуюся ситуацию?

Мне кажется, что мы навсегда от него отделались, ему ничего более не остается, как выехать от нас.

Что касается Китти, то, поверьте, в семнадцать лет можно ли считать серьезной склонность девичьего сердца?

Не знаю, под какие опасности подставляю я себя и дочь этим поступком, но я готова терпеть что угодно, только бы не видеть его в своем доме.

Я охотно верю в то, что Вы о нем написали, и не собираюсь проверять правильность этой версии, так как не собираюсь выдавать за него мою дочь.

Будем рады через две недели, возвратясь в Москву, видеть Вас снова у нас на Поварской.

Е. П. Мещерская. Дневник Китти

Как стыдно мне за мамин поступок! Воспользоваться минутой великодушия Владимира и вслед за этим выкинуть его за шиворот, как собачонку. Если б она знала, что последует дальше, то никогда бы этого не сделала…

Итак, мама, заставив меня тайно от Владимира взять двухнедельный отпуск, увезла меня в Петровское самым воровским образом.

Мы выехали из Москвы утром.

За окном вагона мелькали, сходились, связывались клубками и, словно черные змеи, расползались в разные стороны дороги, наверное, вязкие и топкие, полные весенней воды, а когда мы вышли на знакомой станции, то весенняя вода заполняла все: рвы, канавы, колеи дороги. Все вокруг шумело, журчало, билось, а навстречу нам неслось несмолкаемое щебетание птиц.

В одном из наших бывших флигелей, теперь занятом

больницей (больничным персоналом), мы нашли мать Вали — Наталью Александровну. Целый день прошел в том, что мама рассказывала о Владимире, возмущаясь и захлебываясь, а Наталья Александровна охала, ахала и всплескивала руками. Мама ни на минуту не хотела меня отпустить от себя, заставляя сидеть с ними в комнатах. Она боялась, что Владимир может догадаться, где мы, и приехать сюда. Поэтому каждый раз, когда слышался гудок приходившего из Москвы поезда, они обе многозначительно переглядывались и долгое время, подойдя к окну, смотрели на дорогу, лица их были тревожными. Смотрела на дорогу и я, но только не скрою, что смотрела с совершенно иным чувством. Инстинктивно я ждала Владимира, я знала, что он будет здесь и найдет меня.

Но вот пришел последний поезд из Москвы. Сумерки спустились. Мама с Натальей Александровной успокоились, повеселели и стали хлопотать об ужине.

Наутро я проснулась от солнечных лучей, заливавших ярким светом всю комнату. Мама еще спала, а постель Натальи Александровны была пуста, она ушла в больницу на службу. Быстро одевшись, я вышла на крыльцо. В ярком свете весеннего утра я жадно оглядывала родные места моего детства. Дворец, у которого были выбиты стекла, стоял грустно, заколоченный простыми досками. Статуй не было, их увезли, и по аллеям торчали одни серые пьедесталы. Аллеи парка были теперь дорогами, глубоко изрытыми колеями проезжавших по ним телег…

Из синей, глубокой чаши неба лились ослепительные лучи солнца. Играя на последнем снегу, на талом льду, купаясь в весенних лужах и в весенней воде, разлитой вокруг, они ударяли в глаза таким ярким снопом света, что глаза, защищаясь, щурились сами по себе. Я смотрела на родные места, чувствовала милую деревенскую весну, но почему-то радости в душе не ощущала. Наоборот, в душе росла какая-то пустота оттого, что рядом, возле себя, я не видела бледного, с тонкими чертами лица Владимира, не слышала его голоса и нежных слов любви. Поэтому, когда вдали на дороге показалась его знакомая фигура, я испугалась, думая, что это галлюцинация. Откуда он мог явиться? Из Москвы еще не приходило ни одного поезда. И как он мог решиться увидеть маму после того, что она ему написала?..

Первой моей мыслью было подготовить к его появлению маму; потом я стала решать, как мне надо с ним себя вести, и решила, что надо быть холодно-вежливой, чтобы скрыть мою радость. Но Владимир был уже рядом, и, очутившись в его крепких объятиях, я не произнесла ни слова, мне только

показалось, что лучи весеннего солнца стали вдруг совсем близкими, и от их тепла голова моя сладко закружилась…

В это время сзади нас распахнулась дверь, и мама с ведром в руке встала на пороге. Ведро выпало из ее рук и, звонко стукнувшись о деревянный порог, покатилось. Владимир, ничуть не растерявшись, галантно ей поклонился, поднял ведро и пошел за водой к колодцу.

— Иди сию минуту в комнаты! — вне себя от гнева, крикнула мне мама.

Позднее оказалось, что Владимир сразу догадался, куда мы уехали, но задержался в Москве из-за вечернего концерта. На рассвете, не дожидаясь поездов по Брянской дороге, он поехал по Александровской, сошел в Голицыне, причем, желая сократить путь, свернул с шоссе и, не зная дороги, рискуя жизнью, пустился в переправу по только что тронувшейся реке. Ранним утром он уже был в Петровском.

Когда из больницы пришла Наталья Александровна, мама, очевидно дождавшись свидетеля, начала отчитывать Владимира. В конце своей речи она добавила:

— Итак, я высказала все! Если моя дочь вас любит, я требую, чтобы она сейчас, сию минуту выходила бы за вас замуж! И немедленно покинула мой дом. Если она не хочет быть вашей женой, я требую, чтобы вы вообще избавили нас от вашего присутствия. Что вам угодно? Какие у вас права? Вы же сами разорвали ордер и еще воображаете, что я буду вас терпеть в своих комнатах?

— Да, я разорвал его, — тихо и спокойно ответил Владимир, — но тут же раскаялся в этом поступке. Я буду жить с вами до тех самых пор, пока не уговорю вашу дочь выйти за меня замуж… — И тут Владимир, к великому ужасу моей матери, вынул из кармана и развернул перед нею ордер. Его четыре разорванные части были аккуратно подобраны, и он, наклеенный на толстую бумагу, выглядел целым и невредимым. — Вот, — добавил он, — если вы будете идти против меня, я скажу, что ордер разорвали вы, и мне поверят скорее, нежели вам!

— Подлец! — воскликнула мама и, обратясь ко мне, закричала: — Ты, Китти, можешь, если желаешь, выходить за этого «джентльмена», и чтобы ни тебя, ни его я больше не видела! Немедленно убирайтесь оба вон! С глаз моих долой!

— Да, это некрасивый поступок, — возмутилась я, — и честным его нельзя назвать… Но вспомните, мама, вы плакали перед Владимиром, и ради ваших слез он разорвал ордер… А вы сами были так уж безукоризненны?.. Потом, почему вы гоните меня из дома? За то, что мне нравится Владимир? Да, нравится!

Но замуж я не собираюсь. Для замужества надо иметь желание вить свое гнездо, растить детей, ухаживать за мужем, стряпать пироги… Все это не прельщает меня! Я осталась с тринадцати лет без образования, сейчас мне нет еще восемнадцати, и я ничего из себя не представляю, я недоучка, без профессии, даже без простого ремесла.

Владимир, все время взволнованно меня слушавший, при моих последних словах подошел и протянул мне ордер.

— На, возьми! — мягко сказал он. К негодованию моей матери, я не протянула руки за всемогущей бумагой, и сцена эта была мне глубоко противна.

— Это не искупит твоего поступка, — ответила я, — и вторичной минутой твоей слабости я не воспользуюсь. Храни эту жалкую бумажонку, если ты видишь в ней твою власть надо мной!

После этого мы еще долго объяснялись, потом обедали, пили чай, затем, помирившись, играли в джокера и наконец вечером втроем поехали в Москву.

Все трое были довольны. Мама была счастлива — оттого ли, что я не собираюсь замуж за Владимира, или же убедившись в том, что он не опасен.

Владимир же был счастлив оттого, что вновь попадал с нами под один кров. Я радовалась тому, что наступило хотя и временное, но перемирие, однако душа моя была полна смятения, и казалось, что-то тонкое, нежное, неуловимое улетело навсегда. Как легко «выпихивает» мама меня замуж, и как смеет Владимир утверждать, что я стану его женой?! Разве не прав профессор? Конечно, мы с мамой — это «Приключения маркиза Рокамболя», и вот их достойное начало!..

Был вечер, когда мы подъезжали к Москве. Мама с Владимиром были заняты профессиональными разговорами о методе пения, и мама, забыв обо всем, рассказывала ему о маэстро Италии. Я смотрела в окно на приближавшиеся огоньки Москвы и думала: сколько музеев, галерей, учебных заведений, театров в этом городе, сколько в нем можно найти наслаждений!.. Разве не в познании нового, не во внутреннем росте, не в вечной борьбе мысли, не в творчестве заключено то, что мы зовем счастьем?..

Вчера только в Петровском помирились, а сегодня уже Владимир закатил совершенно неприличную сцену ревности…

Зная, что вечером Владимир поет в концерте в Доме Союзов, к нам пришли гости, мои друзья: Илья Ефремович, Виталий, Ричард, профессор Т. и Львов: последний намеревался нам петь. До отъезда Владимира оставалось каких-нибудь полчаса, и я, чтобы занять время и предотвратить всякие выпады с его стороны,

пошла и села за рояль. Я уже чувствовала, что Владимир при виде пришедших бледнел от злости и готов был ринуться на любого.

Львов, перебирая мою папку с романсами, выбрал «Последний аккорд» Прозоровского (мой любимый) и попросил дать ему домой эти ноты, чтобы транспонировать их на его голос — баритон. Не успела я ему ответить, как в комнату ворвался, очевидно, все слышавший Владимир и вырвал у Львова ноты прямо из рук.

— Пойте в церкви свои тропари! — закричал он. — И не коверкайте любимый романс Котика, я его вам не отдам! — И, схватив мои ноты, собрался с ними уезжать на концерт.

Пока мама уладила поднявшийся скандал, боясь сцены еще похуже, я успела черкнуть на клочке Владимиру записку, называя его нахалом, невоспитанным человеком и прося, чтоб он немедленно вернул ноты и извинился перед Львовым. Но он и глазом не моргнул, не извинился и, схватив мои ноты, уехал с ними, оставив мне следующую записку:

«Милый, родной Котик! Убеждать тебя в том, что у меня нет ни комедии, ни дерзости, излишне. Ты сама чувствуешь, как мне тяжело получить вместо обещанной пятницы лицезрение тебя при всех в Петровском — радость небольшая. Взвинченный целым вечером ожидания, я опять сошел с ума и наговорил, сам знаю, гадостей, но ты же знаешь, что „Последний аккорд“ — единственная вещь, которую я чувствую без тебя, чувствую твой голос так, как ты бы пела. Прочти внимательно свою записку, и ты увидишь, что и ты написала ее тоже со злости. Ведь смысл получился совсем другой, чем ты хотела.

Прости, если можешь. Безумно тяжело уезжать с ссорой. Это какой-то рок — за минуту вырванного счастья так жестоко расплачиваться. Крепко целую лапочки.

Володя».

Я перечитала эту записку. Он мил мне своим безумием, невольно он будит в груди ответное чувство. О да, это был миг счастья там, в Петровском, на крыльце, в раннее весеннее утро…

Е. П. Мещерская — Н. А. Манкаш

Дорогая моя, наши ужасы продолжаются. Вся моя надежда только на то, что он безумно любит Китти, и это отчасти его обезвреживает. Надеюсь я также и на то, что его властный подход к Китти отталкивает ее. Его вечные сцены ревности мучают и надоели ей ужасно!.. Это ей и мешает его полюбить, несмотря на то что нравится он ей так, как никто.

А я смотрю на нее и думаю: моя ли это дочь?.. Чем старше она становится, тем более чужой я ее чувствую. Портреты

Мещерских, висящие на наших стенах, притягивают к нам души дорогих усопших, и, конечно, эти тени возмущены тем, что творится и говорится в наших комнатах, а главное, поведением той, которая носит их имя!.. Она совершенно аморальна: выходить замуж не желает, а целоваться с этим проходимцем желает! Это какое-то чудовище! Замужество ей отвратительно, и она утверждает, что оно ничего общего с любовью не имеет… К тому же она перестала не только петь, но и ходить в церковь.

С некоторых пор у нас не жизнь, а сумасшедший дом; если раньше наших соседей беспокоили приходящие к нам гости, то теперь никому нет покоя от поклонниц Владимира. Звонок в передней устает звонить, на парадной лестнице его дожидаются девчонки. Розовые, голубые, сиреневые конверты с любовными излияниями отягощают сумку нашей почтальонши.

Дешевый теноришка! Актеришка опереточный! Я просто с ума сойду, если он станет моим зятем! Наглый фигляр, он дарит моей дочери цветы, которые ему подносят на концертах! Боже мой! До чего я дожила!..

Как счастливы Вы иметь такую дочь, как Валюшка! Трудолюбивая, тихая, хозяйственная, экономная, терпеливая. Она ведет себя прекрасно: ходит на службу, в комнате у нее чисто, прибрано и аккуратно.

Я же, несчастная мать, должна слышать, как этот фигляр зовет ее нежно то Котиком, то Котом Грязнушкиным, то Неряшкиным. И я, мать, с этим соглашаюсь. Потому что она вечно все разбрасывает, ничего не кладет на свое место и если начнет куда-нибудь собираться, то в поисках одной части туалета все остальные швыряются ею в воздух и покрывают столы, стулья, пол и все вокруг. Владимир от этого в восторге, он терпеливо все за ней убирает, между концертами занимается вместо нее хозяйством, уборкой, натирает паркет, моет наш фарфор, делает ей маникюр и — о ужас! — иногда даже стирает вместо нее, а я бесконечно страдаю… Пишите!

Е. Л. М.

Дневник Китти

Вчера было открытие летнего сезона в Эрмитаже, и Театр оперетты, переехавший туда, открывал его «Сильвой». Как хорош был Владимир в роли Эдвина! В каком ударе он был и как пел!.. Можно ли не отдавать дань оперетте? Каким должен быть актер, чтобы так петь, подобно певцу, читать роль как артист драмы и вдобавок еще танцевать!

Среди поклонниц Владимира есть очаровательная девушка из хорошей семьи, с изумительными большими голубыми глазами —

Вера Головина. Она дарит ему букеты, вкладывая в них трогательные записки. Вообще среди его обожательниц есть прехорошенькие.

Владимир подарил мне свое любимое кольцо. Я ни за что не хотела его принять, но он так уговаривал меня и просил, даже если он вдруг от чего-нибудь умрет или я выйду замуж, чтобы я никогда не снимала его кольца с руки. Оно настолько ценное, что я просила его взять взамен этого кольца какое-нибудь другое, мое, но он сказал, что тогда это не будет подарком. Кольцо это сделано в Венеции знаменитым ювелиром итальянцем Чекатто. Оно массивное, из червонного золота: две змеи переплелись головами, у одной головы — бриллиант, у другой — рубин.

Мне нравится, что Владимир любит, ценит и знает толк в драгоценных камнях. Он часто их меняет, закалывает кашне драгоценной булавкой, а иногда и брошкой. У его тетки были прелестные вещи, и я не нахожу ничего предосудительного в том, что она их ему подарила.

Он часто моет их щеточкой в мыльной воде с нашатырем, делая то же самое и с моими безделушками. Он много мне рассказывал об истории камней и их свойствах.

Н. В. Львов — Е. Л. Мещерской

Многоуважаемая Екатерина Прокофьевна!

Простите, что передаю это письмо через наших певчих, но писать Вам на дом не рискую, так как Юдин, наверное, контролирует Вашу корреспонденцию. Увидеть мне Вас в церкви никак не удается, хотя именно теперь Вы бы нашли в ней себе поддержку и утешение.

Прошу Вас только об одном: не будьте слишком строги к Вашей дочери. Суровость Ваша может толкнуть ее на самый безрассудный поступок. Вместе с тем она часто бывает не настолько виновна, как это кажется со стороны, и я в этом убедился. Позавчера днем, зная, что у Китти (как вы разрешили мне ее называть) еще длится отпуск, я шел к вам, чтобы пригласить ее на субботу в театр. Поднимаясь по лестнице, я обогнал Виталия Власьевича, шедшего тоже к Вам по какому-то делу. Мы поздоровались и, остановившись у Ваших дверей, позвонили. Юдин сам открыл нам дверь и очень любезно попросил нас пройти в комнаты.

— Екатерины Прокофьевны нет дома, — сказал он, — а Котик только что прошла в ванную. Вы посидите подождите, я ей сейчас скажу.

Мы прошли в комнату. Юдин остался в коридоре и сказал через дверь ванной:

— Котик, к тебе пришли Николай Владимирович и Виталий Власьевич… Что?.. Хорошо… Передам! Просила подождать немножко, — сказал он, вернувшись к нам, и, схватив какую-то мыльницу, опять прошмыгнул мимо нас в коридор. — Котик, отопри, это я, ты забыла твое любимое мыло для головы, — услышали мы его голос, после чего, хлопнув, открылась и вновь закрылась дверь ванной.

Через несколько минут он вернулся к нам как ни в чем не бывало и стал с увлечением рассказывать о новой постановке «Сильвы». Шутил, смеялся, потом вдруг, неожиданно что-то вспомнив, легко ударил себя по лбу.

— Простите, заговорился, совсем забыл! — воскликнул он. — Ведь ей нужна моя помощь! — И, сорвавшись с места, выскочил в коридор. — Котик, прости, ведь тебе, наверное, нужно потереть спину, отопри, пожалуйста!

После этих слов дверь ванной открылась, впустив Юдина, и захлопнулась.

Если б вы знали, Екатерина Прокофьевна, что я переживал! Не верил ушам своим. Не стесняясь Виталия Власьевича, я вышел в коридор. Он был пуст. Через дверь ванной слышно было, как лилась вода. Все во мне кипело!.. Какими бы ни были их отношения, но, даже скрепив их браком, можно ли было так цинично кричать на всю квартиру, так фамильярно вести себя?!

— Я должен уйти, — побелевшими губами сказал мне Виталий Власьевич, — я не в силах присутствовать при этом фарсе! Бедняжка Екатерина Александровна! Какой пошляк этот мерзавец!..

— Нет, — перебил я его, — вы не уйдете, ведь она просила нас подождать, останьтесь… — И, говоря так, я думал о том, что, если она выйдет и я взгляну ей в глаза, я излечусь навеки от моего к ней чувства…

В это время из ванной вернулся Юдин, вид у него был несколько сконфуженный.

— Простите — несколько смущенно начал он, — она не рассчитала и просит у вас извинения… Ей придется приводить себя в порядок… Вы ведь знаете, женщины кокетливы… Она очень просит вас зайти в следующий раз…

Я почувствовал прилив дикой злобы к этому человеку, который мог в такое короткое время переродить Вашу воспитанную дочь.

В это время в парадной двери щелкнул ключ, и Китти, в пальто и шляпе, с большим букетом черемухи, вошла в квартиру.

Она так приветливо, так беззаботно нам улыбалась, так искренно была нам рада, что все слова замерли у нас на губах.

— Что это с вами, друзья? Что случилось? — заметив что-то неладное в выражении наших лиц, допрашивала она нас.

— Мы устали вас ждать и не надеялись вас увидеть, — улыбаясь, отговорился Виталий Власьевич.

А этот негодяй?.. Ему больше ничего не оставалось, как громко смеяться, стараясь обратить все в шутку, и на все вопросы Китти отвечать:

— Я их ловко обманул! Я их здорово обманул!.. А как — это тебе знать не полагается…

Впоследствии я понял, что как бы низок ни был этот подлец, но он находится под Вашим кровом, который для меня священен…

Прошу, не рассказывайте об этом Китти. Что делать, я вижу, Вы в руках редкого негодяя, и надо подумать о том, как от него избавиться.

С полным к Вам уважением Н. В. Львов.

Прокурору города Москвы
от Алексеева Ф. С., ответственного
съемщика кв. № 5 в доме 22
по Поварской улице
Заявление

20 апреля с. г. около 12 часов ночи в комнатах, занимаемых певцом Юдиным, где он проживает совместно с бывшей княгиней Мещерской и ее дочерью, послышались дикие женские крики.

Я и гр. Кантор (студент рабфака), жилец нашей квартиры, вбежав к Юдину, увидели во второй комнате безумно кричавших обеих женщин, а на полу, на ковре, лежавшего в луже крови, без сознания Юдина. Около него на ковре тут же валялась бритва старого образца. Мы с Кантором подняли его и, перенеся, положили на кровать. У него оказалась перерезана вена на левой руке. Вызванная «скорая помощь» увезла его к Склифосовскому.

Просим расследовать это дело и обратить на него особое внимание, так как хотя Мещерская и объяснила этот факт ревностью Юдина к ее дочери, но мы предполагаем здесь политическое преступление, а именно травлю советского артиста.

Алексеев, Кантор, Мажов, Поляков.

Е. П. Мещерская — Н. А. Манкаш
Милая Наталья Александровна!

Умоляю Вас, сделайте как-нибудь, замените себя кем-нибудь на работе хотя бы дня на два, приезжайте!!! Я лежу больная, у

меня нервное потрясение, и нас с Китти уже два раза вызывали к прокурору Москвы. Опишу подробно этот кошмар. Вы же знаете любезность Дубова, знаете мои вечные продажи, в большинстве случаев через комиссионеров, и Вам известно, как мне необходим телефон. Чаще всего я прошу вызвать Китти, так как мне не легко бегать по лестницам взад и вперед. Дубов настолько любезен, что мы пользуемся его телефоном как своим собственным.

Последние дни Владимир особенно нервничал и, как оказалось, позднее имел какое-то крупное объяснение с Дубовым прямо на улице, о котором мы с Китти узнали только после катастрофы.

В этот ужасный вечер, когда все произошло, Владимир приехал с концерта рано, так как пел в первом отделении, и застал меня, Валю и Китти за ужином. У нас, как на грех, в этот вечер (редкое исключение) никого из гостей не было.

Приехав домой, Владимир переоделся в домашний костюм и сел с нами ужинать. Я сразу заметила, что у них с Китти произошла какая-то размолвка, так как за столом не было обычных шуток и смеха.

Вдруг звонок. Является домработница от Дубова — кто-то вызывает нас к телефону. Ясно, человек ждет у трубки… Китти срывается с места, хватает пальто и убегает.

В тот же миг вскакивает из-за стола и Владимир, начинает кричать, что поздний час, что это неприлично, зачем я ее пустила, почему не пошла сама.

Он бросился в мой кабинет, к своим чемоданам, а затем хотел пробежать мимо меня; я же, увидя блеснувшую в его руках большую бритву, опередила его, загородив ему дверь в коридор своим телом. Не помню, что я ему кричала, но высказала все, что накопилось у меня на сердце. Вы меня знаете, среди Подборских не было трусов, и в этот миг мое презрение к нему было сильнее, нежели страх перед его перекошенным, безумным лицом и перед блеском острой бритвы!..

Он сник и как-то беспомощно опустился на стул.

— Я буду следить по часам, — упавшим голосом сказал он. — Телефонный разговор не может длиться более десяти минут. Еще десять минут я ей даю на дорогу и на официальный диалог с Дубовым. Если она задержится дольше, значит, неправда, что он ей неприятен, значит, она лжет…

Я ему ничего не ответила, но стала одеваться: я хотела сама пойти за ней вниз. Он сразу это понял и не пустил меня. Тогда я сделала знак глазами Вале, но он перехватил мой взгляд и не позволил ей встать с места.

Итак, мы в полном молчании сидели и следили за часовой

стрелкой. Видя, что срок истекает, а Китти не идет, я первая заговорила, стараясь спокойно убедить Владимира в его безумии, но он, заметив, что время истекло, вскочил и стал кричать, говоря мне такие оскорбления, которые я не могу ни повторить, ни написать…

— Вон! Вон! — закричала я.

Он ушел к себе, а я изо всей силы захлопнула за ним обе половинки дверей: боялась, если Китти вернется, он снова войдет к нам и начнет скандал сначала.

Вернувшись, Китти объяснила, что задержалась из-за того, что к Дубову приехал из Ленинграда какой-то товарищ и она немного заболталась. Китти сразу обратила внимание на закрытые двери. Тогда я ей рассказала обо всем, что произошло без нее, она очень взволновалась и рвалась к нему в комнату. Я и Валя ее всячески удерживали. Я взывала к ее самолюбию, к гордости, даже схватила ее за руку, стараясь удержать, но она вырвала свою руку и громко позвала его. Он не откликнулся. Она распахнула дверь, вбежала к нему — и сейчас же я услышала ее безумный крик.

На крик все жильцы стали сбегаться в наши комнаты. И первым вбежал наш враг — Алексеев. Он вместе со студентом Кантором пришел нам на помощь, и они, подняв Владимира с ковра, положили его на кровать Китти.

Я немедленно послала Валюшку на Знаменку к его родителям, чтобы они пришли. Кто-то уже вызвал «скорую помощь».

Елизавета Дмитриевна прибежала через четверть часа. Вот что значит сердце матери. Отец не пришел — он не хотел его видеть.

Я велела Китти уйти, так как она до неприличия плакала, и она удалилась в комнату Валюшки. Все жильцы квартиры столпились в нашей комнате. Еще бы! Какая сенсация, какое зрелище для наших врагов! Лучшего Владимир не мог сделать для них и худшего для нас…

Когда приехала «скорая помощь», врач впрыснул камфару. Владимир открыл глаза. Мать плакала, гладя и целуя его волосы. Слабым голосом, но внятно он позвал Китти.

— Кто это? — спросил врач.

— Моя дочь, — ответила я.

— Где же она? Пусть подойдет, — сказал он. Китти, не стесняясь, при всех бросилась к нему так стремительно, что даже врач хотя и ласково, но предостерегающе похлопал ее по плечу. — Мы должны его увезти, ему немедленно надо пополнить потерянную кровь, — сказал он, и Владимира увезли.

После его отъезда Китти бросилась на свою кровать и неутешно плакала. Я не стала ни о чем с ней говорить.

На другой день Китти справлялась по телефону у Елизаветы Дмитриевны о здоровье Владимира. Мать ответила, что он вне опасности, и очень просила Китти навестить его. Я считала неудобным протестовать, хотя, говоря между нами, находила это лишним.

Узнав от Китти, что через два дня его выписывают, я немедленно вызвала телефонным звонком его мать. Я говорила с ней как мать с матерью. Во имя благополучия наших детей!.. Я доказала ей, что после этой катастрофы, исход которой мог быть смертельным, наши дети не могут находиться под одним кровом. Я сказала, что не могу ручаться теперь за жизнь ее сына. Помимо того, что он скомпрометировал мою дочь, что мы — басня всей Москвы, я просила ее только об одном: избавить нас от присутствия ее сына. Она поняла меня и подчинилась. Она отдала мне злосчастный ордер и забрала на Знаменку его вещи.

Плоды этой истории мы пожинаем: вызовы прокурора продолжаются. Приезжайте, ради Бога, скорее, мы с Китти совершенно больны!..

Е. П. М.

Н. В. Львов — Е. П. Мещерской

Многоуважаемая Екатерина Прокофьевна!

Не знаю, насколько удобны сейчас визиты к Вам. Как состояние Китти? Простите меня, но верьте, только преданность и уважение диктуют это письмо.

Известно ли Вам, что Китти бывает на Знаменке, где, очевидно и совершенно очевидно, мать Юдина устраивает им свидания, и, может быть, даже наедине… С Вашего ли разрешения бывает она там?! Я встречал ее неоднократно пересекающей Арбатскую площадь и, незаметно, издали следуя за ней, убеждался, что она шла на Знаменку и входила в парадное дома прямо против Реввоенсовета. Там, кажется, и живут Юдины?..

Надеюсь, Вы не выдадите меня Вашей дочери, так как я соблюдаю Ваши интересы.

Остаюсь в полном уважении и почтении к Вам

Львов.

Юдин — Китти

Милый, очаровательный Котик, мое капризное, изменчивое счастье, мой ветерок, благодарю тебя за все — за твою ласку и нежность, за твои поцелуи и огоньки глаз. Я безумно люблю тебя,

моя радость, мне хочется каждую минуту, каждый миг глядеть тебе в глаза, погружаться губами в шелковое золото твоих волос и пить аромат твоих щек и шейки…

Не сердись на твоего безумца Вовку, ведь «я разучился думать не о Вас»… И неужели тебе так уж плохо от моих ласк и нежности? Мне хотелось бы убаюкать тебя поцелуями, истомить страстью и зачаровать словами любви твои рассудочные доводы.

Пусть растает лед сердца, пусть опять придет ранняя весна с шумом и гомоном проснувшейся жизни и наших надежд… Ах, если бы и впрямь в жизни не было ничего невозможного! О, как бы я любил тебя, как заботился бы о моем Мурлышкине, как бы лелеял тебя!

Душа с душой, каждым нервом тела жили бы мы, и ничто и никто в мире не нарушил бы нашего счастья.

Я знаю, нет ничего сильней и бессильнее слова, и знаю, что сейчас мои слова бессильны для тебя, но если можешь поверить хотя бы в чудо, то поверь, что ни одного упрека, ни одного запрета, ни одного сомнения ты не услышала бы от меня… Ведь быть около тебя и быть твоим рабом и кем хочешь — для меня единственная цель в жизни. Только не гони меня, приласкай и успокой уставшее сердце… Радость переполняет сейчас мое сердце, и нет сил сдержать ее, нет сил не поделиться с тобою, как я счастлив был видеть тебя сегодня, какое огромное наслаждение принесла ты мне. Я весь во власти твоих чар, моя славная Киттенька, мой взбалмошный, пушистый зверек.

Ведь ты мой? Да!.. О, если бы ты могла почувствовать, что ты вся моя жизнь, вся моя надежда на будущее, быть может, более светлое, счастливое и чистое, чем теперь… Моя любовь, моя жизнь, мой причудливо-нарядный сон. Я люблю тебя, о мое солнышко, не сердись на меня, вспомни, что я люблю одну тебя. Всегда твой, с мыслью об одной тебе

Володя.

Е. П. Мещерская — Н. В. Львову

Милый Николай Владимирович!

Отвечаю Вам тотчас. Да, Китти была с моего разрешения в больнице один раз. Второй раз она была со мною вместе у Юдиных на Знаменке, все остальные посещения ее для меня новость, это ее обман передо мной.

Поймите, что это был с моей стороны христианский долг — навестить этого безумца! Я от души его простила, я ласково уговаривала его, я благословила его образком, который надела ему на шею. Я говорила ему, что никакое счастье не может быть прочно, если рассудок не служит ему фундаментом. Я говорила,

что он должен в корне изменить свой властный нрав, и на это перевоплощение благословила его.

Я держу крепкий контакт за его спиной с его матерью. Я доказала ей, что их надо разъединить во что бы то ни стало. Китти сейчас не хочет выходить замуж — значит, катастрофа неминуема. Или он что-либо сделает с ней, или она без брака сойдет с пути… Кроме того, в тот вечер я рисковала тем, что могла быть зарезана бритвой…

Мы решили, что первое время он очень редко, но будет у нас бывать, а потом мы сведем их отношения на нет.

Поверьте, она под его гипнозом. Вы ведь знаете ее волю, и, если б она захотела, я не в силах была бы ее удержать от замужества с ним. Подождите, все уляжется и проглянет солнышко. Я надеюсь на Господа!

Е. П. Мещерская.

Юдин — Китти

Моя милая Китти, моя светлоокая принцесса, мой златокудрый капризуля Кот! Я люблю тебя, я очарован тобой, вся жизнь моя — это ты. Ты пришла и закрыла от меня все, и всех, и весь мир, и желания, и надежды, и страсти, кроме одной: любить тебя…

Вот я пишу тебе и полон тобой, я почти реально чувствую тебя, и странно вспомнить, что завтра будет опять серенький день с его дрязгами.

Знаешь, теперь бессонной ночью я часто думаю так. Ночь. Поздно. Все спят. Я прихожу на Поварскую. Темно у вас в окнах. Я подхожу к парадному, открываю дверь и поднимаюсь по первым ступенькам лестницы. Кот, ты чувствуешь, что я здесь, близко? Вот сверкнуло, озаренное каким-то светом с улицы, зеркало в подъемной машине. Вот знакомый изгиб перил. Площадка, другая, на третьей — лавочка, где мы так часто отдыхали и целовались. Еще площадка — и дверь.

Я быстро прохожу знакомый коридор. Вот ящики Грязновой; того гляди, свалятся и своим шумом разбудят вас. Ее шкаф, промежуток, знаешь, где стояли мои санки? Буфет, сундук и вечно раскрытый шкаф в стене за ним, и сбоку, у самой двери, на вешалке какой-либо милый халатик, старенькое платьице и, может быть, кушачок от него на полу… Действительно, «память сердца, ты сильней рассудка памяти печальной»… Заветная дверь. Я останавливаюсь, жду и чутко прислушиваюсь. Тихо у вас. Чувствуешь ли ты меня? С этой мыслью я без звука отворяю дверь.

Ширмочка, а за ней — Котик милый, любимый,

разметавшийся во сне… Тишина… Похрапывая, спокойно спит мой враг. Зорко всматриваюсь в знакомое ненавистное лицо; оно безмолвно, оно — спит…

Я делаю шаг до угла ширмы, два шага по коврику, и вот я около тебя. Ты сладко спишь, моя радость, моя возлюбленная, моя девочка, мой ручеек… Ты лежишь личиком к стене. Я опускаюсь на колени и становлюсь на небрежно брошенный башмачок, милый Кот Неряшкин…

А сердцу сладко и больно, и я целую нежно, чуть касаясь, твои лапочки, пальчики, потом локоть и пьянею, в голову ударяет знакомая искра, и я начинаю безумно целовать тебя, шею, губы, глазки, мой славный Кот! Как дивно пахнет, лучший в мире запах… Кот, я люблю тебя… Но ты не просыпаешься, а только поворачиваешь во сне лицо ко мне и, сладко ежась, потягиваешься и инстинктивно подставляешь личико под поцелуи. Потом твоя лапка соскальзывает с бедра, я беру ее, обвиваю вокруг своей шеи… Она беспокойно вертится своим костлявым телом на широкой, как маленький складной балаган, кровати. Мы замираем, и сладко это чуткое безмолвие, и ближе, чем когда-либо, мы друг другу. Два сообщника, два затравленных зверя, горячих, ласковых, неосторожных… И на этом я засыпаю. Сплю, отравленный мечтою о тебе, ядом твоей близости, ароматом твоего тела…

Моя грезочка, мой светлый бог, моя нежная, моя милая деточка, я люблю тебя преданно и нежно. Пожалей твоего Вовку, не будь злой, ведь ему так мало надо: твою ласку да возможность всегда быть с тобой, и только. Никого, кроме тебя, ты одна все для меня.

Всегда твой любящий тебя Володя.

Дневник Китти

Он остался жив… он уже встал на ноги… он опять поет… а в моих глазах все еще стоит его бескровное лицо, застывшие черты… О, эта страшная минута, когда я увидела его губы безмолвными, когда думала, что ни одного слова любви не произнесут они больше, что не назовут меня ласково и я больше никогда не услышу его родной, милый мне голос!..

Я сделаю все, чтобы он жил! Для меня нет человека ближе и роднее его. Он сказал, что будет меня ждать сколько угодно, а я дала ему слово, что когда-нибудь буду его женой. Он счастлив, и я тоже. Я не могу быть к нему жестокой после того, что я видела.

После той страшной ночи мама стала к нему много мягче. Я теперь очень мало обращаю на нее внимания. С тех пор как Владимир был на пороге смерти, даже Валя, относившаяся к нему

саркастически, очень с ним подружилась. Много времени мы теперь проводим вчетвером, так как к нам присоединяется его младший брат Николай, который слегка ухаживает за Валей. Как я счастлива! Как хочу вытащить мою Валюшку из того омута, куда она сама, не отдавая себе отчета, попала! Я люблю ее, мою младшую сестренку, которой я ее всегда чувствовала. Я уже говорила Владимиру, что, если б Коля женился на Вале, я бы тотчас вышла за него замуж, вот хорошо, если мы с ней будем замужем за двумя братьями!

Владимир сказал, что постарается повлиять на брата.

На днях, в субботу, мы удрали тайно от мамы в Петровское: Валя, Владимир и я. Ах, как хорошо было в родных местах, а весна в полном цвету!.. Но мама догадалась и примчалась за нами. Всем нам была грандиозная головомойка. Теперь она уже не говорит: «Моя чистая, моя невинная дочь», а, кажется, подает в церкви за мое здравие и пишет: «О заблудшей рабе Екатерине…» Мне была нотация за то, что я порчу Валюшку.

По Брянской все поезда прошли, и мы наняли крестьянскую телегу, которая везла нас десять верст до Голицына.

Мама всю дорогу была погружена в самый оживленный разговор с мужиком, который нас вез. Валя заснула, зарывшись в душистое сено телеги. У меня был огромнейший букет черемухи, и мы с Владимиром всю дорогу ехали и целовались через белоснежные звездочки пушистых гроздьев, пахнущих чуть-чуть горьким миндалем… Я люблю его и не знаю сама, как это случилось.

Е. П. Мещерская — Н. В. Львову

Милый друг! Вы правы, Вы тысячу раз правы, он негодяй, но вспомните, нам грозило или выехать из Москвы в одних платьях, или согласиться на то, чтобы он нас защищал. Благодарю за Ваше беспокойство о моей дочери. Она совершенно вышла из моего повиновения и на днях со своей подругой и с ним тайно от меня уехала в Петровское. Теперь мне грозит еще нечто худшее… Владимир — владелец, как говорит его мать, прекрасной большой комнаты на Пречистенском бульваре. Его друг, актер, уехал совсем из Москвы и передал ему ее навсегда. Теперь Китти может каждую минуту уйти от меня к нему. Правда, она дала мне честное слово, что еще ни разу у него не была, и сказала, что если пойдет, то мне скажет.

Я никак не могу добиться, чтобы Владимир отдал мне обратно ключи от нашей квартиры и комнат. Он говорит, что эти ключи ему дороги по воспоминаниям, что он не может с ними расстаться, но что он их отдаст, как только Китти станет его

женой.

Как Вам нравится эта наглая фраза? А если она не станет его женой, то он придет ночью со своими, то есть нашими, ключами и сонную зарежет меня в моей постели своею бритвой? Вот с таким сознанием я должна жить. Я уже видела эту бритву перед своим лицом, и теперь мне остается молчать и действовать мягко.

Друг мой! Ведь у нас опять новость: в комнату, в которой умер от сыпного тифа жилец, въехал не кто иной, как начальник концентрационных лагерей Борис Владимирович Попов. Мы с Китти очень его опасались, думая, что он соединится с Алексеевым против нас — и тогда мы погибли. Ведь он очень крупный работник. И что же? Это оказался милейший, вежливый и очаровательный человек, мы с ним просто сразу стали в прекрасных отношениях, а главное, он въехал к нам не зря. Подкладка самая романтическая! Он до смерти влюблен в нашу милую, дорогую Елену Климентьевну Катульскую и переехал сюда, чтобы находиться к ней поближе, ведь она живет над нами. «А ларчик просто открывался…» Между прочим, он бывший офицер и очень воспитанный человек.

Но возвращусь к Владимиру. Итак, я очень многого добилась. Я не только избавилась от него, но и сумела ограничить его к нам посещения. Он бывает у нас один раз в неделю, по средам, или если получит от меня особое разрешение. Поэтому, кроме среды, ждем Вас к нам в любой день. Милости просим!

Е. П. Мещерская.

Дневник Китти

Мама сказала, что задушит меня собственными руками, если я выйду за Владимира, она сказала, что предпочитает видеть меня мертвой в гробу… Владимир нервничает, потеряв возможность бывать у нас. Он подстораживает меня на улице, когда я иду на службу. Он оскорбил Дубова… Владимир называет Львова в глаза «мой оборотень», поскольку его зовут Николай Владимирович, и тот выходит из себя.

Он перекрестил смелого, храброго Ричарда в Бронзового Джона и говорит, что у него лицо нью-йоркского бандита-потрошителя.

Я устала от всего этого, а главное, не понимаю: почему я должна сию минуту, сейчас или завтра выходить скорей за него замуж? Бывают минуты, когда меня тяготит данное ему слово. Одно слово «му-у-у-уж» — что-то вроде рева быка.

Юдин — Китти (записка)

Котик! Еще и еще раз умоляю разрешить мне прийти к тебе. Я

измучился без тебя. Когда же я тебя увижу? Не мучь, позволь прийти.

Твой всегда любящий и преданный Владимир.

Дневник Китти

Ах, что вчера случилось! Так как Вовка сторожит меня теперь на всех углах улицы, попадаясь всем на глаза, а больше всех моей маме, то она волей-неволей, зная его безумную к ней ненависть, каждую минуту ждет, что он набросится на нее с бритвой.

Все эти настроения и создали ту напряженную атмосферу, которая в свою очередь была виновницей следующего события. В двенадцатом часу ночи мама возвращалась со спевки из церкви Большого Вознесения. Наше парадное не освещается, и она своей быстрой и легкой походкой, стуча каблучками по каменным ступеням, поднималась вверх по лестнице в полной темноте.

Вдруг около самых дверей нашей квартиры чьи-то сильные мужские руки схватили ее и подняли высоко в воздух.

— А-а-а-а! Спасите! Убивают!.. — закричала мама изо всех сил своего певческого и человеческого голоса.

Она поняла, что Владимир (она не сомневалась, что это был именно он), подняв ее в воздух, неминуемо бросит в пролет лестницы, вниз…

Громкий вопль разнесся по всем квартирам, открылись все двери, на лестницу выбежали перепуганные люди…

Злоумышленник давно уже опустил маму на землю, и волны света, хлынувшие на лестницу, осветили его, стоявшего рядом с ней, бледного, сконфуженного, опустившего, как напроказивший школьник, голову. Это был начальник концентрационных лагерей Борис Владимирович Попов! Он был еле жив от страха.

— Простите, — лепетал он, — я думал, это Елена Климентьевна возвращается из театра…

— Простите меня… — ответила обрадованная мама. — Я ведь была уверена, что меня убивает поклонник моей дочери!..

Бедный, пылкий любовник певицы!.. Он мечтал перехватить свою возлюбленную до ее квартиры и ждущего ее мужа…

Вот где продолжается подлинный Рокамболь!

Е. Д. Юдина — Китти

Милая Екатерина Александровна!

Володя сегодня в ужасном настроении, а между тем он должен завтра петь в ответственном концерте, и, если откажется, его могут даже арестовать.

Я сделала все, что могла, но одна я бессильна и прошу Вашей помощи. Во имя человеколюбия зайдите к нему сегодня часов в

10 вечера. Он никому не опасен, кроме самого себя.

Целую Вас и надеюсь, что Вы исполните мою просьбу.

Ваша Елизавета Дмитриевна Юдина.

Дневник Китти

Мама под угрозой не позволяет мне пойти к нему и не разрешает ему прийти к нам. Я боюсь за него, и меня просит его мать! Я дала честное слово маме, что не буду бывать на его, как она выражается, «холостой» квартире, но сегодня я сказала ей, что пойду… Как смеют мне запретить видеться с ним? Кроме того, записка его матери обязывает меня, и неужели его любовь ко мне может срывать его концерты? Разве я это допущу? Конечно, так дальше длиться не может, я должна решить…

Юдин — Китти

Катя, милая моя, очаровательная девчурка! Вчера и сегодня все время думаю о тебе. Грустно и пусто. Эти мертвые стены, этот наружный уют без уюта души осточертели… Все, что не ты, — противно… Все, что не напоминает о тебе, чуждо и ненужно… Помнишь ли ты обо мне? Любишь ли? Не бранишь ли? Милая моя, родная моя девочка, если бы мои слова могли заласкать тебя так же, как я сам ласкал тебя! Я хотел бы, чтобы ты поняла меня, мою любовь, тоску… помимо слов, одним сердцем… одним чувством… Я хочу, чтобы ты почувствовала, как я мечтал о тебе, такой близкой и тепленькой… Как бессознательно хорошо с тобой… Под лаской твоих лапочек проходят все мои сомнения, и жить легко и есть для чего!

Я вновь во власти ярких, счастливых грез о нашем счастье, о тебе, моем солнышке. Пишу тебе и думаю о твоих словах, о глазках, искорках и о твоем голосе… Помнишь, как ты пела?..

Как я любил эти тихие часы прозрачного вечера, проведенные под мягкий шепот рояля, и ласковый, плачущий голосок моего горячо любимого капризули Котика. Китти, моя светлоокая греза, мой золотой ручеек, я плачу и радуюсь, мучаюсь и смеюсь, когда вспоминаю эти часы… Как хорошо мне было с тобой!..

Я полон воспоминаниями. Моя весна, моя любовь, роковая и безумная, я всегда с тобой всеми своими чувствами и помыслами.

Только твой Володя.

Дневник Китти

Я была у него… Мы пели, пели до полного изнеможения… Я люблю его, это какая-то магия чувства, он любит так, что даже камень — и тот бы ожил от его любви… Я просто приду и останусь у него навсегда, я так решила.

Я последнюю ночь дома. Смотрю на эти стены, и мне их почему-то совсем не жаль… Я сказала об этом одной Валюшке, ей я могу доверить эту тайну…

Е. П. Мещерская — Н. А. Манкаш

Он обокрал нас! Наталья Александровна, обокрал гнусно, подло, но достаточно искусно и артистически тонко!..

Теперь становится понятным, почему он так добивался быть мужем моей дочери: он рассчитывал на большее… Вот почему он медлил с отдачей ключей, и теперь ясно, что за щедрый друг мог «подарить» ему прекрасную комнату, которую он купил за наши драгоценности.

Кражу я обнаружила только вчера, но она могла быть и много дней назад, и недавно, потому что вору, которому была известна вся наша жизнь, было также известно, что в это отделение шкафа я заглядываю только тогда, когда намечаю что-нибудь к продаже.

Итак, из третьей зеркальной двери моего шкафа черного дерева выкрадена шкатулка с драгоценностями. Всего шкатулок было четыре. Первая — с бриллиантами, где фамильные, слишком заметные, многим знакомые вещи, — великодушно оставлена. Вторая хранит только разнообразные серьги, на которые надо искать любителя и многие из которых мы часто надевали и надеваем. Третья, полная всяких мелких безделушек и колец, показалась, очевидно, не настолько соблазнительной. Четвертая — большая, длинная шкатулка, так называемая «цепная». Она была полна разнообразнейших золотых цепей всяких фасонов и чеканки: цепи для дамских и мужских часов, для кулонов и медальонов и, наконец, тридцать два мягких браслета со вставленными камнями и осыпью, с миниатюрами и медальонами… Все это выкрадено из запертого шкафа.

Конечно, если у него был ключ от квартиры и наших комнат, что стоило ему подобрать на свободе ключ к шкафу!..

Шкатулки лежали в глубине, под сложенными скатертями, и я обнаружила кражу только вчера, когда решила продать одни часы князя и цепь к ним.

Последние дни Китти стала бывать у этого мерзавца и на мое возмущение отвечает, что решила вместе с ним строить свою жизнь… Я прибегла к помощи моих друзей, в особенности к Дубову и Илье Ефремовичу, как к самым солидным, которых я уважаю. Оба они в один голос советовали мне немедленно, силой увезти Китти из Москвы, хотя бы в Ленинград.

Мне нужны были деньги, ведь при такой ситуации мы решили, что Китти должна бросить службу (на время), потом нашла бы другую. И вот я отперла шкаф, подняла скатерти и

обнаружила исчезновение шкатулки!.. Вот какой ценой мне пришлось расплатиться с этим преступником за его «защиту» и «благородную любовь» к моей дочери!.. Мои молитвы дошли до Бога, и вот как Он все устроил. Разве это не перст Божий? Только она решила бросить меня, как я обнаруживаю кражу, именно не раньше и не позже. Да, Владимир обокрал нас, но он не успел отнять у меня самого дорогого — моей дочери… Правда, я не знаю, как далеко зашли их отношения, по ее поведению можно предполагать все, и я к этому позору тоже готова, но надеюсь и вижу, что люди, искавшие ее расположения, многие из них по крайней мере, то же самое предполагают, однако это их ничуть от нее не отталкивает. Дубов, например, сразу предложил мне ехать, остановиться и жить у его родных под Ленинградом, в их собственном доме. Об Илье Ефремовиче нечего и говорить…

Китти пережила все очень тяжело, она слегла, был тяжелый сердечный припадок. Два раза в день ей делают инъекцию камфары. Она на нервной почве почти совсем лишилась голоса. Вот Господь послал ей достойное возмездие за ее дерзость и своеволие! Недаром говорят в народе: сердце матери — вещун… Она не хотела мне верить, вообразила, что нашла какую-то необыкновенную любовь. Конечно, мне ее жаль… Она меня умоляла только об одном: чтобы никто из наших знакомых и даже друзей не узнал этого позора. Не знаю, кого она щадит — себя, свое самолюбие, или этого вора?.. Я рада одному: что, конечно, она теперь разлюбит его, если вообще когда-нибудь любила.

Итак, прежде всего надеюсь на Вашу скромность: об этом знаете только Вы, Ваша дочь, я и моя дочь, и это должно умереть между нами. Такова ее воля. Ей тяжело, она не может слышать его имени. А мне страшнее всего было бы видеть свою дочь за певцом эстрады, опереточным «петушком», который к тому же, прибрав все к рукам, в конце концов бросил бы мою дочь… И тогда, конечно, она, со своим самолюбием, или сошла бы с ума, или бы с горя повесилась. Не знаю еще, как будет дальше. Доктор сказал, что ей необходим покой и надо вылежать не меньше недели. Валюшка от нее не отходит. Как я оценила ее в эти дни! Это настоящая сестра Китти, а для меня она — вторая дочь!.. Что же касается этого негодяя, то он еще смеет бомбардировать ее письмами и какими-то мольбами. Я удивляюсь его наглости, но еще более я удивляюсь глупости моей дочери: она читает эти письма и плачет.

— О чем? — спрашиваю я. — Ты должна радоваться, что мы наконец увидели его настоящее лицо.

— Я не спорю с тем, что он нас обокрал, — ответила она, — но он любит меня и все равно покончит с собой!

Она избегает разговоров со мной и все время шепчется с Валюшкой. Вот, дорогая, все наши новости. Пишите мне почаще!

Е. П. М.

Дневник Китти

Да, Валюшка в тысячу раз умнее меня!.. Она говорит, что разгадала его с первых же встреч и потому так недружелюбно к нему всегда относилась.

С ней одной я целыми часами говорю, и она все больше и больше рассказывает мне свои наблюдения над ним.

— Почему раньше ты мне этого не говорила? — спрашиваю я.

— Мне казалось, ты любишь его… Я не хотела тебя огорчать… Милая моя Валюшка, нежная моя сестренка!.. Но какой он лицемер! И зачем было ему так долго разыгрывать эту любовную комедию, ведь украсть можно было гораздо раньше и без стольких драм… Странно, что все обнаружилось именно накануне моего к нему ухода, точно судьба нарочно так подстроила! Валя все объясняет толково: — Он вошел в ваш дом для того, чтобы завладеть не тобой, а тем, что ты имеешь. И бесился, видя, что ты не идешь на его удочку.

— Но зачем же он вскрыл себе вену и чуть не умер? — интересуюсь я.

— От злости и истерии. Умирать он не собирался и без сознания никогда не был. Я не хотела тебя расстраивать, но, когда он лежал якобы без сознания, я заметила, как он одним глазом следил за тем, кто около него стоял.

— Зачем же тогда он подарил мне свой любимый перстень?

— Чтобы своею щедростью усыпить в тебе всякое подозрение, ведь своей кражей он окупил его стоимость во много раз. Он актер, прирожденный альфонс, и подумай сама: какие данные ты имеешь, чтобы сводить с ума мужчин? Одна наша общая знакомая — я не хочу называть ее имени, — увидев тебя, прямо сказала: «Если бы у меня были такие бриллианты, как у этой рожи, то из-за меня сто певцов вскрыли бы себе вены!» Ты простодушна, ты вечно всеми восхищаешься и не понимаешь, что вокруг тебя все ищут не твоего общества, а тех ценностей, которые вы еще сумели сохранить.

Валюшка права: если он, Владимир, лгал и лицемерил, то что же тогда сказать об остальных?! И как я, дурнушка, какой я всегда была, могла поверить, что меня можно так безгранично любить? Глупец он! Неужели он не предполагал, что мы можем хватиться этой несчастной шкатулки?

И потом, в этом во всем есть одна маленькая подробность, от которой сердце мое обливается кровью и мозг сверлит противная

неотвязная мысль.

В этой шкатулке лежала коробочка с моими личными детскими драгоценностями, которые он так любил сам перемывать и чистить. Среди них были самые мне дорогие: часики с амуром, подаренные мне мамой после моего первого детского в Дворянском институте концерта. Браслет с изумрудами, на котором мама выгравировала: «Киса»; некоторые вещи маленькой герцогини 80-х годов, кольцо — рубин, вырезанный сердцем, осыпанный бриллиантами, подарок тети Нэлли, и масса дорогих мне по воспоминаниям вещей.

Был случай, когда нас выследил бандит (из Рублева), он проник к нам в дом. Пил с нами чай, но когда в отсутствие мамы я хотела ему дать эту мою детскую коробочку с драгоценностями в обмен на несуществующие продукты, то он быстро отвел мою протянутую руку и сказал:

— Хорошо, это я возьму в следующий раз, когда приду. В этот же вечер он чуть не убил маму, ограбив ее, но моих вещей, которые я сама ему давала, не взял, а рука Владимира, человека, который меня целовал, не дрогнула, и он взял их…

И все-таки наперекор уму мне жаль его… Мало того, он еще дорог мне, и я не хочу предать его имя позору. Об этом никто не должен никогда узнать, мама мне дала в этом свое слово, а оно у нее есть. Бедная мама… Я так ее огорчала… Я сознаю, что мы с мамой во многом чужие, но в ней есть черты, которые я глубоко уважаю: ее бесстрашие, ее благородство. Я не слышала от нее никаких причитаний, рыданий, «охов» и «ахов», какими бы разразилась любая женщина, если бы у нее украли такие драгоценности. О Владимире она говорит без всякой злобы, но с уничтожающим презрением. Хотя это звучит невероятно, но я вижу, я чувствую, что она даже рада, что этой ценой она заплатила за его защиту. Свою замечательную выдержку она уже доказала: когда все случилось и со мной сделался припадок, ей пришлось на другой день идти ко мне на службу, чтобы сказать о моей болезни, и около детского сада в Дегтярном переулке она встретила Владимира.

Мама вела себя с ним как ни в чем не бывало и даже позволила передать мне письмо на Поварскую. Их свидание и поведение мамы совершенно ясно из письма ко мне Владимира. Между прочим, он теперь перетянул себе в союзницы мою приятельницу по службе, руководительницу детского сада, некую Анету. Вот его письмо:

Милый, хороший Котик! У меня сегодня сумасшедший день. Я точно предчувствовал вчера, что что-то случится. Сегодня утром, как ты уже знаешь, ждал тебя до одиннадцати. Потом

пошел домой, написал тебе записку и, заклеив ее, отправился к тебе на службу. Стою и жду подходящего мальчишку. Только что отправил тебе записку, как вдруг смотрю, идет твоя мама. Поздоровался с ней и спросил, куда она идет. Она сказала, к тебе. Я удивился и подумал, в какое дурацкое положение поставил тебя, так как ты, наверное, читала мое письмо в тот момент, когда она вошла. Представь же себе мое удивление, когда выходит мальчишка и говорит, что твоя мама взяла письмо и передаст тебе его сегодня или завтра!

Я страшно расстроился всем этим, так как, с одной стороны, у меня мелькнуло подозрение, не уехала ли ты — помнишь. как ты говорила?.. Это было. на мой взгляд, тем более вероятно, что мама пошла к тебе на службу… Ведь она ничего мне не сказала о том, что ты больна, из ее слов, наоборот, я понял, что ты должна быть на службе.

Когда мы встретились, она меня очень спокойно и с иронией спросила: «Ну, что скажете новенького?» Я промолчал, отвечать было нечего. Спрашивать же о тебе я не стал, так как не предполагал, что ты можешь быть больна. Потому я сейчас же послал мальчишку обратно, взять письмо, так как боялся, что она его распечатает, а ведь там я писал о том, как не дождался тебя вчера…

Да, между прочим, мама твоя. возвратив письмо мальчишке, была на этот раз даже так снисходительна, что попросила мальчишку передать это письмо на Поварскую, в дом 22.

Со службы я сейчас же пошел на Поварскую. Потом пошел обедать и заниматься, так как на завтра совершенно неожиданно позвали на концерт в «Славянский базар». А сейчас строчу тебе это письмо, а потом побегу к Анете с просьбой передать тебе его. Ты не будешь сердиться? Ведь у меня нет иной возможности сообщить тебе все и знать, что письмо попадет тебе в руки… Завтра буду утром ждать тебя на углу с половины десятого… Ты пойдешь на службу? Что с тобой, серьезно ли ты захворала или так, недомогание?

Ради Бога, умоляю тебя, если захворала надолго, то разреши мне прийти навестить тебя. Приду, когда тебе угодно, с черного хода, чтобы не видел никто, только позволь видеть тебя. Так мучительно сознавать, что я не могу быть около тебя, моей любимой и близкой.

Пожалей меня, позволь мне прийти, скажи маме, что во время твоей болезни должно быть перемирие, ведь не зверь же и не камень она, в самом деле… Не считай эгоизмом мою просьбу. Я не могу стеснить тебя своим приходом, ведь жили же мы вместе… Поверь, во всяком виде ты мне одинаково близка… и дорога…

Не пудри личика, не прихорашивайся, ты и так очаровательна, только позволь своему нетерпеливому безумцу Вовке взглянуть на тебя. Вкладываю в это письмо записочку маме с просьбой о том же. Передай, если найдешь нужным. Ради Бога, умоляю ответить, когда увижу тебя. Целую тебя крепко и много раз. Отвечай, если можешь, передай Анете, что надо.

Твой горячо любящий тебя Володя.

Юдин — Китти

Милый Котик, в тот же день, когда я получил твое письмо, я, конечно, тотчас, как вернулся с концерта, написал тебе письмо, но потом разорвал его и не отправил. Я думаю, ты сама понимаешь, как тяжело было мне прочесть в нем, что я, «конечно», не могу тебя навестить и «даже» не надо больше писать, ну а телефон может «пригодиться». Не стану говорить, каким ударом было мне это письмо и какой ответ я хотел послать тебе. В нем было все: и отчаянная мольба разрешить прийти к тебе, и упреки, и тысячи доводов…

Сейчас, промучившись два дня, я неотступно думаю о том, какие причины побудили тебя так резко отклонить мою просьбу. Излишне говорить, как я мучаюсь и страдаю, не видя тебя.

Мне тем более тяжело, что перед твоей болезнью все таким роковым образом сложилось. Одному Богу известно, что я пережил…

Минутами я дохожу до такого отчаяния, что готов бежать на Поварскую, устроить скандал и избить первого вышедшего из твоей квартиры, и только мысль, что, может, сделаю непоправимые вещи и не увижу тебя больше, удерживает меня. Боже мой! Как я ненавижу твою мать и чувствую, что в конечном счете нам не разойтись подобру с ней. Ведь если сейчас, несмотря на все мои мольбы и просьбы, когда ты в сознании и, как сама пишешь, «чуть-чуть» больна, я не могу добиться встречи с тобой, то что же за ужас ожидает меня, захворай ты серьезно?.. Все будут около тебя, кроме меня, готового день и ночь дежурить у твоей кровати и пожертвовать своим покоем и здоровьем ради твоего выздоровления. Я болен, вместе с тобой, душой и телом. Мое сознание отчаянно. Потом, почему даже писать тебе нельзя? Ведь все равно я каждый вечер буду бродить около вас, всячески стараясь узнать что-либо о тебе. Ведь, судя по тону этого твоего «не пиши больше», я думаю, что это, очевидно, твое предостережение, как бы мое письмо не попало в руки Е. П. Поэтому не сердись, если изберу путь не совсем удобный, но более верный для передачи тебе письма.

Я все же умоляю тебя: позволь прийти к тебе. Это важно мне

вот почему: я буду знать, что, заболей ты серьезно, я могу открыто прийти к тебе. В тот же день, когда ты будешь здорова, я опять прекращу бывать у тебя, а сейчас уступи мне. Успокой меня, дай мне эту веру и позволь увидеть тебя. Я не могу больше без тебя, я так измучен…

Всегда твой горячо тебя любящий Володя.

Дневник Китти

Я поправилась и встала на ноги, но лучше бы я умерла… Боже, дай мне силы выдержать эту пытку! Я люблю его, люблю, но пусть я умру, я разорву с ним все и выжгу, выжгу, какого бы страдания мне это ни стоило, из своего сердца все свои чувства к нему!

Конечно, дело не в краже каких-то драгоценностей. Дело в том, что его влекла ко мне не любовь, а выгода. Он обманывал меня, он лгал мне… Если нет веры, то как может жить любовь?

Потерял веру — кончается любовь…

Конечно, едва я собралась выйти из дома, в первый раз после болезни, как мне навстречу с лавочки, что на площадке третьего этажа, встал Владимир с книгой в руке.

Он бросился ко мне как безумный. Как он играет! Как он естествен! Каких нежностей он мне наговорил… У меня невольно голова закружилась. Его милые темные, с золотой искрой глаза наполнились слезами, и одна — теплая-теплая — упала мне прямо на руку…

К счастью, в это время по лестнице кто-то начал спускаться.

Это была мама, она вышла за мною вслед. Я успела тихо сказать Владимиру, чтобы он навсегда меня оставил и забыл. Потом я быстро подошла к маме, взяла ее под руку, и мы с ней ушли. Какая дикая тоска!.. Я никого не могу и не хочу видеть…

Юдин — Китти

Котик, моя славная девочка, скажи мне прямо и искренно: что случилось? Из-за чего ты так отдаляешься от меня?

Правда, твоя мать не остановилась ни перед чем, и я тысячу раз был прав, когда говорил, что она шаг за шагом добивается своих целей. Что же, она добилась и пока победила, но она забывает одно: что ей не два века жить и в могилу с собой она тебя не возьмет. А я никогда не отступлюсь от тебя. Она имеет на тебя почти гипнотическое влияние и недаром ходит теперь и хвастается моему отцу, что она так рада: «Между ними все кончено. Китти так любит меня, что для меня все сделает…» Что ж, верно. Где все твои клятвы, любовь и искренность, где? Во имя чего ломается, как ненужный хлам, твоя и моя жизнь? Ведь все

равно, даже если она окончательно добьется своего и спихнет тебя замуж, то должна же она понимать, на какую муку обрекает нас… Пойми, я не уйду от тебя: живая или мертвая, ты будешь моя. Я так хочу и имею право хотеть, моим оправданием будет твоя любовь. Ты умна, подумай, стоит ли перешагивать через новые муки и твой, может быть, брак к нашему счастью. Я никому не отдам тебя, чего бы мне это ни стоило.

Твой беззаветно любящий тебя Володя.

P. S. Это гадко, но что же делать, надо говорить: за материальную сторону жизни не бойся, будет все.

Дневник Китти

Он совсем сошел с ума! Он смеет мне угрожать. Он с такой злобой обрушивается на маму, в то время как сам во всем виноват. Он пользуется тем, что мы пощадили его и не объявили перед всеми вором, он продолжает уверять меня в своей любви и пускается даже на запугивания… А я ничего и никого не боюсь, кроме себя… Страшно и стыдно сознаться в том, что сердце мое до сих пор не может поверить, что он нас обокрал, тогда как мой ум уже давно в это поверил.

Мамину тактику я считаю неправильной: играть при таких обстоятельствах в «молчанку» нельзя, прежде всего уже по одному тому, что у этого безумца растет совершенно звериная злоба к моей матери, которую он почему-то считает источником всех своих несчастий. Я должна сама пойти к нему и все ему высказать. Но сейчас еще я не могу этого сделать… не могу… Да, как это ни дико, как ни странно, но я все еще люблю его. Поэтому я не могу его увидеть один на один… Боюсь выдать себя!

Как я оценила теперь моих друзей: никогда больше не выхожу на улицу одна, меня всегда кто-нибудь из них сопровождает. А после того как я запретила ему говорить со мной, он не смеет подойти ко мне для объяснений при ком-либо чужом.

Конечно, такое положение не может долго продолжаться, и мама не права, избрав такую странную тактику. По-моему, мы обязаны ему высказать все то, из-за чего мы отказали ему от дома и порываем с ним всякое знакомство. Если мама это не сделает, я сделаю это сама. Ах, почему же я так страдаю? Мне бесконечно тяжело видеть его выгнанным из нашего дома, не смеющим войти на наш порог, стерегущим меня на всех углах и не имеющим права подойти ко мне. Мне невыносимо тяжело сидеть с моими друзьями и видеть их у нас за столом весело болтающими, с торжествующими улыбками и многозначительными язвительными намеками. Как ненавидят они его! Как теперь они счастливы!.. Они все уверены, что Владимиру отказано от нашего

дома из-за его непозволительного нахальства, из-за того, что он компрометировал меня, не имея на это никакого права, так объяснила им мама изгнание из нашего дома Владимира. Но Боже мой! Если б только они знали всю правду!..

Меня очень тронул Ричард. Он явился к нам на днях особенно радостный, прямо со стрельбища, с прекрасной хрустальной вазой «баккара» в серебряной оправе. Это был первый приз, взятый им на стенде в соревнованиях по стрельбе.

— Китти, — сказал он торжественно, — в Испании пикадоры посвящали сраженного ими быка избраннице своего сердца. Позвольте посвятить вам этот взятый мною приз и поднести вам эту вазу…

Я, конечно, дружески его пробрала и отправила вместе с вазой домой.

— Вы принадлежите вашей жене, — сказала я, — поэтому ей принадлежат и ваш успех, и ваша слава, и все ваши призы. Принять от вас эту вазу в подарок означает обокрасть вашу жену.

Вот какие «морали» я иногда читаю, а мама еще утверждает, что я аморальна.

Скажу откровенно, что это все-таки было мне приятно, хотя я постаралась не показать виду.

Через несколько дней Ричард явился с дикой уткой, прямо с вокзала, с охоты. Мама не могла противостоять искушению и изжарила ее мастерски.

Застав меня как-то в очень грустном настроении, он заявил мне, что придумал одну замечательную игру, в которую мы с ним будем играть.

— Вы только должны мне вполне довериться, и вашу печаль как рукой снимет, — сказал он.

Игра состояла в том, что мы отправились в фантастическое путешествие. Для этого мы добрались до первой ветки окружной железной дороги, сели в поезд и поехали. Мы воображали, что путешествуем, болтали, смеялись, рассказывали друг другу всякие небылицы, выходили на разных станциях, в разнообразных концах Москвы. На одном вокзале пили кофе, на другом завтракали и, пропутешествовав таким образом целый день, закончили это веселое времяпрепровождение шикарным ужином, который «закатил» Ричард на Николаевском вокзале.

Кругом сновали носильщики с разноцветными чемоданами, спешили пассажиры, слышались гудки паровозов, отходили поезда дальнего следования, и мне казалось, что мы действительно совершаем если не кругосветное, то, во всяком случае, дальнее и настоящее путешествие.

Он привез меня домой и «сдал маме на руки» (как сам

выразился), отдал маме честь под козырек и расцеловал ей руки.

Я действительно отвлеклась на несколько часов и была настолько уставшей, что с наслаждением повалилась в постель и в первый раз за много дней сладко уснула.

Ричард подарил мне свою фотографию, сзади которой кривым и несколько пьяным почерком написал невероятно торжественные слова: «У меня одна жизнь, одно сердце, одна любовь — это Вы. На моем знамени всю жизнь одно имя: Китти».

Ну в какое положение он ставит меня перед его женой! И где мне хранить карточку с такой надписью?.. Ах, мужчины, мужчины, поверь вам только… Да я никому из них и не верила, кроме одного, которому понадобились мои драгоценности больше, чем я сама.

Как только я справлюсь со своим глупым сердцем, я сама пойду к нему. И когда буду говорить ему о причине нашего разрыва — буду смотреть в самую глубину его глаз…

Юдин — Китти

Моя радость, мое милое солнышко Котинька, не знаю, когда попадет к тебе это письмо и зачем, в сущности, его пишу…

Ведь все уже сказано, почти все пережито, а слабое, глупое сердце все еще не может примириться с «концом».

Что случилось? Чья злая воля, чье бессердечие и злобное надругательство над нашим счастьем опять торжествуют?..

А помнишь весну, благоухающую легким воздухом, журчащую потоками воды, и ты, такая же трепетная, нежная, как эта ранняя весна? И аромат твоих щек, этот лучший в мире запах, и шелк твоих волос, душистых, пряных. О, если бы умереть тогда, пока был твой! А теперь ползут дни, идут новые кошмары — а я? Я смотрю ничего не видящими глазами в бездонную пустоту моей жизни. Без цели, без мысли, без ласки и тепла… И только теперь я понимаю, что надо, надо было согнуться, молчать, затаиться и ждать, только бы быть около тебя…

Ведь ты у меня одна на свете, самая близкая, самая желанная, самая родная…

Дневник Китти

Я была у него. Я предупредила его о своем приходе по телефону. Ах, эта комната, где я бывала так счастлива, я вновь увидела ее: большое зеркальное окно было открыто настежь. День уходил… Лучи заката, заливавшие всю комнату, были теплые-теплые… Как всегда, рояль был раскрыт, ноты стояли на пюпитре. Кругом уют, чистота. Только почему-то не было вокруг благоухающих даров его голосу — живых цветов, и только на

столе против дивана стояли в вазе скромные полевые цветы. Владимир понял мой вопросительный взгляд.

— Не удивляйся, — сказал он грустно, — я больше не пою. — И тихо прибавил: — Не могу… сейчас…

Он взял мои руки и начал их целовать, но я остановила его. Он повиновался, и мы сели на диван как чужие.

Я постаралась как можно спокойнее и последовательнее рассказать ему о краже, которую мы обнаружили, и о том, что никто, кроме него, не мог быть в ней виновен.

— Это ложь, опять новая наглая ложь твоей матери, — спокойно сказал он. — Она, наверное, продала эти вещи тайно от тебя, а теперь кричит о мнимой краже, чтобы этим клеймом сделать меня в твоих глазах преступником.

Я начала его разубеждать и доказывать, какие бессмысленные он нашел себе оправдания.

— Значит, это Валька! — вдруг воскликнул он. — Ну конечно, это она… Теперь я припоминаю. Когда твоя мама в первый раз увезла тебя в Петровское, я после концерта сел с ней вместе пить чай вечером. Она вдруг сказала мне: «Знаете что? Давайте ограбим их! Почему вы их щадите? Ведь мы с вами в одинаковых ролях. Китти зазнайка, окруженная поклонниками, ветреная, бессердечная эгоистка, я около нее всегда в третьей роли, а перед вами она лицемерит, ей просто лестно иметь лишнего поклонника, да еще к тому же певца!.. Поверьте, если из их четырех шкатулок они лишатся одной, то с голоду не умрут! Мы разделим все содержимое пополам. Деньги никогда не лишние. Поедете на юг, забудетесь, пофлиртуете, а я уйду от них, от чужого, вечно чужого куска хлеба…» — «Нет, это вы серьезно говорите?» — удивился я, но тут она стала как безумная хохотать. «А вы и поверили? — говорила, давясь от смеха. — Вы и правда поверили?» Я же, считая ее всегда недалекой, решил, что этот разговор — ее очередная циничная шутка, я был далек от предположения, что она предлагает мне самую настоящую воровскую сделку. Теперь же мне все ясно: убедившись в ненависти твоей матери ко мне и испугавшись того, что ты действительно можешь уйти ко мне и она останется без тебя на хлебах у твоей матери, она решила сделать это преступление, как говорят, «под мою руку».

Что было со мной, когда я услышала такое обвинение моей сестренке, выросшей со мной вместе, преданной мне, — трудно описать.

— Вовка, — сказала я, — умоляю тебя, только не лги! Я готова поверить в то, что ты сначала увлекся, потом полюбил меня, потом, видя все наше окружение на Поварской, мамину к

тебе неприязнь, мою нерешительность, мое нежелание выйти за тебя замуж, ты разозлился, обезумел и, может быть, даже возненавидел меня, и именно в тот миг и решился сделать это нам назло.

— Что ты! Что ты! — Владимир стал страшно сердиться. — Разреши мне прийти на Поварскую и при тебе, твоей матери и Вальке подтвердить все мною сейчас сказанное. — И Владимир страшно стал сердиться и вступил со мной в самый жаркий спор, в течение которого он становился мне все более и более неприятен.

Мне легче было бы услышать от него признание его вины и раскаяние, нежели такое настойчивое отпирательство; мы не могли с ним ни до чего договориться. Чем сильнее он горячился, тем более становился неприятен мне. Наконец он объявил, что я должна дать ему клятву в том, что если он меня позовет, то я должна буду прийти.

Я дала ему эту клятву, так как он сказал, что воспользуется ею только один раз. Я не могла ему отказать… Он имеет надо мной необъяснимую власть.

И вот я опять дома. Я рассказала маме и Вале все, что было между нами сказано. Я не пропустила ни одной подробности.

— Он сошел с ума, — спокойно и серьезно сказала Валя. — Мне даже смешно перед вами оправдываться. Ему надо не жениться, а садиться в сумасшедший дом.

— Но почему вы не хотите, чтобы он в последний раз пришел сюда к нам? Почему не хотите выслушать его оправдания?

— Никогда! — закричала мама. — Разве ты не видишь, какой черной клеветой он вздумал теперь клеймить бедную, ни в чем не повинную Валюшку? Я уверена, что за это время он еще что-нибудь придумает. К тому же наши комнаты еще числятся за ним. Он придет и не уйдет. Он начнет здесь публичный скандал, который даст Алексееву пищу для новых против нас обвинений и доносов. Может быть, он даже войдет с ним в союзничество против нас…

— Но, мама…

— Замолчи, — перебила меня мать, — замолчи и не смей больше говорить о нем! Обокрал, сделал свое черное дело — и прекрасно! Пусть оставит нас теперь в покое, никаких свиданий и очных ставок! Пойми, это унизительно для нас — встать на одну доску с вором!..

Мама вся кипела, и я достаточно хорошо ее знала, чтобы понять, что Владимир для нее больше не существует и что она согласна потерять еще столько же, лишь бы больше его никогда не увидеть.

А я?.. Я чувствовала, что голова моя лопается. Мне начинало казаться, что злосчастная шкатулка испарилась в воздухе. Но ведь чудес не бывает… Только они двое имели ключи и оставались без нас в наших комнатах. Знаю одно: с Валюшкой я выросла; когда я, болея дифтеритом, была при смерти, она пила из моего стакана для того, чтобы заразиться, и говорила, что не будет жить без меня; она — моя сестренка, она любит меня и беспредельно мне предана, я верю ей… Значит, он…

Е. П. Мещерская — Н. В. Львову

Николай Владимирович! Почему так редко к нам заходите? Прошу, не обращайте внимания на Китти, не сердитесь на нее. Нас издергал этот негодяй, он не хочет оставить нас в покое. Теперь он в своих атаках на нас использует своих поклонниц. Вчера в нашей передней раздался звонок и вошла очаровательная голубоглазая девушка, хорошего тона, скромно и прилично одетая. Она попросила вызвать Китти, и я, ничего не предполагая, позвала ее. И представьте, как только Китти вышла к ней, эта девушка вынула из сумочки и передала ей письмо с ненавистным для меня почерком!

Знаете ли Вы, что каждое его письмо — отрава для Китти, она заболевает и ходит сама не своя?! Приходите, посоветуемся.

Е. П. Мещерская.

Юдин — Китти

Милый Котик! Шлю тебе письмо с Верой Головиной. У меня нет другого пути. Я не могу довериться уличным посыльным, а мне надо, чтобы это письмо попало верно тебе в руки. Мне надо очень многое тебе сказать (не о нас). Сначала я хотел написать тебе об этом, но, исписав восемь листов, увидел, что это напрасный труд. Ясно и точно можно только рассказать.

Поэтому прошу тебя о встрече. Где и когда — все равно, но лучше у меня и, если можешь, сегодня. Верь, зову тебя только для этой исповеди, впрочем, ты знаешь, что твоей доверчивостью я никогда не воспользовался. Если только действительно искренни были твои слова, что ты готова меня спасти, то сделай это. Прошу.

Вот и все, мой милый, горячо любимый Котюленька.

Черкни мне, получила ли? И когда увижу?

Твой Володя.

Дневник Китти

Он, безусловно, не в своем уме: вызвал меня к себе каким-то таинственным письмом, и, когда я пришла, он начал с того, что у

него была… Валя. Она якобы пришла неожиданно и застала его дома. Она смеялась тому, что он передал нам ее давний с ним разговор, сказав: «Ведь вы для них теперь самый последний человек, и они ни одному вашему слову не поверят». Она хохотала, вспоминая ему свое пророчество о том, что мы вышвырнем его на улицу за все то доброе, что он нам сделал, за его хлопоты и защиту.

— Ты не веришь большой моей любви, — сказал он. — Я знаю, что, если вера убита, ее невозможно возродить, так же как и любовь. Я бессилен убедить тебя в том, что не я украл вашу шкатулку с драгоценностями. Ты веришь Вальке, а не мне. Она же говорит, что вы обе лжете и, чтобы от меня отделаться, выдумали эту мнимую кражу. И вот теперь я ухожу из твоей жизни, но мне страшно, что около тебя остается эта змея, которая так искусно прячет свое жало в притворной глупости и лживой преданности. Ты ей так веришь… Я боюсь, что она, имеющая темные, предосудительные знакомства, действительно подберет себе партнеров и дочиста вас ограбит, а эти друзья, может быть, еще и прирежут вас. Я тебе говорю: Валька — твой враг, это подлое, грязное животное, она завидует тебе и ненавидит тебя. Я умру, но, может быть, через много лет ты увидишь змею, которую грела на своей груди.

Я больше не в силах была слушать, вскочила с дивана.

— Довольно! — вскричала я вне себя. — Ты говоришь такие вещи, точно у тебя нервное заболевание, но, поскольку эта черная клевета оскорбляет Валюшку, которую я люблю, которой я верю больше, чем тебе, которую считаю моей сестрой, я больше ни минуты не хочу здесь оставаться и выслушивать то, что оскорбляет нашу с ней дружбу.

Я почти силой вырвалась из его рук. Выскочив в дверь, сбежала по лестнице вниз и на улице жадно вдохнула вечерний воздух, очутившись в зелени Пречистенского бульвара.

Вдруг мне навстречу со скамейки поднялся какой-то мужчина. Это был Львов. Я очень удивилась и спросила:

— Какими судьбами?

— Я здесь случайно, — ответил он. — Но где были вы? И почему вы так взволнованны?

Он взял меня под руку, и мы пошли.

Пройдя несколько шагов, я невольно обернулась. Мне показалось, что знакомая худощавая и стройная фигура мужчины мелькнула сзади нас, и когда я оглянулась, то эта тень свернула на боковую аллейку.

— Что с вами? — спросил Львов.

— Так, ничего…

Львов посмотрел на меня настолько многозначительно, что мне стало ясно, что он знает все. Он слегка сжал мою руку:

— Не оборачивайтесь и не волнуйтесь! Он не посмеет при мне подойти к вам. Время его инсценировок прошло… Ах, Кэт-ти, Кэтти! Как вы беспечны и легкомысленны. Можно ли так рисковать, бывая у этого негодяя?.. К тому же вы должны помнить о том, что вы дочь вашего отца…

И Львов начал читать мне длинную и скучную проповедь о нравственности.

Но я не слушала его. Я была бы в эту минуту рада любой дружеской руке, любому человеку, идущему со мной рядом. Конечно, Владимир выскочил следом за мной и на улице продолжал бы эту клевету.

Казалось, ушат грязи, вылитой к моим ногам, еще отравляет воздух своими испарениями.

Запись на другой день

Сегодня сама Елизавета Дмитриевна вызвала меня запиской к себе на Знаменку. Я подходила к дому его родителей с тяжелым чувством. Невольно вспоминалось, как он был привезен туда от Склифосовского, как я пришла к нему, как мы были с ним счастливы… Мама пустила меня на это свидание к Елизавете Дмитриевне с большой неохотой и только потому, что она верила моему честному слову, а я его дала в том, что Владимир никогда не будет моим мужем.

Елизавета Дмитриевна сама открыла мне дверь, бледная, со следами недавних слез на лице.

В гостиной было много людей: Николай Николаевич вел прием больных. Слава Богу! Значит, он занят и я его не увижу.

Елизавета Дмитриевна провела меня по знакомому коридору прямо к себе в комнату.

— Спасибо, что пришли, — сказала она. — Я вызвала вас только для того, чтобы сказать вам, что Володя был близок к самоубийству. Придя к нему неожиданно, я прочла его дневник… Там был записан день, когда он собирался покончить с собой. Слава Богу, этот день прошел, но эта минута отдалилась только потому, что он еще надеется. — Она остановилась и, посмотрев на меня пытливо, продолжала: — Я не хочу вас обидеть, но неужели вы обычная бессердечная кокетка? Неужели способны ради спорта увлечь молодого человека и довести его до такого отчаяния? Что вас останавливает от брака с моим сыном? Не бойтесь ничего. Вы будете жить лучше, нежели живете сейчас. Никакая кухня, никакая стряпня вас не коснется. Вы будете жить отдельно, в своем уголке, обедать будете ходить к нам. Я буду

ухаживать за вами, как за родной дочерью. Никакой нужды не бойтесь. Ее не будет…

— Что вы! Что вы! — перебила я ее. — Не говорите мне об этом! Не уговаривайте, не спрашивайте, наш брак невозможен!

— Тогда объясните мне, зачем же вы совсем недавно согласились быть его женой? Значит, это была комедия, ложь с вашей стороны?

— Нет… — Я набралась духу, чувствуя, что делаю святотатство, говорю матери слова, которыми сожгу ее сердце, но вместе с тем я призвала все мое самообладание. Молчать было нельзя, ведь без объяснения мое поведение действительно могло казаться подлым. — Да, я его любила и сейчас еще люблю. Но я должна с ним расстаться. Он нас обокрал! Ее глаза сразу точно потухли.

— Не может быть… — упавшим голосом произнесла она. — Он не может этого сделать… он же мой сын… Господи, да что же он мог украсть? Неужели что-нибудь ценное… или, может быть, какую-либо безделицу о вас на память?.. Наконец, если вы его любите, ведь любовь прощает… — Нет, — сказала я, — здесь дело совсем не в морали. Когда любят, разве считают добродетели и взвешивают нравственные качества человека? Но если человек входит в ваш дом, разыгрывает влюбленного в вас и в минуту, когда он добился вашего ответного чувства, крадет хитро, ловко, мастерски и рассчитано умно у своей любимой…

— Замолчите! Замолчите! — перебила она меня. — Я не хочу… я не могу слышать такие вещи о моем сыне… Ах, Китти, Китти… — Она вдруг, обняв меня, беспомощно заплакала. — Я не знаю, что он сделал, может, сошел с ума, но он обожает вас… Простите его! Простите… ради меня…

Я плакала уже с нею вместе:

— Я простила его, давно простила… Я ни капли не сержусь, Бог с ними, с вещами, с золотом. Разве дело в том, что он украл и сколько? Мне ничего не жаль, поймите это… Дело в том, что я ему больше не верю, нельзя иметь близкого, родного, которому не веришь, нельзя…

— Значит, мой сын вор? — отерев слезы, вдруг холодно и почти враждебно спросила она.

— Да, — ответила я, почувствовав, как невидимая зияющая пропасть легла между нами.

— Тогда я не смею больше ни о чем вас просить. — Голос ее стал очень тихим. Протягивая мне какие-то вырванные с золотым обрезом листы, она добавила: — Вот возьмите и прочтите дома. Я нашла это в его дневнике. Может быть, займете этим свой досуг… А может быть, ваше сердце дрогнет…

Я взяла поданные ею листки и не помню, как вышла в переднюю. У самых дверей Елизавета Дмитриевна вдруг тронула меня за плечо.

— Ах, я забыла, — сказала она, и в полутемноте передней я вдруг опять увидела во взгляде ее знакомый взгляд милых, глубоких, мягких глаз Владимира. — Он сказал, чтобы я спросила вас, не забыли ли вы данную вами клятву прийти к нему еще только один, последний раз?

— Помню и сдержу… — Но как вам дать знать? Дубов по своему телефону вызывает только Екатерину Прокофьевну. Письма к вам перехватываются, на улицу вас тоже одну не пускают…

— Я сказала, что приду. Мама пустит меня. Она знает, что это будет наше последнее свидание, меня никто не посмеет не пустить.

Я вышла на лестницу, сдерживая слезы, но они лились против моей воли, застилая мне глаза, и я, не видя ступенек, держась дрожащими руками за перила, еле-еле спустилась по лестнице и вышла на Знаменку.

Дома мама и Валюшка дожидались меня с большим нетерпением. Мама спросила меня, как будто не придавая этому вопросу никакого значения:

— Что-нибудь изменилось в твоем решении?

— Ничего.

Валюшка насмешливо сверкнула своими черными глазами:

— Наверное, мать тебя уговаривала. Она, может быть, сама участвовала в его подвигах? Нечего сказать, хороша семейка!..

— Я думаю, что он болен, — стараясь сама себя в этом уверить, ответила я. — Оставьте, не будем больше говорить обо всей этой истории!..

Я хотела сесть в тишине и начать читать данные мне Елизаветой Дмитриевной листки Володиного дневника, но в это время раздался звонок и пришел Виталий звать меня идти с ним вместе в Дом печати на выступление Маяковского.

Я была не в силах видеть людей, а тем более участвовать в каких-либо развлечениях, и мы решили с ним пойти в Александровский сад.

Только там, на широких его аллеях, среди высокой травы и густой листвы деревьев, я заметила, что лето подходило к концу. Кое-где уже мелькали желтые листья, и листва на деревьях выцвела от солнца, стала серовато-зеленой и выглядела пыльной. Приятно было войти в тенистый сад после душных улиц, на которых раскаленные дневным зноем тротуары и камни домов еще дышали теплом, наполняя воздух духотой.

Опускавшиеся сумерки казались нависшей серой пеленой, все более и более окутывавшей город.

Мы сели на скамью около грота. Виталий был из моих друзей самый красивый, самый юный, и он мне был приятен тем, что в нем не было столько неприязни и злобы к Владимиру, как у всех других. Я с отвращением вдруг вспомнила, что однажды, когда моя мама при Ричарде жаловалась на то, что Владимир портит мне жизнь, что из-за его писем и объяснений я не имею покоя, что он меня скомпрометировал и тому подобное, я увидела, как вдруг злобно нахмурился его лоб и в глазах мелькнул злобный огонек. Что-то волчье появилось в выражении его лица. Когда мама вышла, он вполголоса, чтобы не слышала Валюшка, обратился ко мне: «Скажите мне одно только слово, и если он вам мешает, если только ваш покой отравлен, прошу, скажите слово — и я уберу его…»

Видя же, что я смотрю на него, плохо понимая, что он этим хочет сказать, он сложил руку свою так, точно в ней держал револьвер, и приставил ее к своему виску. «Понимаете?.. — тихо спросил он. — Я сделаю это чисто… без всяких следов… только разрешите…»

«Бог с вами! Бог с вами!» Я даже схватила его за руку, а в памяти встало лицо Владимира и erg слова: «Да, конечно, он Бронзовый Джон из притонов Нью-Йорка, потрошитель, а может быть, и наемный убийца…»

— Китуся! Прошу вас, не думайте ни о чем, не надо, — ласково сказал Виталий, видимо, угадавший, что я занята всякими неприятными воспоминаниями. — Вспомните надпись на кольце Соломона: «Все проходит…» Лучше послушайте, я прочту вам мою поэму «Евгения», которую я докончил вчера…

В одном из переулков у Арбата,
Где в зданьях сохранилась старина,
Жила семья, она была богата,
Известна знатностью… теперь бедна.

В конце поэмы героиня романа умирает, и автор кончает поэму своим обращением к умершей:

…Как солнце осени — воспоминанье
Прозрачно озаряет жизнь мою,
С земли ушла ты в горькое изгнанье,
Но я живу, я помню, я люблю!..

— И в вашей поэме тоже смерть, — сказала я грустно. И, словно из груди моей вырвался долго сдерживаемый поток, я стала быстро, торопясь рассказывать ему то, что было на моей душе, кроме, конечно, подозрения Владимира в краже. Он слушал меня внимательно, терпеливо и серьезно и наконец тихо спросил:

— Но ведь вы же любите его, Китуся?..

— Да, люблю и не скрываю… Но должна с ним расстаться навсегда… Есть этому причина… Он же не понимает и мучает меня.

— Не мучайтесь, не тоскуйте, — мягко сказал Виталий. — Вы никогда не будете с ним счастливы. Представьте: прошел год, два, три… Вы жена, мать, хозяйка, у вас масса обязанностей — ведь вы одной мужской любовью жить не можете. Вам некогда читать, играть на рояли, писать, танцевать, вышивать, наконец, просто видеть людей и жить той жизнью, к которой привыкли сейчас.

— Но когда любишь мужа…

— А муж ваш все поет. По-прежнему вокруг него куча молодых, навязчивых девчонок. У квартиры дежурят, звонят без конца по телефону, надоедая и дергая вам нервы. Вы натыкаетесь всюду на розовые, голубые обрывки их писем, на просьбы о свидании. А на эстраде вы видите, как ваш муж обнимает и целует то одну полуобнаженную опереточную диву, то другую, а еще хуже, если у него одна и та же партнерша, и вы ревнуете, тем более что все кругом шепчутся, говорят, почти не стесняясь, а злые сплетни уже шелестят о том, что муж этой артистки уже приревновал ее открыто к вашему мужу. Правда, это невеселая брачная жизнь?.. А вы, может быть, к тому времени уже с обезображенной фигурой ждете не первого ребенка. Вам нездоровится, вас тошнит, хочется покоя, а он с концерта на концерт с певичками в разъездах и дорожных флиртах, предположение о которых невольно напрашивается. Когда он дома, то весь в подготовке к выступлению: «Как звучит сегодня голос? Тускло? Ах, это ты вчера сделала острый салат… Ах, не охрипну ли я… Ты так долго проветриваешь комнату… Ах, не забыла ли ты спросить о том полоскании для связок?» И все в этом роде: голос, для голоса и о голосе.

— Да ну, замолчите, — засмеялась я. — Вы убедили меня только в том, что можете стать не только поэтом, но и писателем, у вас необыкновенно ярко звучит проза…

— Но я достиг своего, — весело сказал он. — Вы смеетесь — это награда мне.

Поздно ночью, когда мама уснула, я прошла в кабинет, села на мой любимый диванчик, на котором когда-то спал Владимир,

и развернула заветные, вырванные рукой его матери листки дневника…

Одна за другой мелькали записи, воскрешая передо мною памятные дни, разговоры, размолвки, примирения…

И вдруг запись:

Я еще живу. Гнусно на душе. Все опротивели. Делаю тысячи попыток выскочить из этой жизни… Встретил одну особу… Интересна. Познакомились, условились о встрече, и я не пошел…

Встретились с Галей К. Она давно меня интересовала, тем более что на попытки мои встретиться с ней всегда был уклончивый ответ. И вдруг согласилась. А я? Я тяну день за днем и не иду туда… Потом девушка из Ржевского: мила, красавица, очаровательна и бездна юности… Мы столкнулись, встретились и прошли мимо друг друга. Я не мог заставить себя даже говорить…

Люблю безумно Котика, мою радость, а она — камень. Не верю, что все умерло, не верю, что разлюбила. Просто держит себя в железных тисках, но на этот раз так долго, что я чувствую, что не выдержу. Смерть — вот лучший исход для меня из этой муки. А в голове все время вертятся слова Екатерины Прокофьевны: «Просто она не видит возможности достигнуть с вами блестящей жизни и во имя этого давит свое чувство к вам, а на серенькую жизнь она не пойдет».

Господи, вся душа вопиет против этого, ведь я раб ее, какую хочет работу пусть взвалит на меня, что хочет пусть требует от меня, лишь бы быть с ней. Я чувствую, что не донесу свой крест до конца. Сил нет. Жить нет сил. Только слабая надежда еще заставляет жить. Может быть, пожалеет. А вдруг чудо? Я не верю, что мог умереть для Китти, несмотря ни на что. Ведь она любила меня. Так неужели все умерло? Китти, родная, скажи, что любишь, скажи, что я близок и дорог тебе. Позволь любить тебя и быть твоим мужем… или смерть. Неужели ты каменная, есть же у тебя сердце… Мне все равно, пусть смеются над моей слабостью, но жизни без тебя нет. Или ты, или могила.

Китти, я умру без тебя, я люблю тебя и ревную до безумия, а если сдерживаюсь и молчу теперь больше, чем раньше, то потому, что боюсь потерять тебя. А иногда кажется, что не выдержу и прорвусь опять. Тебя окружают эти мерзавцы…

Что мешает мне прервать все это? Ах, если б сила и старый мой взгляд на вещи, я бы удалил все и всех, кто мне мешает. И не могу. Во имя чего щажу я всю эту свору, отнимающую у меня Китти — мою жизнь? Что за филантропия? Не знаю. И чувствую, что не могу разделаться с ними так, как бы хотел. Котик не дает. И мучаюсь, мучаюсь без конца. Выдержу ли? Кому-либо придется

уступить, им или мне… Один раз я уступил свое место, его заняла Е. П. Теперь?.. В себя или…

Котик, и умирая, буду благословлять тебя, люблю беспредельно тебя, а ты… ты обижаешь и мучаешь меня.

Зачем она дала мне этот дневник? Чтобы еще больше мучить меня?.. Я готова перенести любые муки, если бы они воскресили мою веру в него… Если бы он сознался, тогда, может быть, мне было бы легче. Но так искусно притворяться… Почему он не скажет: «Ну да, я взял, на меня нашло такое состояние. Делая это, я предполагал то-то и то-то…»? Ведь любое раскаяние лучше, нежели видеть, как любимый тобою человек смотрит тебе в глаза и лжет, лжет…

Е. П. Мещерская — Н. В. Львову

Не упрекайте меня, дорогой друг, в том, что я недостаточно зорко слежу за моей дочерью. Поверьте, я знаю ее лучше, нежели Вы. Опасный момент уже прошел, и сейчас есть такое обстоятельство, из-за которого она лучше предпочтет смерть, нежели замужество с ним.

Вы видите, как я спокойна? Будьте спокойны и Вы.

Нам более ничего не страшно: мы уже видели и угрозу бритвой, и вскрытую вену, и еще многое другое. Теперь я сообщу Вам нечто новенькое, а именно: вчера у нас была его мать. Я была обрадована, увидя ее успокоенной и даже повеселевшей.

Представьте себе, она рассказала нам, что ее Володя образумился и переродился после того, когда наконец убедился, что Китти его не любит и никогда не будет его женой.

По этому случаю он возвращается к жизни и начинает снова петь. Вы ведь знаете, что он временно даже ушел из «Оперетты»?

Его мать пришла к нам по его поручению. Он просит Китти прийти к нему в последний раз, так как дает свое честное слово в том, что после этого свидания оставит ее в покое навсегда.

Конечно, смешно верить честному слову человека, который его не имеет, так как лишен чести. Но я не могу отказать моей дочери в этом свидании. Она убедилась, что этот негодяй не так беззаветно ее любит, как он ее уверял, и что этот фигляр очень быстро воскрес к жизни, чему есть уже наглядные доказательства.

Он не имеет (как говорит его мать) еще сил вернуться в «Оперетту», но скоро начинает свое выздоровление выступлением в «Славянском базаре», правда, пока еще очень незаметным: его уговорила некая Гартунг выступить вместе с ее студией. Прочтя в афишах, расклеенных по городу, что он выступает, его истерички уже разбили стекло в театральной кассе при покупке билетов.

Не волнуйтесь, и пусть Вам не кажется, что я недостаточно учитываю все обстоятельства. Поверьте, все кончится гораздо скорее, чем Вы это предполагаете. Приходите!

Е. П. Мещерская

Дневник Китти

Вечером Владимир встретил меня у себя в белоснежной манишке, в черном концертном фраке, с белой астрой в петличке. Хотя его обычно бледное лицо было еще бледнее, чем всегда, однако я никогда не видела его столь привлекательным, каким он был в этот вечер.

В комнате всюду стояли цветы в плетеных корзинах из магазина, с высокими круглыми ручками.

— Ты пел вчера? — невольно спросила я. — И откуда ты сейчас в таком параде?

— Этим цветам уже три дня. Они, наверное, не хотели завянуть, они ждали тебя. — Он улыбнулся своей шутке. — А почему я в параде?.. Но ведь сегодня наш последний вечер. Я не хочу больше стоять на твоем пути.

— Если ты под словом «путь» подразумеваешь замужество, то оно для меня исключено.

— Да нет… дело не в этом. Ты же требуешь, чтобы я тебя оставил, ты не веришь мне больше… К тому же еще эта история с Валькой… Ты ослепла, ты… Ну, об этом уже все сказано, — перебил он вдруг резко сам себя. — Ты видишь, я ждал тебя. — Он указал глазами на стол, уставленный закусками для ужина и всякими сластями. На подносе стоял, блестя начищенными боками, фыркая, кипящий самовар.

— Ах, Володя, Володя, без твоего любимого самовара чай не в чай и вечер не в вечер, — улыбнулась я ему в ответ, чувствуя, как в груди вдруг больно-больно защемило.

— Ну, прежде всего музыка! — Он подвел меня к роялю. — Знаешь, первое, что я хотел бы спеть, это «Тихо реет ночь…». Помнишь? Колыбельная, которую я пел, когда в первый раз пришел на Поварскую.

Мы оба были счастливы ни о чем не говорить, мы оба искали в музыке забвения, топили в ней все, что мучило и терзало каждого из нас… Потом мы ужинали, пили чай. Потом опять погрузились в музыку и пение. Володя очень просил меня спеть «Последний аккорд» Прозоровского, он любил мне сам аккомпанировать, но я отказалась, не объяснив ему причины. Я боялась раскрыть рот, чтобы не разрыдаться, чтобы не прервать рыданием эту фальшивую, искусственно созданную и стоившую огромных мук атмосферу беспечности и лживой веселости. Я

очень опасалась помешать его благоразумному решению со мной расстаться и никогда больше не видеть меня.

А он все пел и пел… Его темные глаза были особенно блестящими и часто останавливались на мне с каким-то новым, совершенно незнакомым выражением. «Что это с ним?» — тревожно спрашивала я себя и, не находя ответа, старалась казаться веселой и смеялась. А он доставал все новые и новые нотные тетради.

— Не могу больше! Пальцы устали! — сказала я наконец, уронив руки на колени.

— Но ведь это в последний раз! — попросил он ласково.

— Не могу! Посмотри, уже второй час ночи! Он спохватился:

— Ах да… Проклятая стрелка, как быстро она бежит. Он встал, подошел к шкафчику, висевшему на стене, вынул из него перевязанную пачку и положил ее мне на колени.

— Что это?!

— Твои письма…

— Вот этого я от тебя никак не ожидала! — вспылила я. — Почему ты их не сжег? Почему? Хотел по шаблону цыганского романса: «Вот ваш портрет и писем связка»? Или ты делаешь это, чтобы дать пощечину моему самолюбию?..

— Что ты! Что ты! — Он схватил мои руки, покрывая их поцелуями. — Глупая ты, я не хочу, чтобы они попали в чужие руки, ты писала, когда немножечко любила меня… Я не могу разорвать ни одного листка, написанного тобою! — И добавил, горько усмехнувшись: — Скоро ты снова поверишь в мою любовь… когда я докажу тебе, как легко мне расстаться с жизнью…

— Опять? Опять? — воскликнула я. — Что ты пугаешь и мучаешь меня? То вену вскрыл, то хотел маму зарезать… Как тебе не стыдно! Ты ничего с собой не сделаешь, а просто тебе нравится мучить меня. Я устала, устала от всего того, во что ты обратил мою жизнь! — Не выдержав, я заплакала. — Вот и сейчас все у тебя какая-то театральность: «последний вечер», фрак, какой-то глупый парад, какие-то многозначительные фразы… Разве ты не видишь, как мне самой тяжело?

— Вижу, вижу. — Он тоже заплакал.

Мы оба сели на диван, слезы наши смешались. Мы сидели обнявшись, он утирал мне слезы, утешал меня, ласково целуя и гладя мои волосы.

— Не надо… Не надо, успокойся! — тихо шептал он мне. — Ведь так сложились обстоятельства, сама знаешь, ты больше не веришь мне, моей любви… С этим клеймом я не могу жить… Только прошу тебя: сдержи данное мне слово и никогда не

снимай с пальца мое кольцо… — Он сжал и поцеловал мою левую руку, на которой было надето подаренное им кольцо.

Я взяла пачку моих писем. Встала, чтобы идти. Мысли в голове моей путались. Я не знала, что делать.

Я не могла поверить в то, что он может покончить с собой. Я плакала и страдала оттого только, что сама дала слово не видеть его и расстаться с ним, в то время как я любила его. В голове неотступно звучала фраза Валюшки: «Раз у него не удался план овладеть полностью всем тем, что ты имеешь, он был рад попользоваться хотя чем-нибудь».

Почти у самых дверей Владимир неожиданно меня остановил.

— Подожди, сядем на минутку. — Он усадил меня на диван. — Скажи, ты отдала то розовое платье портнихе?.. Помнишь, из мятого китайского шелка?

— Платье?.. — Я была поражена столь странным поворотом разговора. — Да… кажется… вроде бы мама отдала… А что?

— Когда же оно будет готово?

Он смотрел на меня как-то очень странно, его лицо стало вдруг чужим, неприятным, и где-то в глубине его глаз, как мне показалось, вспыхивали какие-то красноватые огоньки.

— Вовка! Вовка! Что с тобой? — закричала я, схватив его руку и тряся ее. Он вскочил, провел по своему лицу, точно смахивая какую-то невидимую паутину.

— Иди, иди, — быстро заговорил он, задыхаясь, — немедленно, сейчас же уходи! Ну что же ты стоишь? Уходи! — И он даже толкнул меня.

— Вот теперь-то и не уйду! Потому что мне страшно, я и не уйду. — Я крепко обняла его. — Что случилось? Мне так страшно стало, и ты вдруг тоже показался мне странным! Что с тобой?..

Он отстранил мои руки и подошел к дивану, быстрым движением откинул подушки. За ними лежал маленький блестящий браунинг.

— Я хотел сначала в тебя… потом в себя… Но не смог… И теперь ухожу один, оставляю тебя. Ты так доверчива, так доверчива. Боже мой! Невозможно причинить тебе зло, нет… не хватило у меня на это духу… — Бросившись на диван, он закрыл лицо руками.

Не сказав ему ни слова, я вышла из его дверей и медленно стала спускаться по лестнице к выходу. Я слышала за своей спиной его шаги и ни минуты не была уверена в том, что сейчас мне в спину не грянет выстрел.

Но у самой двери он нагнал меня и ласково взял под руку. Со мной был прежний — нежный и ласковый Владимир.

Всю дорогу домой я проплакала. Я сознавала, что он вор, к тому же не желавший в этом раскаяться, сознавала, что дала маме слово оставить его, расстаться с ним навсегда, и, несмотря на это, хотелось броситься ему на шею, прижаться, остаться с ним навсегда, простить, забыть все, поверить снова в его любовь… Я еле-еле сдерживала себя.

— Зачем ты плачешь? Котик, ну скажи, зачем? Ведь ты же сама отталкиваешь меня! — говорил он. — Завтра меня не будет, и опять ты будешь плакать… А потом пройдет время, пройдут годы… Но никогда, никогда уже не сможешь ты быть счастливой! Никогда. Никто не сможет любить тебя так, как я люблю. Я желаю тебе счастья, но знаю: моя любовь навсегда отравит тебя…

У наших дверей он попросил меня перекрестить его.

— Я крещу тебя только для того, чтобы ты был благоразумен! — говорила я, крестя и целуя его. — Прошу тебя, живи, будь счастлив! Живи!

Так, целуясь и плача, мы крестили друг друга. Неожиданно распахнулась дверь нашей квартиры, и мы увидели маму, стоявшую на пороге. Я вырвалась из его объятий и вбежала в квартиру. Дверь за мной захлопнулась.

— Китти, ты с ума сошла, уже скоро рассвет, — взволнованно отчитывала меня мама. — Я не знала, что подумать! И опять у вас нежности… Ты можешь целовать этого негодяя, вора? Что с тобой? Что это все значит? Что?..

Я махнула рукой и, рыдая, прошла по коридору в наши комнаты.

Там меня с нетерпением и любопытством ждала Валюшка. Она рассказала, что мама волновалась, плакала и много раз подходила к парадной двери, пока наконец не услыхала нашего разговора у порога. Тогда она открыла дверь.

Я, как могла, плача, обрывками рассказывая, сообщила им все, что было в этот вечер, не утаив ни одной подробности.

Мама страшно возмутилась:

— Мерзавец! Смел еще думать умереть вместе с тобой! Умереть в объятиях вора! Какая честь для княжны Мещерской!

Валюшка дико хохотала.

— Новая комедия! — давясь от хохота, говорила она. — Ты нас всех уморишь! Альфонс, обобравший свою тетку, обокравший тебя, негодяй, симулирующий самоубийство, темный тип… И из-за него ты плачешь? Ты просто дура! Не перечь! Останется жив! Такая дрянь не умирает. Завтра утром позвонишь и услышишь его тенорок!..

Так, слово за слово. Валя с мамой стали убеждать меня, а я слушала их, сидя за столом, и рвала свои письма, которые он мне

только что отдал. Слова любви, ссор, примирений, нежности и ласки превращались в моих руках в мелкие обрывки, которые росли передо мной горкой мусора. Вставало солнце, когда я с сильной головной болью легла и забылась, скованная какой-то полной кошмарами дремотой.

Утром первой моей мыслью было: жив ли Владимир? А вдруг?.. Было воскресенье, и мама велела мне надеть все белое и идти с ней в церковь. Я молча повиновалась. Пока я одевалась, она читала мне долгую нотацию о моем поведении, о том, что я после всего «этого» теперь должна раскаяться, исповедаться, причаститься, начать другую жизнь, а так как священник был нашим знакомым и ее другом, то в душе моей я не сомневалась, что эта исповедь была нужна не столько моей грешной душе, сколько ее материнскому любопытству, так как после исповеди она могла бы спросить у священника, насколько далеко зашли мои отношения с Владимиром…

В это время к нам в дверь вошла Валюшка, в пальто и шляпе, с каким-то необыкновенно злорадным выражением лица.

— Ты уже выходила на улицу, Валя? — удивилась мама.

— Да, специально ходила в автомат, звонила самоубийце. Он жив-живехонек-целехонек, сам подошел… Ну я, конечно, бросила трубку. Противно слышать голос этого кривляки. И из-за подобного типа ты способна лить слезы?.. Ну и дура! Не давала нам всю ночь спать своими глупыми предчувствиями!

— А ты что? Ты, я вижу, безумно бы хотела, чтобы он покончил с собой? — спросила я ее, почувствовав какое-то злое подозрение, шевельнувшееся в моей душе: почему она так ждала его смерти, почему сердилась на то, что он мне дорог и что я хочу, чтобы он жил?.. Но она смотрела на меня ясными, ласковыми глазами.

— Еще и еще раз скажу тебе: ты дура! — уже весело бросила она мне и, махнув безнадежно на меня рукой, вышла.

— Мама, — сказала я, — подождите меня немного, я хочу на минутку видеть Илью Ефремовича.

Мама ничего не ответила, она видела, что я мучаюсь, и не стала мне прекословить или о чем-либо меня расспрашивать.

Быстро поднявшись на верхний этаж, я позвонила в дверь квартиры № 7, которую занимала Е. К. Катульская. Мне открыла ее домработница. Я прошла по коридору и постучалась в последнюю дверь направо.

Увидев меня в такой необычный час, Илья Ефремович был удивлен, обрадован, хотел что-то сказать, но я сама быстро заговорила, торопясь и волнуясь:

— Помогите мне! Я никого не могу просить, кроме вас! Все

вокруг ждут… нет, не только ждут, а просто жаждут его смерти! Вы один благородный, гуманный человек, я верю вам, вы должны сделать все, чтобы его спасти. Ради меня! Прошу… — Говорите, я слушаю. — Лицо его было серьезно.

— Дайте карандаш и бумагу, вот телефон его родных на Знаменке. Звоните немедленно, вызовите его мать, просите, умоляйте ее сейчас же пойти туда, к нему, и ни на минуту не оставлять его одного. Что хотите скажите, наконец, не скрывайте, скажите, что вы сами слышали наш с ним разговор, что он решил покончить с собой. Торопитесь!

Илья Ефремович обещал все исполнить и, как мог, успокоил меня.

Я спустилась вниз. Мама уже ждала меня на лестнице.

Обедня была необыкновенно торжественная, длинная, так как служил какой-то архиерей, и я, измученная опасениями и тревогой, сама не знаю каким образом решила обмануть маму: пользуясь теснотой и давкой, не дождавшись окончания службы, пробралась к выходу и, предательски оставив маму, ушла из церкви.

Очутившись на улице, я бежала как безумная — туда, к концу Пречистенского бульвара, к серому знакомому особняку. Но когда оставалось только выйти с бульвара и, спустившись, войти и позвонить у дверей, вдруг силы оставили меня, и я опустилась на скамейку бульвара, жадно вглядываясь в его окно. Прийти после того, что было вчера, после такого прощания? Прийти — зачем? А вдруг это игра, вдруг он куда-нибудь собирается в гости? А может, вызванная Ильей Ефремовичем мать уже там, у него? Как глуп будет мой приход, как смешон и неуместен! Ах, Боже мой! Если бы только он хотя бы подошел сейчас к окну, живой и невредимый!..

Сидя там, на Пречистенском бульваре, против его окна, я не знала, что это были последние минуты его жизни, что, может, именно в эти минуты он страстно звал меня, а я сидела тут, рядом, совсем близко! Если б я знала, что в своем волнении я перепутала номера телефонов и дала Илье Ефремовичу телефон не его родителей, а его собственный, из-за чего спутались все мои расчеты…

Просидев полчаса, я взяла себя в руки и пошла домой. Я шла, заранее готовясь к новой маминой нотации и упрекам, но мне было все глубоко безразлично.

Мама действительно была уже дома и начала сейчас же что-то говорить мне. Не слушая, я швырнула куда-то мою шляпу, бросилась на кровать, и в эту же минуту в передней послышались тревожные звонки — один, другой, третий, четвертый… Я как

сумасшедшая побежала в переднюю, но дверь уже открыл Алексеев, и все жильцы выскочили из своих комнат. На пороге стоял мужчина. Я сразу узнала его. Это был жилец из квартиры Владимира.

— Здесь живет Екатерина Александровна Мещерская? — задыхаясь, тяжело переводя дух, спрашивал он, вопросительно оглядывая всех. — Вот, Владимир Николаевич Юдин только что застрелился, просил ей передать письмо и немедленно прийти, он велел идти прямо за вами, а потом на Знаменку, за его матерью…

После этих слов все потемнело в моих глазах, ледяной холод пополз по ногам вверх, подступая к сердцу, и я потеряла сознание…

Я пришла в себя на своей постели. В комнате стоял едкий запах эфира, на левой моей руке желтело пятно от йода, по которому я поняла, что мне делали инъекцию камфары. Я поднялась и быстро села, мама тотчас подбежала ко мне. В комнате были еще старушка Грязнова и Валюшка, они тоже подошли к моей постели.

— Что с ним? Он еще жив? Я иду к нему, — сказала я решительно.

— Ты никуда не пойдешь! Никуда! — так же решительно ответила мама, властно откинув меня рукой обратно на подушки. — Его увезли в Пироговскую клинику, может быть, спасут, будут вынимать пулю. Тебе идти некуда!.. Ляг. Доктор запретил тебе вставать. Неужели из-за какого-то сумасшедшего ты допустишь, чтобы тебя перекосил какой-нибудь нервный паралич? Если так, то тебе лучше было выходить за него замуж!..

Я легла. При каждом движении боль в сердце усиливалась и тошнота подступала к горлу. Через час из Пироговской больницы приехала сестра с запиской от Елизаветы Дмитриевны. Она писала о том, что только что была срочная операция и пулю вынули, но ее сын безнадежен. Он в полном сознании, просит меня прийти к нему проститься. Она присоединяется к его просьбе.

Моя мать объявила о том, что не пустит меня. Я сказала ей, что повешусь. Тогда она испугалась и согласилась.

Подъезжая к больнице, я увидела около ее подъезда много народа. Это были его поклонницы, среди них я сразу узнала стройную фигуру Веры Головиной.

Мамины глаза холодно и строго остановились на мне.

— Ты поняла, что он умер? — сказала она. — Там теперь лежит не живой человек, а труп. Его мать в слезах отчаяния — около него, ее сына, убитого — как ей, безусловно, кажется — нами. Как ты войдешь туда? Как? Зачем? На ее суд? Наконец, ты

видишь толпу этих истеричек? Тебя еще, чего доброго, какая-нибудь из них обольет кислотой из мести… Да и вообще это будет неприличная сцена! Ты должна пощадить меня, твою мать!..

Она велела нашему извозчику повернуть и везти нас обратно на Поварскую. Еще долго она говорила что-то о покойном князе, который от ужаса и стыда за меня, свою дочь, переворачивается в своем гробу… Его отпевали в церкви Бориса и Глеба на Арбатской площади и похоронили в Донском монастыре.

Я не была на похоронах и не простилась с ним. Конечно, в маминых словах была доля правды. Он был певец. В Москве его знали. Эта история наделала шуму. Мое появление было бы, как мне казалось, неуместным и нетактичным, а его мертвому телу это было не нужно. Я около его гроба стала бы только зрелищем для любопытных глаз и злых языков.

— А вот теперь я на твоем месте обязательно пошла бы в церковь, — объявила Валя. — Я завидую тебе! Это шикарно: такой певец из-за тебя застрелился! Кому это может быть не лестно!

— Ты глупости говоришь, Валя. Я не пошла по многим причинам, и первая из них та, что это уже непоправимо. Я не воскрешу его. Он был так талантлив… Пусть его не осуждают и не смеются над ним за его выбор. Пусть думают, что та, которую он любил, была прелестна…

Вот подлинники его писем и записок, переданные нам в день, когда он застрелился, 14 августа, в воскресенье.

Екатерина Прокофьевна, прощайте. Знаю, Вы рады будете моей смерти. Я любил Вашу дочь больше всего на свете. Вы отняли ее у меня. Жить больше не для чего. Храните ее и не толкайте на мерзости. Клянусь Вам, если Вы обидите ее, я жестоко отомщу Вам с того света. Умираю, благословляя Котика. Не обижайте мою милую, хорошую девочку.

Вл. Юдин.

Далее следует его письмо, начало которого я сожгла, так как в нем Владимир обвинял в воровстве Валю Манкаш (теперь Валентину Константиновну Фадееву-Товстолужскую), и у меня остался только второй лист этого послания:

…таточно было на неделю потерять тебя из виду, чтобы ты окончательно подпала под влияние этих людей, которые заодно с твоей матерью устраивают свои делишки, играя на твоей жизни. Ведь один убеждает тебя в том, что ты летишь в пропасть, другой спасает, третья продает всем, у кого есть деньги…

Думаю, что моя смерть раскроет тебе глаза на все, и ты сумеешь лучше разобраться, кто как к тебе относится…

Твой отказ позволить навестить тебя был последней каплей, переполнившей мои муки… А твое требование не видеть и не писать тебе решило мою участь. Я давно был готов к самому худшему, не ожидал только такого быстрого конца, а в последний раз даже мелькнула надежда на счастье. Лгать больше не могу, было два выбора: ты или смерть… Письма твои я тебе все вернул, не хотелось, чтобы попали в чужие руки… Твой медальон и прядь твоих волос пусть положат со мною. Это мое последнее желание. Твои волосы у меня в зеленом конвертике, в шкафчике на стене… Приди, если сможешь, проститься… Ведь мне думается, что тебя не пустят ко мне. Но умоляю прийти, если сможешь… Всегда буду с тобой. Благословляю тебя.

Володя.

Котик, кто-то звонил ко мне и вызывал мою маму. Я удивился и спросил: «Кто это?» — «По делу». Тогда я дал мой телефон нашей квартиры на Знаменке.

Судя по голосу, это был Эфромс. В последние минуты пришлось лгать. Я пошел к маме и узнал, что кто-то предупреждал ее так: «Я случайно был свидетелем разговора вчера между вашим сыном и одной барышней. Он хотел отравиться. Предупреждаю вас…» — «Кто вы?» — спросила мама. Он не ответил.

Очевидно, это дело рук твоей матери. Кто же иначе мог это сделать и кто мог знать, что мы вчера виделись? Очевидно, ты проговорилась обо всем маме, а та, конечно, сейчас же сообщила обо всем кому-либо из своих советников.

Я сумел убедить маму, что это все ерунда, и все равно умираю. Ведь жить без тебя я не могу.

Володя.

* * *

Прошло пять лет. Я вернулась в Москву после долгого отсутствия и оказалась здесь без службы, без средств и без крова. Мама в то время жила у Беляевых как воспитательница их детей и тоже не имела своего угла. Тогда, в 1921 году, после самоубийства Владимира Валя почему-то не хотела ни одной минуты оставаться с нами на Поварской. Она должна была стать владелицей большой прекрасной комнаты в нашей квартире, которая некогда принадлежала моему брату. Комната была обставлена нашей мебелью. Но никакие мамины и мои уговоры не могли удержать Валю. Она выходит замуж за инженера Е. Ф. Павлова, с которым познакомилась, служа в ЦУС.

Валя уехала, а к нам подселили чужих людей, которые завладели всей обстановкой.

Через некоторое время оказалось, что жить Вале с ее мужем негде, так как Е. Ф. жил с матерью и братом. Еще через некоторое время меня очень удивило то, что один Валин поклонник, глубокий старик (адвокат), купил ей прекрасную большую, в два окна комнату, в которую она въехала со своим мужем.

Кто же был этот старик и мнимый, как оказалось потом, благодетель?.. Небезызвестный по моим воспоминаниям Василий Тимофеевич Костин, тот самый присяжный поверенный, который, ведя мамины дела, попался в мошенничестве, был уличен, против него было возбуждено дело; ему грозили суд и запрет когда-либо заниматься адвокатской деятельностью. Тот самый Костин, которого в свое время пощадила добрая мама, простив его и остановив это уголовное дело (поскольку мама являлась пострадавшей, это было в ее руках).

И вот этот самый Костин, жадный, отвратительный старик, имевший жену с двумя детьми от ее первого брака, старик, переменивший несколько жен и даже не собиравшийся жениться на Вале, скупой настолько, что никогда не подарил ей коробки конфет, вдруг купил ей комнату, чтобы она жила в ней с другим, молодым мужем. Но все эти сомнения не тревожили меня, тогда верившую в необычайные отношения, а прежде всего безгранично любившую Валю…

Итак, в 1926 году я нашла Валю в прекрасной солнечной комнате. Кроме того, она была обладательницей пианино, новой швейной машины фирмы «Зингер» и маленькой пишущей машинки. Простая женщина, некая Марфуша, жившая в этой же квартире, ей прислуживала, так что Валя жила прекрасно.

Я пришла к Вале, уверенная в том, что найду у нее приют и хотя бы временную прописку, не имея которой мне ни минуты нельзя было оставаться в Москве. Я не могла даже предполагать, что она может мне отказать. Все трое Манкаш столько лет жили у нас, мама столько им делала, да и вообще я считала ее моей сестрой. Тем более что я дала ей честное слово сделать все, чтобы как можно меньше жить под ее кровом. Но она, встретив меня очень радушно и ласково, дала мне ключи от своей комнаты, сказав, что я могу пользоваться ею как своей, но… но жить я у нее не могу и прописаться тем более, так как против меня очень настроен ее муж Евгений.

Евгения я знала с 1921 года. Это был добрый, великодушный, гуманный и в высшей степени благородный человек. Мы были с ним очень дружны, мне казалось (что он позднее и доказал), что он все был готов для меня сделать, но… Вале я верила безгранично, и мне только оставалось огорчиться тем, что Евгений так изменился ко мне.

Меня приютила бонна Беляевых, Ольга Николаевна, у которой я и поселилась на шестом этаже в доме в Верхне-Кисловском переулке. Условия жизни моей были неважными. Чтобы попасть к Ольге, в ее маленькую комнатку, надо было пройти большую, проходную, в которой жила молодая пианистка с теткой. Когда их не было дома, они не оставляли ключа, их комната была заперта, и попасть в комнату Ольги было невозможно. Ей это было не важно, потому что она уходила рано утром (к Беляевым), а возвращалась поздно ночью. Лифта в доме не было, и мне, с больным сердцем, было очень тяжело несколько раз в день, а иногда и зря, подниматься на шестой этаж. Особенно бывало тяжело, когда в жестокий мороз зимой я бродила по улицам, так как квартира в Верхне-Кисловском была закрыта, а в Средне-Кисловском, где жила Валя, стояла на окне в виде условного знака лампа. Это означало, что она принимает Костина и к ней тоже нельзя.

Несмотря на такие условия жизни, Евгений быстро устроил меня на службу к себе в «Радиоконструктор». Я была секретарем коммерческого директора, некоего Политти. По-прежнему у меня была в Москве масса друзей, и мы с Валей жили очень весело.

Подошел Новый год, и мы встречали его в складчину большой компанией. Я заблаговременно решила купить то, что выпало на мою долю, и поэтому раньше всех пришла к Вале. Ни ее, ни Евгения еще не было; у меня были ключи, и, войдя в парадную дверь, я прошла в Валину комнату. Приятное тепло охватило меня после вьюжного новогоднего вечера. Камин был истоплен, комната убрана, и все было готово к приходу гостей.

Я подошла к столу, чтобы положить на него покупки, и… отступила, не веря своим глазам. Холодный ужас пополз к моему сердцу. Я смотрела, смотрела, боясь приблизиться и не в силах оторвать своих глаз от стола…

Передо мною на столе лежало наше ожерелье-змея.

Я взяла его в руки и тотчас бросила обратно на стол. Мне почудилось, что оно обрызгано невинной кровью застрелившегося человека. Мне казалось, я сплю или галлюцинирую… Не знаю, были ли это секунды, минуты, часы, которые я провела на грани того, что могла сойти с ума.

Меня отрезвил звук поворачиваемого во входной двери ключа. Я бросилась к пианино, открыла клавиатуру и, сев, начала что-то играть. Пальцы мои дрожали, плохо мне повинуясь.

Там, за моей спиной, на столе, лежала змея, неопровержимая улика и вещественное доказательство… Ах, Валя, Валя…

Дверь комнаты открылась, и Валя с Евгением, весело разговаривая, нагруженные покупками, вошли в комнату, отряхивая друг с друга снег.

— Ты уже здесь! — приветливо сказала Валя.

Я ничего не ответила, сердце мое сильно билось, но я продолжала играть. Я вся горела от невыносимого стыда за нее, которой всю жизнь так беззаветно верила.

Евгений подошел к столу. Почти тотчас я услышала его вопрос:

— Китти, вы, конечно, знаете эту прелестную Валину вещицу? — Он протягивал мне ожерелье, держа его в руке.

— Еще бы! Как же мне его не знать, если это ожерелье мое! — вполоборота повернувшись к нему, ответила я, сама удивившись чужому, точно деревянному звуку своего голоса.

И вот здесь, как я потом вспоминала, была минута, решившая все остальное. Спроси меня Евгений что-нибудь еще об этой змее, не знаю, что я ему ответила бы и как бы развернулись дальнейшие события, но он настолько привык к тому, что «Манкаши» все получали от нас, что решил, что и эта змея — наш подарок, и разговор на этом оборвался… Валя быстро вышла из комнаты. Я, уже овладев собой, продолжала играть.

— Не пора ли накрывать стол? — спросил Евгений, но в это время распахнулась дверь, и Марфуша, заглянув в комнату, закричала нам:

— Идите скорее в кухню! Скорее!.. Валентине Кинстинкинне плохо!

Мне пришлось присутствовать при очередном представлении: Валя валялась на полу в истерике.

— Я дрянь! Я отвратительная! Я гадкая! — между

всхлипываниями выкрикивала она.

— Детеныш, детка, малыш! Что с тобой? — взволнованно хлопотал около нее Евгений со стаканом воды в руке.

Тогда я поняла, что есть два выхода. Первый — начать тут же объясняться. Это означало разбить ее жизнь. Евгений, сам благородный, честный человек, так Валю идеализировавший, считавший ее сердечко добрым и чистым, мгновенно отшвырнул бы ее.

Второй выход был: простить и молчать. Владимир пять лет уже лежал в земле. Зло этого преступления было непоправимо. И я выбрала второе.

— Валя, — сказала я, подойдя к ней, — встань! К чему эти слезы? Давай никогда не будем об этом говорить. Так будет лучше для тебя и, пожалуй, для меня… — Я пересилила себя и поцеловала ее в щеку.

Знаю, этот поцелуй был предательством перед памятью того, кого я любила и потеряла. Но ее, живую, такую лживую, которая, как пойманная гадина, барахталась у моих ног и которую мне ничего не стоило морально раздавить, эту ничтожную тварь мне стало жаль, и я пощадила ее… На другой день, в первый день Нового года, я, поздравляя маму с праздником, мельком, будто припоминая, спросила:

— Мама, а не помните ли вы, кому мы продали наше ожерелье-змею?

— Как кому? — Мама даже привскочила, точно ужаленная. — Никому не продали, оно же лежало в коробке ценных вещей, в той шкатулке, которую украл этот мерзавец!

Я спросила маму потому, что у меня теплилась какая-то глупая надежда, что я ошибаюсь, что, может быть, Валя просто украла одну змею.

— Ту шкатулку, — спокойно глядя маме в глаза, сказала я, — украл не Владимир, а Валя. Вчера я держала нашу змею в руках.

И я рассказала маме все.

Боже! Что с ней сделалось! Описать невозможно!.. Она рвалась идти к Вале отнять змею, упрекала меня в том, что я этого не сделала, собиралась подать на нее в суд, опозорить ее на всю Москву и еще Бог знает что…

Я встала на колени перед моей матерью, поцеловала ей руки и попросила у нее за Валю прощения.

Я не защищала Валю, нет! Я постаралась раскрыть перед мамой душу этой вечно снедаемой нуждой и завистью девушки, которая чувствовала себя всегда «на чужих хлебах» и, как все «приживалки», ненавидела нас, своих благодетелей. И как мама ее ни записывала себе в дочери, а я в сестры, она только и ждала

минуты и любой возможности выскочить от нас. Владимир, появившийся в нашем доме, его безумное чувство, наше растерянное состояние было для ее преступления самым подходящим моментом. Тут же она купила комнату, другие вещи (про черный день), завела себе хотя и не регистрированного, но все-таки мужа, который, правда, ее все равно впоследствии бросил. Я доказывала маме, как бессмысленно и жестоко было бы разбивать ее только что налаженную жизнь, предав ее преступление огласке. Я говорила и настаивала на том, что наше прощение может ее переродить и морально поднять.

Слушая меня, мама вдруг как-то вся ослабела, взглянула на меня беспомощными глазами, расплакалась, поцеловала меня и согласилась. Верная своему слову, которое она мне тут же дала, она молчала до самой своей смерти (в 1945 году) и никогда не показала Вале виду, что ей что-либо известно.

А Валя?.. Она играла в большую дружбу со мной: дарила мне подарки, и были минуты, когда она помогала мне материально. Со стороны всем казалось, что она любит меня, но я шаг за шагом все более убеждалась в том, что, прикрываясь подарками, которые она мне делала, и всякими материальными услугами, она на самом деле ненавидит меня, ища каждого случая, чтобы всячески меня унизить, не брезгуя даже клеветой. Так это длилось до тех пор, пока я не порвала с ней навеки.

Я описала Валю такой, какой она была, но мне не хотелось бы, чтобы она казалась хуже, чем была на самом деле. В ней было и хорошее. По-своему она была мне предана и своеобразно, тоже по-своему, наверное, любила меня. Когда я болела, она самоотверженно за мной ухаживала, не боясь такой заразы, как дифтерит. В ней был цинизм, но не было испорченности. В ней была смесь наивности, простодушия и порока…

Кольцо, подаренное мне Владимиром, я вскоре после его смерти вернула Николаю Николаевичу Юдину по его требованию.

Это случилось месяца два спустя после смерти его сына, в поздний осенний вечер, когда я шла, задумавшись, по Староконюшенному переулку и передо мной неожиданно выросла фигура отца Владимира. Он с бесконечной ненавистью посмотрел на меня и произнес:

— Отдайте кольцо Володи!

Я стала снимать перчатку с руки и, пока стягивала непослушную лайку, просила его взять от меня два, три моих кольца, любых, на его выбор, дороже, ценнее, говоря, что Владимир просил меня не снимать это кольцо никогда, что бы со мной ни случилось. — Удивительно! — зло сказал он. — Жизнь моего сына не была вам дорога, и он был вам не нужен, а вот его

ценное кольцо вам нужно, дорого и необходимо!..

По-своему он был прав, и я послушно положила снятое мною кольцо на его протянутую ладонь. Я лишилась того, что связывало меня с Владимиром, но у меня осталось главное, никем неотъемлемое: его письма, кусочек его дневника.

«Сохрани все на память обо мне. Не уничтожай ничего!» — вот его слова, и я их исполнила.

Его фотография с трогательной надписью была у меня выкрадена одной из его поклонниц и передана его матери.

Послесловие

Зачем я написала это?! Чтобы унизить какую-то Валентину Константиновну?.. Конечно, нет.

Когда жизнь человека подходит к концу, невольно делаешь подсчет всему: поступкам, отношениям и чувствам. Многие люди несут к своей смерти тяжелый багаж сделанного ими в жизни зла, но не всякий имеет в этом страшном багаже такой смертный грех, как убийство ближнего. А меня в этом упрекали, и я в этом виновата. Я должна была облегчить мою душу исповедью хотя бы на клочках этой бумаги, исповедью, которую, наверное, никто не прочтет. Так же как никто не вспомнит о том, что когда-то жил певец легкого жанра Владимир Николаевич Юдин, застрелившийся из-за несчастной любви. Многое способствовало тому, чтобы эта драма нависла и разразилась неминуемой и страшной грозой. Ей было легко разыграться на такой благодатной почве: с одной стороны, вселение к нам в комнаты чужого молодого человека, с другой стороны, музыка и пение, так быстро нас объединившие, запреты со всех сторон, которые всегда только разжигают чувства. Была ли виновата моя мать, если она не видела моего счастья в замужестве с певцом эстрады? Виновна ли я в том, что в семнадцать лет увлеклась и колебалась, не желая так рано выходить замуж и все больше и больше влюбляясь во Владимира? Вместе с тем я не смела еще сбросить с себя того беспрекословного повиновения матери, в котором была воспитана.

Вся эта напряженная обстановка усугублялась тем, что вокруг меня всегда было много друзей и я была очень избалована их вниманием.

Наконец, кража… кража, довершившая изгнание Владимира из нашего дома, всеми уликами указывавшая на него как на виновного!.. Она легла между нами непроходимой пропастью, лишив его навсегда моего доверия, и покрывала черным пятном

его имя еще много лет после его смерти. Всю жизнь меня преследовали угрызения совести, и всю жизнь я вспоминала тот день, когда Елизавета Дмитриевна Юдина, вызвав меня к себе, целовала меня, уговаривала и просила согласиться на брак с ее сыном, а я, глядя в глаза матери, сказала: «Ваш сын — вор! Могу ли я стать женой вора?!» Когда случайно в 1943 году я встретила эту женщину, ее глаза с непередаваемым ужасом и ненавистью остановились на мне. Боже мой! Как виновата я перед ней! Она, наверное, так и умерла с ужасной мыслью, что ее сын — вор…

Да, он умер, а у меня остались его письма… Жизнь проносилась, и в минуты страдания, тоски, счастья, сомнений и раздумья моя рука тянулась к ним и находила ласку, утешение и успокоение. Вся моя жизнь прошла у меня с этими милыми, дорогими, пожелтевшими листками.

Всегда мне казалось: он здесь, около меня, невидимый, но навеки со мною связанный… Едва мои пальцы касались этих листков, как сердце, преданное, верное и прекрасное, воскресало из этих строчек и начинало биться в моих руках. Это его трепетное биение заставляло каждый раз дрожать мои пальцы, и тогда меня охватывало непреодолимое желание воскресить этого человека в моих воспоминаниях — но как?.. Вопрос этот был труден и казался мне неразрешимым. Слишком многое мне мешало: прежде всего то, что надо было писать о себе, а это неизменно повлекло бы за собой полное ко мне и моему рассказу недоверие, ведь моя жизнь, когда я начинаю о ней рассказывать, кажется небылицей. Кроме того, я очень боялась, чтобы меня не упрекнули в хвастливой женской лжи.

Возможно ли поверить, что я, некрасивая женщина, могла иметь столь красочную жизнь и вызывать у стольких людей такие необыкновенные отношения?! Я неизменно заслужила бы титул «баронессы Мюнхгаузен», и вот поэтому моя рука, неоднократно бравшаяся за перо, каждый раз опускалась и я отказывалась от своих начинаний.

Я приступила к писанию своих воспоминаний еще в 1926 году. Написав одну тетрадь «Детства золотого», я остановилась. В 1946 году мой лучший друг Илья Сергеевич Богданович во что бы то ни стало решил заставить меня писать.

Настоящая, проверенная человеческая дружба имеет свои законы. Его самоотверженное ко мне отношение, реальная помощь в тяжелые минуты моей жизни, когда я длительно, а иногда и безнадежно болела, его полное бескорыстие — все это создало самую прочную, светлую, ничем не омраченную дружбу.

Мы похоронили наших матерей рядом, и я знаю, что, пока будет жив он или его брат, Василий Сергеевич Богданович,

могила моей матери, на 41-м участке Немецкого кладбища на Введенских горах, не будет забыта, об этом говорят два белых больших, совершенно одинаковых креста на двух могилах

Друг с большой буквы, Илья Сергеевич с любовью и интересом относился к моим писательским и музыкальным начинаниям. Он подгонял меня как только мог (заставляя часто писать о том, чего я не хотела оглашать).

Таким путем появились все пять тетрадей «Жизни некрасивой женщины», после чего уже пошли фрагменты из моей жизни.

Но вот однажды среди книг, которые мне приносил Илья Сергеевич попался роман писателя восемнадцатого века Шодерло де Лакло. Назывался он «Роман в письмах».

Не знаю, служили ли материалом для писателя подлинные письма, или его гении мог так живо перевоплощаться в людей разного пола, возраста и характера, чтобы создать переписку, в которой развернулся такой живой роман, но я поняла, что мне не надо быть писателем для того, чтобы написать подобное произведение. Я поняла, что письма Владимира, ожив, могут стать таким же романом.

Я задалась целью писать только о том, что подтверждалось письмами Владимира и извлечениями из моего девичьего дневника. Но и так получилось недостаточно правдоподобно.

Письма моей матери, «Манкашихи», Дубова и Львова я писала от себя, приноравливая их к тем событиям, которые происходили, к тем разговорам, чувствам и отношениям, которые имели место между всеми действующими лицами.

В истории моей жизни я всегда следовала девизу: лучше умолчать, но только не солгать!..

Завязка этого романа была во много раз сложнее. Мною опущено много событий. Владимир жил у нас не два и не три месяца, а год. Однажды, например, он в погоне за мамой, увозившей меня, примчался на мотоцикле в Петровское и хотел убить маму. Увидя его резкое движение, я инстинктивно схватила на лету его руку, в которой, оказалось, он держал револьвер, предотвратив этим выстрел, направленный в маму.

Очень много событий разыгрывалось также между моими друзьями, но я не включила их, поскольку они не упомянуты в письмах Владимира.

Связка любимых писем лежала с 1921-го по 1954-й. Лежала в полном порядке: записка к записке, письмо к письму. Лежала свято и неприкосновенно, пока через тридцать три года я не разрознила этот порядок и не сделала эти тайные строки любви документами моей повести.

Не скрою, весь период написания повести я ходила точно в

бреду, окруженная тенями, отравленная вновь ожившим, обессиленная и больная от тех образов, которые сама воскресила и вызвала к жизни.

Воля заставляла мой ум четко работать, холодно уточнять все до мельчайших подробностей и, роясь в заветном и дорогом, отыскивать то или иное отображение, чтобы, вынув его на свет, представить из тьмы как документ.

С одной стороны, я страдала, с другой — была охвачена сладостным волнением творчества, чудом перевоплощения этой пачки писем в связное повествование…

История одной картины

В 1924 году, после длительной разлуки с моей матерью, я вернулась из Ленинграда в Москву. Мне было двадцать лет, и я была уже вдовой (мой муж, военный летчик Н. А. Васильев, разбился на испытательных полетах) и уже успела похоронить моего маленького сына — Игоря.

Приехав, я прямо с вокзала бросилась к Пряникам (бывшим миллионерам Прянишниковым) в Староконюшенный переулок. Знакомый мне с детства деревянный дом был битком набит новыми жильцами, поселившимися по уплотнению.

После смерти Каваныча около Тинны и Тинныча остался один преданный им Степан Николаевич Мелиссари. Панайот Концампопуло уехал за границу. Все приживальщики, увидя Пряников бедными и беспомощными, разбежались. Коля-Колька уехал в деревню и сделался председателем колхоза, а Аннушка хотя и осталась под одной кровлей с прежними благодетелями, но жила самостоятельно, имела отдельную комнату и, питаясь на продукты, присылаемые Колей-Колькой из деревни, равнодушно наблюдала, как ее прежние «баре» голодают. Кроме того, она подстораживала их смерть, зная, что кое-что у них еще сохранилось.

Я нашла Пряников в двух смежных комнатах, где они теперь жили. Тинна в грязном военном френче, в штанах, заправленных в сапоги, обрюзгшая, отекшая от голода, с грязными, немытыми ушами, вся перепачканная сажей, топила железную печку-«буржуйку», из которой дым валил обратно. Огонь она поддерживала какими-то кипами бумаг, которые в пачках стояли на полу.

— Это из парикмахерской, — пояснила она мне, — Володю (Тинныча) уже давно выгнали из Музея Революции, где он служил старшим архивариусом. Написал в анкете, поданной ему для перерегистрации, что он религиозен. Теперь он служит в парикмахерской и подсчитывает, кто сколько побрил бород и подстриг голов. Зато имеет топливо: ему отдают ненужные учетные карточки. — И, говоря это, бывшая миллионерша запихнула в печку очередную кипу бумаг, отчего сизый едкий дым повалил еще яростнее.

Мелиссари, у которого жена и сын уехали в Грецию, самопожертвование и преданно любя Пряников, остался около них. Он готовил еду, мыл посуду, если было надо — стирал. Когда я пришла, его не было: он ушел на Смоленский рынок, на толкучку, менять какое-то старье на хлеб и картошку.

Тинна рассказала мне, что моя мать устроилась очень хорошо и почти ежедневно заходит к ним, но адреса моей матери она почему-то не дала.

В этот вечер мое свидание с матерью состоялось — она пришла к Пряникам и принесла им какую-то провизию. Мама имела счастливый вид; она служила у человека, занимавшего очень большой пост.

— Он большое лицо в Реввоенсовете, — сказала она, — и живет на широкую ногу.

— Кто же он?

— Если я назову тебе его имя, ты будешь крайне удивлена.

— Но я сгораю от любопытства, мама.

— Это Сергей Николаевич Беляев, бывший репетитор Славчика.

— Сергей Николаевич?! — Я действительно была поражена, и в то же время мне почему-то стало не по себе. Сергей Николаевич! Каким образом он мог попасть в Реввоенсовет?.. Сейчас же в моей памяти ярко встало прошлое.

Мы узнали Беляева в 1913 году, когда мой брат поступил в Лицей Цесаревича Николая. Увлеченный военщиной и созданием своего «лермонтовского эскадрона», Вячеслав плохо успевал в науках, и тогда в качестве репетитора в нашем доме появился Сергей Николаевич. Он был удобен еще тем, что одновременно был «тутором», т. е. классным воспитателем лицея. Мама настолько доверяла ему своего любимца сына, что посылала их вместе за границу. В этом случае Сергей Николаевич играл при Вячеславе роль гувернера. В нем было столько же воспитания, сколько развязности, он ввел в наш дом свою жену Елену Ивановну, очень милую, славную женщину, и быстро стал в нашем доме «своим» человеком. Внешне он был типичный фат: зализанный «по-макслиндеровски» прямой пробор с зачесами на лоб, изысканные манеры, привычка щуриться, растягивать слова, как-то особенно при ходьбе, с вывертом, играть тросточкой — во всем этом было что-то пшютовское. Он даже одно время вместо пенсне вставлял в глаз монокль. В уме и в образовании Беляеву отказать было нельзя. Кроме того, он был дворянин, и представить его в 1924 году каким-то начальником в Реввоенсовете мне никак не удавалось.

Я узнала от мамы, что Беляев уже давно бросил свою первую жену. Теперь он жил с какой-то молодой женщиной, которую мама звала просто Кирой — она просила ее так называть.

Беляевы занимали весь второй этаж отдельного кирпичного домика, стоявшего во дворе дома на Б. Никитской улице.

У Сергея Николаевича от Киры трое сыновей: старший, Лев,

средний, Анатолий, и маленький Игорь. У них была прислуга и бонна, молоденькая девушка Ольга Николаевна Макарова; мама же занималась образованием детей.

Ольга Николаевна, или «Волга», как ее звали беляевские дети, имела свою комнату в Верхне-Кисловском переулке. Познакомившись со мной, она любезно предложила мне у нее остановиться.

Беляев имел от Реввоенсовета в своем личном пользовании экипаж с лошадью, что в соединении с его прекрасной квартирой и положением показалось маме, после всех ее скитаний и горестей, истинным раем. К тому же она от души полюбила детей и чувствовала себя превосходно.

— Подумай, Китти, — со свойственной ей восторженностью говорила она, — я знаю милого, благородного Сергея Николаевича одиннадцать лет, к детям его я привязалась, дом их — полная чаша. Ко мне доверие, уважение — лучшего желать нельзя…

Но день за днем я убеждалась в том, что жизнь моей матери не так уж сладка и что во всем этом была какая-то другая, скрытая от моей наивной и доверчивой матери правда.

Подробно расспросив маму о том, каким образом и на каких именно условиях она переехала к Беляевым, я узнала следующее: был момент в маминой жизни, когда она осталась совершенно без крова. Так как мы никуда не уезжали, то, несмотря на все выселения, переселения и аресты, у нас еще оставалось много обстановки, пианино, ценный фарфор, хрусталь, картины, и среди них уникум — лик Христа кисти Ван Дейка, который был нам возвращен из нашей картинной галереи, национализированной самим Дзержинским, и на обороте холста которого А. Луначарский поставил печать Наркомпроса с визой: «Разрешен вывоз за границу».

Все эти вещи были разбросаны по домам, стояли и сохранялись у наших друзей, так как мама в то время не имела угла. Она спала у Пряников в коридоре, почти у самого потолка, на письменном столе, который в свою очередь стоял на нескольких сундуках. Таким образом, чтобы лечь спать, мама каждый раз подставляла лестницу, чтобы влезть на такую высоту. Она и этим положением была счастлива, но в доме № 36 в Староконюшенном переулке ее не прописывали ввиду ее княжеского происхождения. Я в это время была далеко, и от меня у нее не было никаких вестей. И вот перед мамой появился ее спаситель С. Н. Беляев. Он подкатил к деревянному дому в шикарной лакированной пролетке, на прекрасной сытой лошади, а на воротнике его красовались ромбы, указывавшие на высокий

военный чин.

— Княгиня, — вкрадчиво, вполголоса сказал он, — в каком печальном положении я нахожу вас! Увы, отныне я, как и все, принужден буду вас звать Екатериной Прокофьевной, но поверьте, я сделаю для вас все, чтобы отплатить вам за то добро, которое я в жизни от вас видел. Я имею хорошее положение, отдельную квартиру, личный экипаж, все это будет вашим, если вы войдете в нашу семью как наша родная, как самый близкий для нас человек. Я знаю, моя молодая жена Кира будет вас обожать, и вы полюбите моих детей, в чем я не сомневаюсь. В полном благополучии, в почете и уважении вы доживете у меня свой век, и под моей кровлей вас никто не посмеет пальцем тронуть — я сам ваша защита. Ваша мебель и раскиданное по чужим домам имущество погибнут, их вам просто не отдадут, а у меня в квартире достаточно места, и я помогу вам собрать все до последней вещи. Если вам вздумается что-либо продать, вы будете себе потихоньку продавать ту или иную вещь, которую захотите.

Самое главное — вы будете иметь свою постоянную площадь в Москве, потому что я вас пропишу в моей квартире как родственницу. Одним словом, я сказал все, и я весь в вашем распоряжении. Решайте!..

Конечно, моя несчастная и бездомная мать упала к нему на грудь, заливаясь слезами благодарности, а он, почтительно целуя ее руки, все твердил: «Я рад, я счастлив оградить, защитить вас и дать вам ту жизнь, которую вы с вашим добрым и благородным сердцем заслуживаете».

Когда мама вошла в квартиру Беляевых, она немного удивилась, что последняя, кроме кровати, никакой обстановки не имела. Наша мебель — в позолоченных рамах зеркала, ценный фарфор, подписные картины и акварели и, наконец, пианино «Бех-штейн» — в единый миг создала Беляевым не только богатую, но просто роскошную квартиру.

Обставив себя таким образом, супруги Беляевы не только отдельной комнаты, но даже отгороженного угла маме не дали, и она спала вместе с детьми в шумной детской. Труд ее — как якобы родственницы — не оплачивался. В то же время, когда Волга уходила домой, ей доставались укладывание детей в постель, ночной и утренний уход за ними. Мама ухаживала за тремя детьми и делала многое другое, в чем оказывалась надобность. Из-за плохого характера Киры прислуги у Беляевых долго не задерживались, и каждую новую мама учила готовить, посвящая во все тонкости кулинарии. Нечего и говорить о том, что все чистое белье, носильное, постельное и столовое (на трех

детей и двух взрослых), мама мастерски штопала и чинила.

Когда же мама, не имея личных денег, вздумала продать какую-то свою вещь, ей было сказано, что это неудобно, к этой вещи уже глаза привыкли, и этак она, пожалуй, всю квартиру обдерет. Мама не придала особого значения этим словам, так как Беляев занимал большое положение и говорил о том, что не нынче завтра он сам накупит всякой роскоши.

Одно обстоятельство показалось маме несколько странным. Устроившись у Беляева, она первым делом намеревалась написать об этом мне в Ленинград, но Беляев категорически запретил ей:

— Если вы хотите жить у меня, вы должны навеки отказаться от вашей дочери и забыть о том, что она существует на свете. Запомните также и то, что она никогда не должна перешагнуть порог моего дома…

От всяких дальнейших объяснений Сергей Николаевич отказался. Сначала мама даже испугалась, потом огорчилась, расстроилась и наконец, поговорив с Кирой, смирилась, так как Кира уверила ее, что это якобы их своеобразная ревность ко мне и они боятся, что я каким-то образом могу отнять ее у детей. Мою добрую мать можно было убедить в чем угодно.

Итак, приехав в Москву, я остановилась у гостеприимной Волги и виделась с моей матерью только у Пряников, когда она к ним приходила.

С Волгой я очень подружилась; она была добрая, благородная и веселая девушка, преданная Беляевым до последней капли крови.

Беляев играл в «советского» человека. Он строжайше запретил маме заикаться при детях о Боге, а также просил ее не молиться при его сыновьях и не говорить о том, что она ходит в церковь.

Иногда Беляев принимал каких-то, как он говорил, «крупных ответственных работников», и в такие вечера мама и Волга выпроваживались вон из дома. Мама это вполне оправдывала.

— Он прав, — говорила она, — мало ли о чем большие люди могут между собой говорить? Да и зачем нам слушать их разговор… к тому же еще я, моя фамилия…

Моя бедная мать уже давно считала, что ее княжеский титул способен замарать всех ее знакомых. Я была несколько иного мнения, но поскольку в ее отношениях с Беляевыми мое присутствие было исключено (с чем, кстати сказать, моя мать легко согласилась), то мне оставалось быть только молчаливым зрителем развертывавшихся передо мною событий.

И вот однажды Беляев объявил, что получил разрешение

отправить Киру на какое-то лечение за границу. К этому времени наше материальное положение было неважно. Живя у Беляевых, мама работала без жалованья, а ни одну свою вещь продать не смела. Я еще не устроилась на работу, хотя всячески искала себе места. Обе мы обносились, оборвались, и нам была нужна сразу большая сумма денег, чтобы встать на ноги.

— Екатерина Прокофьевна, — обратилась Кира к маме, — давайте я продам за границей вашего Ван Дейка, тем более что на нем поставлена виза разрешения на вывоз за границу. К тому же этот Христос в терновом венце бросается всем приходящим к нам в глаза, и многие могут подумать, что это икона, а это, как вы сами понимаете, не совсем удобно. Вы же знаете, какое положение занимает Сережа!

Маме тяжело было расставаться с Ван Дейком, но вместе с тем она сознавала, что деньги нам необходимы, а Беляевы, как я уже говорила, не разрешали продавать ни одной нашей вещи из их квартиры. Последний же довод Киры, что голова Христа компрометирует Беляевых, победил ее окончательно.

— Что же делать, — сказала мама, — хорошо, я согласна. Везите картину за границу и продавайте.

Уговор был таков: Кира продает Ван Дейка, берет себе 10 % за продажу, на половину суммы привозит маме разного материала, а вторую половину в валюте меняет нам на советские деньги.

Перед отъездом Кира трогательно попрощалась с моей матерью.

— Мы обе с ней плакали, — рассказывала мне мама. — «Екатерина Прокофьевна, — говорила она, — я оставляю трех сыновей, эти три жизни я доверяю вам, доверяю весь дом, доверяю уход за моим мужем. Разве могла бы я кому-либо, кроме вас, доверить все свое счастье»…

Короче говоря, Кира уехала, а мама еще долгое время находилась в плену ее громких фраз, воскуренных фимиамов и ложного пафоса, к которым, говоря откровенно, была неравнодушна.

К тому же, будучи до своих сорока семи лет княгиней, владевшей тремя имениями, двумя дворцами, большим капиталом и всеми теми драгоценностями, которые ей принадлежали, при всей своей религиозности, доброте, либерализме, пережив тяжелую травму потери ближних, крах материальный, следующие за ними дни заключения и гонения на аристократию, она, встретив Беляевых, была, конечно, околдована и загипнотизирована той лестью, тем ложным уважением и дифирамбами, которые пели дуэтом супруги

Беляевы. Они умело играли на струнах души этой пожилой, измученной и одинокой женщины, не говоря уже о том, что сам Беляев, являясь в прошлом воспитателем ее сына, воскрешал перед ней образ ее первенца и любимца.

Как только Кира уехала за границу, Сергей Николаевич немедленно завел себе какую-то «мадам», у которой пропадал с утра до ночи. Мама начала возмущаться, волноваться, страдать, но впереди ее ждали еще более жестокие удары судьбы.

Ввиду того, что Беляевы отсутствовали, я несколько раз бывала у мамы. Небольшая квартира, обставленная нашей мебелью, фарфором, картинами, хрусталем, напоминала маленький музей. В столовой, над нашим «Бехштейном», висел в резной черной раме портрет моего отца, рисованный в Испании (пастель).

Сыновья Сергея Николаевича были шумные, но славные озорники: старшему Леве было лет восемь, черноглазому Анатолию — лет шесть, а маленькому Игорю — года четыре.

И вот грянуло неожиданное несчастье: в тяжелой форме скарлатины свалился один из мальчиков, вскоре в страшном жару слег другой и, наконец, самый маленький — Игорек. В страхе покидает дом прислуга Беляевых. Преданная Волга вместо нее покупает продукты, бегает в аптеку, готовит, а мама, не зная отдыха, все дни и ночи выхаживает трех тяжело больных детей.

Отдельная квартира спасла их от больницы, но весь уход и вся моральная ответственность легли на маму. Она металась между тремя постельками, обезумев от страха, с ужасом наблюдая, как страшная сыпь покрывала три детских тельца, сознавая одновременно всю свою ответственность за их жизни и всю свою беспомощность перед неизбежностью. Сергей Николаевич по-прежнему дни и ночи пропадал у дамы своего сердца. Кира бомбардировала тревожными, полными вопросов и беспокойства письмами. И вот в такой обстановке мама отвечала ей — успокаивала Киру, умоляла не волноваться, лечиться, поправляться, набираться здоровья, хотя Сергей Николаевич здесь тоскует, ждет и скучает, но дети здоровы и дома все благополучно. Так мама взяла на себя все несчастье, которое разразилось над семьей Беляевых. В особенной опасности находился младший сын — Игорек. Несколько дней и ночей мама не смыкала глаз и носила на руках его пылавшее в жару тельце. Через несколько недель дети стали выздоравливать, но маму было трудно узнать, так она похудела; глаза ее ввалились, она сильно сдала и сразу превратилась в старуху.

Когда через несколько месяцев Кира вернулась в СССР, квартира была убрана, все вокруг сияло чистотой, полы были

натерты, в комнатах красовались вазы с букетами живых цветов, и трое веселых сыновей, перегоняя друг друга, протянув ей навстречу ручонки, со счастливым смехом бросились ей на шею.

Кира приехала, совершенно переродившись и сбросив с себя десяток лет. В Париже, в Институте красоты, ей посредством операции удалили лишний жир в брюшине, что-то подшили, где-то подтянули и сделали такие чудеса, что она выпрыгнула из вагона изящной, стройной, молодой девушкой.

Ей, как жене крупного начальника Реввоенсовета, был предоставлен вагон для багажа, и, кроме разнообразных материалов, белья, одежды и обуви для всей семьи, она привезла массу домашней мелкой утвари, посуды и прочего. Это не могло не вызвать удивления вокруг, так как какое бы жалованье Беляев ни получал, но его не могло бы хватить на то, чтобы содержать здесь целую семью и дом, привезти целый вагон вещей, да еще дать возможность жене не один месяц жить, лечиться и кататься за границей.

Первые дни после приезда прошли у Киры в длительных беседах с ее мужем при запертых дверях, и мама сразу почувствовала к себе какую-то перемену в их отношении. Оба супруга стали сухо-вежливы и официальны. Потянуло каким-то необъяснимым холодком.

И вот однажды мама решила спросить наконец Киру о картине Ван Дейка. Это было днем; все они втроем сидели за завтраком.

— Я все хочу вас, Кира, спросить, — начала мама, — как обстоит дело с моим Ван Дейком?

Супруги Беляевы удивленно переглянулись, Кира передернула плечами, а Сергей Николаевич вопросительно поднял брови.

— Судя по тому, что вы не привезли картину обратно, — продолжала мама, — она, видимо, вами продана?

— Сережа, — с искренним возмущением обратилась Кира к мужу, не удостоив маму не только ответом, но даже взглядом, — Сережа, я не понимаю, о чем она спрашивает? Какой Ван Дейк? Что она, помешалась?

— Видимо, да, — иронически улыбаясь, процедил сквозь зубы Беляев.

— Что с вами? — воскликнула мама. — Если вы оба решили подшутить надо мной, то это очень жестокая и грубая шутка. Мне, право, кажется, что я во сне, нет, скорее в каком-то бреду. Ведь вы сами предложили мне продать за границей мою картину: голову Христа в терновом венце кисти Ван Дейка…

— Ты слышишь? Слышишь, Сережа? — дико взвизгнула Кира

и закричала: — Эта старуха помешалась на каком-то Ван Дейке, она сейчас скажет еще, чего доброго, что мы ее обокрали!..

Сергей Николаевич встал, жеманно поджал губы, мускулы его лица зло подергивались.

— Я вас прошу немедленно покинуть мою квартиру, — нагло глядя маме в глаза, тихо и спокойно сказал он.

— Мне?! Покинуть?! — возмутилась мама. — Если вы сумели вдвоем так искусно выманить у меня мою драгоценную картину, продать ее за границей, присвоить себе деньги, то не думайте, что вам легко будет выкинуть меня, старого человека, из квартиры, которая вся обставлена моей мебелью и полна моими вещами. Я здесь прописана и живу не один год!

— Ха! Ха! Ха! Ха! — послышался в ответ наглый смех преступной пары.

В страшном возмущении мама надела пальто и немедленно пошла в домоуправление, думая найти там если не защиту, то хотя бы совет.

— Как только Беляева вернулась из-за границы, — холодно сказал ей управдом, — к нам поступило заявление от самого Беляева о том, чтобы мы вас немедленно выписали. Он написал, что держал и кормил вас из жалости, но дольше не может терпеть вашего присутствия, так как вы нервно заболели и плохо влияете на его детей. Вы уже полторы недели как выписаны, так что даже ночевать здесь фактически не имеете больше права.

Мама вышла из домоуправления и подошла к порогу беляевской квартиры, но ни на какие звонки и стуки дверь ей не отперли.

Она оказалась на улице, обкраденная, оскорбленная и бездомная. Ноги невольно привели ее снова в Староконюшенный переулок к Пряникам, где она, свалившись на стоявший в коридоре сундук, лежала несколько часов с совершенно сухими глазами, в состоянии, близком к умопомешательству.

Всю эпопею с мамой Беляевы затеяли, чтобы выманить у нее картину Ван Дейка. На деньги, полученные за картину, Кира долго жила за границей, на них одела всю семью и привезла много вещей. По случайности в то время в заграничной поездке была наша дальняя родственница, балерина Большого театра. Она была очевидицей того, как шикарно Кира жила за границей, мало того, она рассказала, что антиквары (русские эмигранты) узнали картину Ван Дейка нашей коллекции и прямо спросили у Киры, как она к ней попала.

— Я купила ее у старой княгини, — солгала, не сморгнув, Кира.

Балерина назвала маме точную сумму, которая была

уплачена Кире за картину.

Мошеннический план Беляева и его жены был задуман гораздо шире, и эта картина не была центром их преступления. Пользуясь откровенностью матери, они знали, что мама в ссоре с моим первым мужем, что я в отъезде, и решили завладеть нашим последним имуществом, потом выгнать маму на улицу, чтобы бездомная старуха, которую с ее княжеским титулом каждый побоится приютить, умерла бы где-нибудь на мостовой или, не имея прописки в Москве, была бы куда-нибудь выслана, о чем постарался бы такой «начальник», каким был С. Н. Беляев.

Мой неожиданный приезд был для Беляевых своего рода ударом, но и это не остановило наглых мошенников. Кое в чем их расчеты оправдались. В то время вопрос с аристократией стоял еще очень остро, и если бы бывшая княгиня вздумала открыто обвинить человека, занимавшего высокий военный пост, в воровстве и мошенничестве, ее саму осудили бы за клевету, тем более что у нее не было свидетелей. Если бы даже вернувшаяся в Москву балерина вздумала быть свидетелем незаконной проделки, то Беляевы утверждали бы, что мама им картину продала или подарила. Главное же — ситуация тех дней была такова, что бывшая княгиня не имела права поднять против Беляева свой голос.

Но они не учли того, что около мамы появилась я, ее дочь. У меня, конечно, тоже не было ни площади, ни положения, но зато около меня всегда было достаточное число преданных мне людей. Мною был задуман и разработан довольно смелый план, который мои друзья решили беспрекословно выполнить.

В один прекрасный день, когда утром Беляев в своем экипаже покатил на службу в Реввоенсовет, во двор к ним въехал грузовик с несколькими мужчинами. Когда на звонок ничего не подозревавшая прислуга открыла дверь, несколько сильных рук задержали эту дверь, которая не закрылась до тех пор, пока мои друзья не вынесли и не поставили на грузовик все, что только было возможно. Как ни странно, но Кира, на глазах которой все это происходило, онемев от неожиданности, стояла и смотрела, как чужие люди хозяйничают среди бела дня в ее квартире. Правда, главарь этого дела, мой лучший и верный друг многих лет, прозванный моими остальными друзьями «Ричардом Львиное Сердце», предусмотрительно подошел к настольному телефонному аппарату и вынул его из штепселя. Но Кира, видимо, решила вообще не протестовать, хотя через окно видела, что около грузовика стояла я. И через стекло окна наши с ней взгляды встретились.

Конечно, всего вывезти нам не удалось и кое-что из очень

хороших вещей прилипло к рукам этих грязных авантюристов.

Прошло несколько месяцев, и С. Н. Беляев был арестован. Говорили, что его арест последовал за арестом его брата, Николая Николаевича Беляева, который, как оказалось, был преподавателем детей Льва Троцкого.

Прошло года два-три. Я была замужем за моим вторым мужем, изобретателем. Мы снова жили в деревянном желтом особнячке в Староконюшенном переулке. Мама жила со мной. Дом этот был страшно перегружен людьми, и дверь с улицы в квартиру у нас запиралась только ночью.

Однажды кто-то быстро открыл входную дверь и вошел к нам (мы жили втроем: мама, муж и я в проходной комнате), и мимо нас в комнату к Пряникам прошмыгнула худая, одетая во все черное женщина. Мама моя была у Пряников, и я услыхала чей-то знакомый женский голос.

Это была Кира Беляева. Она стала умолять мою маму о прощении. Кира просила маму снять с ее семьи какое-то мамино проклятие, которое якобы мама на них наложила. С. Н. Беляев умер в ссылке, в горячих степях песчаной Алма-Аты, мучительной голодной смертью: рак пищевода.

Не успела еще моя мама расчувствоваться, как я вскочила в комнату и выгнала эту негодяйку вон, сказав ей вслед несколько напутственных слов… Больше она не появлялась.

В нашей с мамой жизни мы встречали много авантюристов и аферистов, которых привлекало наше имя и те ценности, которые еще каким-то образом уцелели у нас на руках. Всех случаев не перечесть. Но супруги Беляевы своей аморальностью перекрыли всех…

Однажды…

Итак, все то, что я могла написать о моей жизни, я написала, однако должна сознаться, что почти половина осталась ненаписанной.

Целые годы совсем мною пропущены, многие люди и события, имевшие большое влияние на мою судьбу, останутся неизвестными.

Я не могу назвать имени того человека, который в самую тяжелую и мрачную полосу моей жизни спасал меня неоднократно в течение многих лет, рискуя собой.

Поступая так, я осталась верна обещанию, которое дала своей собственной совести в ту минуту, когда садилась писать мои воспоминания: «Лучше умолчать, нежели солгать, а если писать, то только правду».

Теперь мне хочется из всех памятных встреч в моей жизни (а их было немало) описать две, нет, пожалуй, три, ибо последняя, может быть, могла бы даже стать моим счастьем.

Я знаю, что у читателей сложится обо мне не совсем верное представление: точно я только тем и занималась в жизни, что плясала. Слишком большое место занимают в моей жизни танцы. И потому, что я родилась на свет «с танцем в крови». И потому, что танцы одно время были моим заработком.

Годы же тяжелых испытаний и мрачных переживаний, когда я забывала о том, что существуют в мире танцы, по многим причинам остались мною неописанными.

Свою последнюю книгу о моей жизни я назвала «Однажды…». Она о нескольких случайных встречах.

Случайные встречи…

Как это легкомысленно звучит! Наверное, все, кому доведется когда-нибудь прочесть эту книгу, скажут: «Да… у этой женщины все было случайно; она была достаточно легкомысленна…»

А я и не собираюсь себя оправдывать. Я не хочу казаться такой, какой не была. Заслуга моя только в полной искренности.

Я была обыкновенным простым человеком, которому свойственны как недостатки, так и ошибки…

Но иногда люди, мало меня знавшие, принимали во мне за легкомыслие вечную жажду моей любознательной души.

Как я любила людей!.. Любила их с самого моего раннего детства. Ведь только поэтому мой мозг впитал в себя до мельчайших подробностей жизнь чудаков Прянишниковых, характеры их приживальщиков и весь быт их странного дома. Только поэтому я смогла все это передать бумаге.

Часто, вечерами, бродя по улицам Москвы, я с какой-то затаенной грустью смотрела на множество ярко светившихся окон в больших, высоких домах.

«Ах, сколько там людей! — думала я. — Сколько разных жизней, характеров, чувств… А я?.. Я ничего о них не узнаю…»

И каждый день, прожитый тускло, серо, без впечатлений, пусть даже впечатлений страшных, печальных или трагических, был для меня «пустым днем». Потому что в любом несчастье, в любой опасности я всегда умела исключить или, вернее, «выключить» себя из участвующих лиц и взглянуть на все происходящее со стороны.

Моя мать никогда не была для меня авторитетом, своего Любимого я в те годы еще не встретила, у меня не было детей, не было своей семьи, а следовательно, мне ни перед кем не надо было отдавать отчета. Я была свободна, безгранично свободна, и я шла жадно навстречу жизни!

САНЯ

Рассказ первый

Однажды в «Вечерней Москве» мы прочли следующее объявление:

«Вниманию граждан города Москвы!

При зале ресторана „Метрополь“ открывается Школа Западных Танцев под руководством опытных преподавателей.

Запись производится ежедневно. Справки по телефону №…»

Всю жизнь горя желанием повышать свою квалификацию в танцах и желая узнать, что есть нового в этой области, мы с Валей немедленно помчались в «Метрополь».

Дома я сейчас же завела тетрадь и решила после каждого урока вести запись. Таким образом, у меня в руках был бы конспект на случай моего (когда-нибудь) дальнейшего преподавания. Мне хотелось приобрести дополнительный опыт и, поскольку танцы эволюционируют, узнать, что нового прибавилось в них за истекшие годы.

Все танцевальные группы в «Метрополе» возглавлял В. Крылов, женатый на дочери композитора Р. М. Глиэра. Этот известный танцмейстер был не один раз командирован нашим правительством за границу для приобретения большего опыта.

Решив, что мы попадем к Крылову впоследствии, мы сначала записались в одну из старших групп, к тоже небезызвестному Скворцову.

Но Боже мой! Если б только мы могли предполагать, что

ожидало нас на первом же уроке!..

Нас ждал незабываемый для женщины позор, и этот постыдный вечер я никогда в жизни не забуду!

Группа, в которую мы записались, состояла частью из уже станцевавшихся пар, частью из тех людей, которые пришли записываться тоже в паре. Было немного и одиночек.

Таков закон жизни, что выбор принадлежит всегда только мужчинам, и пришедшие мужчины, решив выбрать себе пару для танца, накинулись на пришедших хорошеньких девушек, как пчелы на мед. Вскоре все они были разобраны, и… о, ужас! Ни Валю, ни меня никто не выбрал!

О своей некрасивой внешности я прекрасно знала с самого раннего детства, но Валя, Валя, с ее хорошеньким личиком и точеной фигуркой!.. Мне было больно за нее. Я не понимала, как могли ее не выбрать. Целый урок мы просидели с ней на стульях у стены, словно какие-то несчастные приживалки. Выражение Валимого лица было непередаваемо! Я видела, что она готова тут же выбежать из зала и никогда более в него не возвращаться.

Что касается меня, то я сидела с чувством какого-то особого сладострастия, изучая каждую минуту этого унижения, заставляя себя переживать его еще и еще, и как это ни странно, но мне хотелось смеяться. Подумать только! Мы с Валей, никогда не знавшие подруг и женского общества, всегда окруженные нашими многочисленными друзьями, сидели теперь у всех на глазах в смешной роли отвергнутых, и это было тем курьезнее, что купили мы себе это положение сами, на свои собственные деньги!

«А как же будет с нами дальше? — спрашивала я себя. — Так и просидим весь курс танцев на стульях у стены?»

Я видела, как во время танцев хорошенькие девушки переглядывались, показывая друг другу на нас глазами, и на устах у них играла насмешливая улыбка.

Валя, слава Богу, этого не замечала — она была близорука.

К концу урока к нам подошел сам маэстро Скворцов.

— Простите… — галантно склонив перед нами голову, сказал он, — сегодня с вами получилось как-то неуклюже, но… — он улыбнулся, — ведь кавалеры дефицитный товар, а потому… — тут он поднял брови и продолжал уже строго официальным тоном: —…этого больше не повторится. На такой случай у нас есть специальные стажерки и стажеры, сегодня, правда, они не были предупреждены, а со следующего урока у вас будут прекрасные квалифицированные кавалеры, и вы будете даже в выигрыше перед другими!

Свое обещание Скворцов сдержал. Следующий урок мы провели в упоении, с чудными танцорами. Но зато на третьем

уроке разразилась совершенно непредвиденная сцена.

Увидя, что мы неплохо танцуем, некоторые мужчины, побросав своих девушек, устремились к Вале и ко мне, приглашая нас, как говорится, наперебой.

Теперь уже не две (как это было с нами), а несколько девушек оказались без кавалеров. Они стояли, сбившись в кучку, в уголке зала и с негодованием наблюдали за тем, как нас осаждают их «неверные» кавалеры. Дело в том, что каждому, кто учился, хотелось танцевать с опытной партнершей. Но мы с Валей остались непреклонны и так и дотанцевали весь курс со стажерами. Это наше решение Скворцов вполне одобрил, хотя иногда и просил то одну, то другую из нас помочь ему и протанцевать трудную фигуру с каким-нибудь бестолковым кавалером.

Окончив курс у Скворцова, мы перешли с Валей к Крылову.

Ах, что это был за преподаватель! Его оригинальных уроков я никогда не забуду. Казалось, даже бездушный стул и тот в его руках затанцевал бы!.. Он вкладывал в уроки не только всю свою душу, но и все свое остроумие. Кроме того, он читал нам целые лекции по истории танца, о линии танца, о манере держаться и т. д.

Многие его не любили, так как, преподавая, он умел нагляд? но показать, передразнить тот или иной недостаток своего ученика и человек видел свою ошибку точно в увеличительном стекле.

Я никогда не забуду того, как Крылов объяснял одну сложную фигуру танго:

— Вообразите, что ваша дама заметила вдруг на вас интересный галстук, она останавливается, затем чуть поворачивает к вам голову, вы приняли это ее движение за ласку, вы обрадованно поворачиваетесь к ней всем своим корпусом, но она, отстраняясь, кокетливо отступает от вас, вы хотите ее задержать, делаете быстро два шага, идете за ней, берете ее за талию, р-раз!.. Поворот сделан! Вот и вся фигура. Теперь разберем ее с технической стороны и разложим на танцевальные па…

Очень интересными бывали в «Метрополе» балы-показы — с конфетти, с воздушными шарами и чудесным джазом.

Какими бы тяжелыми ни были переживания души, какие бы неприятности ни бывали дома, но, когда мы входили в стеклянные, высокие, милые сердцу двери «Метрополя», все горести и заботы оставались на улице, за этими дверями.

Конечно, у нас стало очень много новых знакомых; однако близко к нашей жизни мы никого не подпускали, таков уж был у

нас с Валей заранее уговор. В этом была большая прелесть: никто не знал, кто мы, что мы, где мы живем и что делаем…

Среди «метропольской» публики было много приятных людей, но одно было плохо. На танцевальных курсах своя этика, а именно: нельзя никому отказать в танце. А между тем нас с Валей уже знали, и наше положение было порой просто ужасно. Как только какой-нибудь ответственный показ, так нам с ней не дадут даже в зал войти.

Едва мы внизу снимем шубы и подойдем к лестнице, чтобы подняться наверх, в зал, как уже несколько человек стоят, дожидаются нас на ступеньках. Начинаются приглашения, обиды, объяснения, нас начинают рвать буквально на части, и кончается тем, что когда мы входим в зал, то все танцы уже отданы, так как еще на лестнице мы оказались абонированными на весь вечер более предприимчивыми танцорами.

Не обходилось и без курьезов, а именно: и у Вали, и у меня оказалось по «роковому» кавалеру, от которых мы иногда готовы были повеситься. Оба они «прилипали» к нам и иногда доводили нас до бешенства.

Валин «роковой» кавалер был инженер средних лет, очень культурный и милый человек. Но бывают такие люди: они солидны по занимаемому ими положению, они уважаемы всеми, умны, и вдруг… в душе их возникает, вопреки всякому здравому смыслу, самая дикая страсть к чему-либо, что становится их странностью и выставляет их в глазах остальных людей в смешном свете, а подчас и в глупом положении.

Так было и с этим инженером. Сухой педант, с какой-то математической во всем размеренностью, он вдруг страстно влюбился в западные танцы и мечтал стать премированным танцором!..

Его худая, нескладная, высокая фигура носила на себе отпечаток длинных часов, проведенных в занятиях за письменным столом. Инженер был сутуловат, одно его плечо, как у многих канцелярских работников, было выше другого, и голову свою он держал чуть-чуть набок.

Все фигуры танцев, которые нам преподавались, он терпеливо вносил мелким бисерным почерком в свою записную книжку, а танцуя с дамой, бормотал себе под нос вполголоса одну из соответствовавших этому танцу записей.

Однако это ничуть не облегчало дела, так как он или немилосердно наступал своей даме на ноги, или поворачивал ее не в ту сторону, или, лихорадочно вцепившись в нее, не давал ей сделать ту или иную фигуру. Все это происходило оттого, что от волнения он терял всякую память и никакие записи ему не

помогали. За его безумно длинные ноги мы прозвали его Журавлем.

Смешнее всего было то обстоятельство, что о каждой фигуре он во время танца вслух предупреждал свою даму.

— Внимание!.. Сейчас сделаем «променад номер 2»! Начинаю… р-р-ра-а-аз!!! — И с первым же «раз» он изо всей силы наступал Вале на ногу.

Мой «роковой» кавалер был менее жесток, но тоже по-своему невыносим. Так как я никогда ни о чем с ним не разговаривала, то мне не удалось узнать, какова была его профессия в жизни, но мне почему-то казалось, что он был поваром.

Только поварской белый накрахмаленный колпак мог еще придать какой-то смысл и выражение этому глупому, тупому круглому лицу. Он был молод, но уже успел «отъесться», и от хорошего питания казалось, что во рту у него за каждой щекой спрятано по небольшому яблочку. Когда он танцевал, эти «яблочки» весело подпрыгивали, а из его круглых широких ноздрей вырывалось такое сопение, словно он переворачивал на противне жареного поросенка. Помимо всего, он являлся в школу танцев, надушившись чем-то поистине тошнотворным. Танцуя с ним, я испытывала чувство, словно, взойдя в керосиновую лавку, стою у полки за прилавком и вдыхаю подряд все сорта дешевого туалетного мыла, а в особенности того, что имеет розово-красный цвет. Что-то противное и назойливое было в этом запахе. Мы так и прозвали его Мылом. Руки его были всегда холодны и мокры, и какую бы фигуру танца он ни преодолевал, его короткие обрубкообразные ноги вывертывали какие-то безнадежно-отвратительные «кренделя». Никакой стиль танца Мылу не прививался, он танцевал все на свой манер.

На фоне блестящих танцоров «Метрополя», среди которых, между прочим, были два премированных парашютиста и три альпиниста, Мыло и Журавль отравили нам с Валей не один танцевальный показ.

И часто в то время, как Валя, побледнев от страха, шептала мне: «Журавль меня заметил, Журавль идет сюда, я погибла!» — мое Мыло, уже благоухая удушливым запахом, увлекало меня под первые такты зазвучавшего вальса.

— Прощай! — смеясь, кричала я Вале. — Мыло утащило… прощай…

К весне мы с ней были выдвинуты нашими преподавателями на показ танца, и одному из них я помогала проводить занятия на танцевальной площадке сада «Аквариум» (площадь Маяковского).

Но среди всех этих людей был один, который навсегда остался в моей памяти. Был он года на три моложе меня, работал

механиком на одном из заводов Москвы, учился без отрыва от производства и мечтал стать инженером. Хороший он был, радостный, чистый сердцем и весь какой-то светлый, начиная от волос, напоминавших спелую пшеницу, облитую лучами солнца, до взгляда светло-голубых глаз, которые смотрели на всех окружающих с выражением того радостного любопытства, которое свойственно только детям.

Андрюша, как его звали, с первой же минуты нашей встречи пробудил во мне чувство, похожее на материнство. Оно неожиданно зажглось в моей душе, и ничто не в силах было не только погасить, но даже на миг поколебать это ровное, ясное пламя.

Андрюша случайно попал в мои партнеры с первого урока одной группы и так и окончил свое танцевальное образование со мной.

Он поразил меня тем, что однажды, когда я, опоздав на очередной урок, быстро взбегала вверх по лестнице, он, видимо, поджидавший меня, стоя на верхней площадке, нетерпеливо замахал мне рукой и закричал:

— Скорей, Саня! Скорей! Что же ты опаздываешь?

И несмотря на то, что в школе танцев я, как и все, звалась по фамилии (Фокиной), и несмотря на то, что я всегда люто ненавидела «ты» и даже мой лучший, многолетний друг Евгений называл меня на «ты» только в письмах, да и то это «ты» было романтическое и писал он его с большой буквы, это «ты» славного и простодушного Андрюши меня почему-то покорило, и я сразу подчинилась ему, удивляясь сама той легкости, с какой я назвала его в ответ тоже на «ты». Но почему он назвал меня Саней? Бог весть… И почему именно это имя ассоциировалось со мной в его сознании?.. Тоже не знаю, но, как ни странно, имя Александра было связано со мной невидимыми нитями и вызывало во мне всегда легкую печаль, а может быть, и неосознанную тоску, которую я пронесла в моем сердце через всю жизнь. Эти чувства относились к человеку, которого я никогда не знала и который меня никогда не видел. Я говорю о моем отце…

Когда он умирал, я должна была родиться, и как это ни удивительно, но и отец, и мать были уверены в том, что у них родится обязательно дочь. Безумно любя отца, моя мать решила назвать эту дочь его именем, но отец протестовал и был настолько настойчив, что, даже умирая, взял с матери слово, что она назовет меня только Екатериной, то есть своим именем. О чем впоследствии мама жалела всю жизнь.

Когда Андрюша услышал, что Валя зовет меня «Китти», он широко раскрыл свои голубые глаза.

— Как? Разве тебя зовут не Саня? — удивился он.

— Это неважно, — ответила я, — пусть я буду Саней…

И это милое имя так и осталось (в устах Андрюши) за мной. Андрюша с необычайной талантливостью впитывал в себя не только искусство танца, но и многое другое, чему я его учила.

— Никогда не держи руки в карманах… пропускай даму, когда идешь, всегда впереди себя… Не сморкайся так оглушительно… Не зевай во весь рот в присутствии дамы… Кланяйся одной головой, а не всем корпусом… а когда приглашаешь даму на танец, то делай наоборот: держи голову неподвижно, а только чуть наклонись вперед… научись правильно подавать руку и при рукопожатии не тряси ее…

Всякие тому подобные мелочи Андрюша не только сразу усваивал, но часто сам задавал разные вопросы, и мне приятно было видеть, с какой жадностью он стремится все узнать и всему научиться. Работать над этим человеком не стоило никакого труда. Вникая во все своей любознательной душой, он немедленно усваивал тут же то, что узнавал. Во внешнем лоске и воспитании ему очень помогала его исключительная врожденная чистоплотность. Ко всему этому он умел красиво держать свое на редкость пропорционально сложенное тело.

В какие-нибудь два-три месяца Андрюша стал просто неузнаваем.

Однажды он очень меня насмешил.

— Ну, видел я тебя вчера, в выходной, на Арбате, — радостно улыбаясь, доложил он как-то мне, — ты шла с отцом и с матерью. Ну и представительные же у тебя родители! Я и подойти-то не посмел… Скорее отошел в сторонку, чтобы ты меня не заметила… В то воскресенье мама отдыхала от ежедневной стряпни, и Дима Фокин, мой второй муж, пригласил нас отобедать в ресторан «Прага», на Арбатской площади.

Меня глубоко тронул образ той девушки, который в своем воображении создал Андрюша вместо меня, настоящей: я была единственной любимой дочерью почтенных и очень образованных родителей, которые не хотели отдавать свое сокровище замуж, так как считали каждого жениха недостойным их дочери.

Андрюшу я не разочаровывала. Зачем?.. Наша с ним встреча, как и многие другие в моей жизни, была только случайно проплывавшим облачком, которое на миг привлекло и задержало мое внимание и которым я даже искренно залюбовалась.

Андрюша часто звал меня то в кино, то в театр, но, по правде говоря, у меня к этому не было никакого желания. Мне не хотелось переводить на рельсы знакомства в «Метрополе» то светлое и хорошее чувство, которое у меня было к этому юноше.

Единственное, что я разрешала, это иногда после занятий проводить меня домой, и, конечно, проводы порой превращались в долгие блуждания по улицам города, потому что нашим разговорам не было конца.

Простодушие Андрюши меня глубоко трогало. Это была вовсе не глупость — это была чистота сердца.

— Подумай только, Саня, — сказал он мне как-то, когда мы с ним танцевали на очередном показе в «Метрополе», — ведь здесь, рядом, в другом парадном этого здания, за стеной — шикарный ресторан «Метрополя», там танцуют под настоящий оркестр, там, наверно, между столиками пальмы стоят, а за столиками сидят какие-нибудь знаменитости Москвы, сидят и ужинают… Одно слово — «Метрополь»!.. — Он даже в блаженстве закрыл глаза.

Этот образ все чаще овладевал им.

— Э-эх! Хоть бы клад какой-нибудь найти! — говорил он мне. — Вот бы мы с тобой натанцевались-то!.. Всласть! До самого утра бы танцевали, пока нас не выгнали бы… Ну скажи, а ты не побоялась бы пойти со мной в ресторан? Там, наверное, полы-то натерты, как стекло, а ну-ка мы бы с тобой с непривычки пошли танцевать да и растянулись бы?

— Конечно, с тобой я не побоялась бы, — серьезно глядя ему в глаза, подтвердила я. — А зачем нам падать? Разве мы так уж плохо танцуем?

— Да ведь это не где-нибудь! — восклицал Андрюша. — Это же «Метрополь»…

Бедняжка! Он и не предполагал, что ресторан «Метрополь» считался в Москве рестораном самого дурного тона; даже «Националь» числился средним. И что бы только сказал Андрюша, если бы попал в «Савой» или в «Гранд-Отель», в его маленький мраморный зал, волшебно плывущий в кружевных узорах?..

Мечты Андрюши глубоко запали в мое сердце, и хотя я была не Гарун, аль, Рашид, однако мне захотелось оставить в памяти Андрюши одно волшебное воспоминание.

Как я уже говорила, весь мой заработок принадлежал безраздельно мне. Дима никогда меня в расходах не контролировал, одевалась я на свои средства и из них же давала ежемесячно маме на ее личные расходы. Поэтому мне было легко начать откладывать деньги на мою выдумку. Но сумма росла очень медленно, а мне надо было очень много денег. Сколько же месяцев пришлось бы ждать? К тому же если я загоралась каким-нибудь желанием, то старалась привести его немедленно в исполнение.

Тогда я вышла из положения: заложила в ломбард несколько золотых вещей, так как знала, что при ежемесячном отчислении

от своего жалованья смогу их выкупить.

После этого задуманный мною «волшебный вечер» сразу из мечты превратился в действительность: толстая пачка ассигнаций лежала в моих руках. Ура! Теперь начиналось самое интересное!

Мне нужен был старый кошелек, и я нашла его в одном из ящиков нашего комода, где лежала пропасть всяких ненужных и забытых вещей. Кошелек был весь потертый, смешной, старинной формы: полукруглый и пузатый. Наверно, он у нас остался еще от няни Пашеньки. В него-то я и запихала всю пачку денег.

Когда я вечером отправилась на очередные занятия в «Метрополь», то опустила этот кошелек во внутренний карман шубы. Поэтому, пока я танцевала, а моя шуба висела внизу, на вешалке, я была сама не своя от беспокойства.

От Андрюши не ускользнуло мое не совсем обычное настроение.

— Саня, что это ты сегодня не то рассеянна, не то взволнована чем-то? — спросил он меня.

— Да нет… так, вообще, — неопределенно ответила я, с одной стороны волнуясь, как бы не исчез кошелек, а с другой стороны — мучаясь тем, как подбросить этот кошелек, чтобы он и в чужие руки не попал и чтобы случай, который мне предстояло разыграть, был бы похож на правду.

— Знаешь, Андрюша, — сказала я, когда по окончании занятий мы с ним выходили из «Метрополя», — давай сегодня побродим немного по улицам, хочешь?

— Уж очень погода-то плохая, — ответил Андрюша, но, однако, согласился.

А погода действительно была препротивная: стояла середина февраля, и чем теплее днем пригревало солнце, тем злее по вечерам становилась уходившая зима. В то время в Москве только что появилась новость: двухэтажные троллейбусы. Они курсировали от Охотного по Тверской, не то до села Карачарова, не то до села Кочки.

— Давай поедем с тобой до самого конца и обратно, — предложила я Андрюше, — я еще ни разу не каталась на двухэтажном.

— Я тоже, — ответил он и прибавил: — Это ты хорошо придумала, а то на улице такая слякоть и мокрота.

Наша танцевальная группа заканчивала свои занятия в тот день в 10 часов вечера, и поэтому мы отправились в наше путешествие около 11 часов.

В эти часы шикарный красавец — двухэтажный троллейбус — не был наполнен веселой вечерней московской публикой. Теперь в нем возвращались домой нагруженные покупками люди,

которые целый день бегали по магазинам центральных улиц, или служащие, задержавшиеся на работе; и те и другие очень устали, но жизнь за чертой города развила в них привычку: усевшись в вагон, они с удовольствием под мерное и мягкое покачивание троллейбуса отдавались во власть дремоте. За темными мокрыми, запотевшими от холода стеклами окон разлилась сероватая мгла, в которой беловатыми мутными пятнами светились огни города. Они заметно тускнели, становясь менее яркими по мере того, как мы приближались к окраинам Москвы.

Разговор пассажиров постепенно тоже утихал. Иные счастливцы уже мирно дремали, клюя носом в такт движению троллейбуса.

По узенькой винтовой лестнице мы с Андрюшей поднялись на второй этаж. Там было совершенно пустынно, если не считать двух пьяных, которые спали на самом последнем диване, у стенки.

«Какая унылая картина, — думала я, — как бесцветны ежедневные будни нашей жизни…» Рука моя тем временем незаметно то и дело проверяла через сукно шубы выпуклость внутреннего кармана, в котором, чуть оттопыриваясь, притаился пузатый нянин кошелек. О, сколько волшебной власти в нем, в этих смятых бумажках!.. Я могу вырваться сейчас с Андрюшей к свету, к огням, к звукам оркестра; нам будут открыты двери любого ресторана, и на белоснежной скатерти перед нами появится все, что мы только пожелаем! Недаром милый мой друг Евгений, смеясь, называл меня и себя «режиссерами жизни». Если жизнь безрадостна, надо делать ее сказочной, но это довольно тонкое искусство, и, чтобы им овладеть, надо прежде всего обладать терпением и железной выдержкой.

Мне начинало казаться, что для того, чтобы подбросить кошелек, обстановка самая подходящая: двое пьяных спят, кондукторша внизу и никто не станет претендовать на находку.

Я уже успела незаметным движением вытащить из внутреннего кармана кошелек и теперь держала его наготове в широком рукаве моей шубы. Но Андрюша занимал меня рассказом о только что прочитанной им книге, смотрел мне в глаза, все его внимание было сосредоточено на мне, и я не могла сделать ни одного движения без того, чтобы он его не заметил.

Что делать?.. В это время мы подъезжали уже к конечной остановке.

Кондукторша поднялась к нам наверх и теперь, тряся за плечи то одного, то другого, будила обоих пьяных.

«Пожалуй, сейчас самая удобная минута!» — подумала я и встала.

— Давай сойдем вниз, — обратилась я к Андрюше.

— Зачем? Здесь тепло и уютно, на этом же троллейбусе и обратно поедем, — запротестовал тот.

— Пойдем, пойдем! Хоть на станцию взглянем, — настаивала я. Андрюша согласился.

Я пошла вперед. Пройдя две ступеньки, я чуть-чуть тряхнула рукавом. Кошелек мягко выскользнул и упал мне прямо в ноги; я мгновенно наступила на него и, тут же сделав вид, что споткнулась, схватилась за перила и, привставая, поморщилась, точно от боли.

— Что это? — Нога у меня подвернулась, я чуть не упала. — На что это я наступила? — Нагнувшись вперед, я схватила кошелек и, затаив дыхание, прошептала: — Кошелек…

Андрюша мгновенно тоже нагнулся. Я увидела близко его взволнованное лицо, он схватил мою руку, державшую кошелек, и сжал ее до боли.

— Молчи, молчи! — свистящим шепотом произнес он. — Молчи, иди вперед… Никто не видел, иди! — Андрюша был настолько взволнован, что на одну секунду мне даже показалось, что я действительно нашла чей-то кошелек.

В это время над нами, сверху, начали с шумом и руганью спускаться двое разбуженных гуляк, а за ними по лестнице, ворча, шагала по ступенькам и сама кондукторша.

У меня сразу отлегло от сердца. Слава Богу! Самое трудное было сделано, теперь оставалось только блаженствовать…

Но все оказалось не совсем так. На Андрюшу это происшествие произвело такое потрясающее впечатление, что я даже испугалась. Прежде всего он стал мучиться укорами совести: ему казалось, что кошелек потерял один из пьяных. Мне еле-еле удалось его в этом разубедить. Я положила «найденный» кошелек в свою сумочку и, приоткрыв ее немного, дала возможность Андрюше увидеть пачку аккуратно сложенных ассигнаций, которые навряд ли могли быть заработаны рабочими. Мои доводы как будто убедили Андрюшу, но теперь он стал с тревогой впиваться взглядом в других пассажиров, выходивших из вагона. Но ни один не походил на владельца набитого ассигнациями кошелька. — Да разве возможно, имея в кармане столько денег, оставаться таким хмурым, иметь такое недовольное выражение лица? — успокаивала я Андрюшу. — Ты подумай только: кто же, имея на руках такой кошелек, во всю дорогу ни разу не проверит, где он? Хорошо ли спрятан? Не потерян ли?

Но, несмотря на все мои доводы, мы добрых полчаса блуждали в темной сырой мгле по незнакомой станции, присматриваясь ко всем прохожим.

Андрюша никак не мог успокоиться. А потом вдруг наступило полное перерождение: его испуг и волнение уступили место ликующей радости, и теперь он жаждал только одного — как можно скорее пересчитать содержимое кошелька!

Мы решили вернуться на исходную точку нашего путешествия, а именно в Охотный ряд, подняться вверх по Тверской, и там, в здании Центрального телеграфа, открытого круглые сутки, удовлетворить свое любопытство.

Так мы и сделали.

— Господи! — прошептал Андрюша, сжимая в руке пересчитанные нами ассигнации, и светлое лицо его снова омрачилось. — Вот мы с тобой сейчас радуемся, а тот, кто потерял эти деньги, может быть, волосы на себе рвет…

— Не будем гадать, — ответила я. — Не он первый теряет, и не мы первые находим. Если не мы, то этот кошелек нашли бы другие. Лучше подумаем о том, что нам делать. Находка наша общая, значит, деньги пополам. Ну, что же ты собираешься покупать? — Задавая этот вопрос, я была готова к тому, что Андрюша заговорит о недорогом каком-нибудь костюме и черных лакированных полуботинках, которые давно были его мечтой; но он, ни минуты не колеблясь, ответил:

— Это твое, женское дело что-нибудь себе покупать, а я на свою половину приглашаю тебя танцевать! Да так, чтобы пыль столбом пошла! Ведь я все время мечтал найти клад!..

— Мне тряпки совсем не нужны, — сказала я, — а так как денег у нас с тобой достаточно, то давай обсудим, где мы побываем.

Было решено, что заветные деньги будут лежать до следующего воскресенья. А в воскресенье мы начинаем наш кутеж с того, что идем на дневное воскресное представление в цирк. Оттуда едем завтракать в «Метрополь». Потом пьем шоколад с пирожными в «Национале». Обедаем в 6 часов в «Савое», едем в «Оперетту», а после нее ужинаем в «Гранд-Отеле», где и танцуем до утра. К сожалению, из-за зимнего сезона все рестораны-«крыши» были закрыты.

Я никогда не забуду восторженного выражения лица у Андрюши в тот миг, когда в мраморной зале потух свет и под звуки джаза в фантастическом рисунке кружившегося фонаря поплыла, вместе с танцующими парами, вся зала.

Надо было видеть, какой лучезарной радостью светился Андрюша; эта радость сияла в его глазах, играла в улыбке, наполняла какой-то новой, мягкой грацией каждое его движение, придавала особое очарование каждому его, даже незначительному слову.

На три года я была старше, но Боже! Какая непроходимая пропасть лежала между этим большим ребенком, который еще не знал ни жизни, ни любви, и мной — женщиной, успевшей столько пережить и испытать. Он казался мне моим сыном, а я сама была человек, который, уцелев после кораблекрушения, плывет на жалком обломке дерева, вцепившись в него обеими руками, среди злобно вспенившихся волн грозно ревущего океана, который называется жизнью…

Зная, как жестока, как трудна, как безобразна бывает порою жизнь, я была счастлива дать этому милому существу, которого звали Андрюшей, хотя бы одно незабываемое и хорошее воспоминание.

Когда мы пили шампанское, Андрюша, виновато улыбнувшись, признался мне:

— Никогда я его не пил и думал, что оно необыкновенное, а это просто хорошее ситро с алкоголем, только и всего!

Когда мы заказывали какие-нибудь кушанья, то Андрюшу больше всего привлекали непонятные названия, вроде «оливье», «сотэ» и т. д.

— Давай закажем и посмотрим, что это такое! — восторженно шептал он мне.

Больше всего его поразил «соус с трюфелями», так как в его представлении трюфелями были только шоколадные конфеты.

От шампиньонов он решительно отказался, сделав при этом необычайно брезгливое выражение лица:

— Я их знаю, в деревне на лугу растут, где скот пасется. Это поганки, я их есть не буду, и ты, пожалуйста, тоже не ешь…

Мы веселились и танцевали до утра, а потом на оставшиеся деньги взяли такси и попросили шофера катать нас из одного конца Москвы в другой. А когда наступила минута прощания, Андрюша крепко пожал мне руку и вдруг совершенно неожиданно сказал:

— А знаешь, о чем я сегодня думал? Давай поженимся, брошу я к черту свою учебу! Будем вместе с тобой уроки западных танцев давать, хочешь?

— Милый Андрюша, — ответила я, — подумай лучше, не опаздываешь ли ты сегодня на работу? Посмотри, который сейчас час. Ведь тебе необходимо обтереться холодной водой, а то ты у станка твоего заснешь! Прощай до послезавтра, до нашего следующего урока! — С этими словами я нырнула в крыльцо нашего деревянного домика в Староконюшенном переулке.

Вскоре я перестала посещать «Метрополь». На долгое время оставила танцы. Андрюшу я больше не видела и не стремилась к тому, чтобы его встретить.

ПОД НОВЫЙ ГОД

Рассказ второй

(По подлинным письмам М. А. А.)

Однажды в канун Нового года мама с Димой Фокиным, моим вторым мужем, точно сговорившись, вдруг лишили меня моей обычной свободы. Я должна была встречать Новый год с ними.

Обычно мне легко удавалось сговориться с каждым из них в отдельности. Когда же они соединялись против меня вместе, я сдавала свои позиции.

Правда, причина, лежавшая в корне их просьбы, была достаточно серьезна, и потому я сдалась на их доводы довольно легко, хотя тут же впала в самое мрачное настроение. Наша домашняя обстановка с некоторого времени стала мне невыносима.

Новый год встречали у Пряников, в их большой просторной комнате. Под «Пряниками» теперь подразумевался один, оставшийся в живых Тинныч, который по-прежнему работал «учетчиком брадобреев» в парикмахерской, и грек Мелиссари Гуруни. Он служил в канцелярии греческого посольства, получая жалованье в валюте, и пользовался особыми магазинами и ежемесячным, особым пайком от посольства.

В 12-м часу ночи мы все сидели за их большим дореволюционным (и по размеру, и по яствам) столом.

Мама испекла традиционный новогодний пирог и на большом четырехугольном торте, тоже ее изготовления, выложила миндалем цифру наступавшего Нового года.

Ярко блестели начищенные ризы образов в Прянишниковском киоте. Перед ним теплилась зажженная восковая свеча, а большая красноватого стекла лампада лила свой ровный равнодушный свет так же, как много, много лет назад.

В ожидании полночи все отдались воспоминаниям: вспоминали прошедшие годы, и перед глазами грустной вереницей проходили тени дорогих умерших. Эта печальная цепь с каждым годом становилась все длиннее.

В разных уголках Москвы понемногу умирали друзья, и все меньше становилось тех, кто знал, помнил и навещал бывших миллионеров Прянишниковых.

Вспоминали веселые и печальные встречи других Новых годов, считали по пальцам, сколько лет прошло после того или иного события, спорили… вспоминали характеры, привычки умерших людей и вздыхали, вздыхали… А за фокинским

высоким, до блеска начищенным самоваром, который, ворча, кипел и плевался горячими брызгами, сидела Аннушка Махрова. На все праздники она сползала со своего мезонина тихой, скользящей ящерицей и, оставив сына, невестку и внуков, сидела в обществе своих бывших благодетелей.

Еще сравнительно недавно она, сидя на своей деревенской картошке, овощах и на мешках муки, присланных братом Колей-Колькой (теперь председателем колхоза), совершенно холодно и равнодушно смотрела на то, как от голода и цинги умер Николай Иванович и как, голодная, грязная и немытая, умерла ее барыня и молочная сестра Тинна.

Но с тех самых пор, как Гуруни восстановил свое подданство и начал служить в греческом посольстве, Аннушка снова стала вползать в комнату Пряников и, притаившись, сидеть за самоваром.

Вот и теперь, медовым голосом вспоминая покойников и поддакивая общему разговору, она своими маленькими ярко-зелеными глазками зыркала по столу; в то время как взгляд ее впивался то в латвийские кильки, то в английскую ветчину, то в рижскую корейку, тонкие губы ее скупого и злого рта сжимались, проглатывая набежавшую слюну.

Тинныч, как всегда виновато моргая своими чудными, большими голубыми глазами, все бегал, проверял часы, все собирался включить радио, чтобы не пропустить бой часов на Спасской башне.

Гуруни раздраженно махал на него рукой.

— Нэ втыкай, нэ втыкай радый, — со своим неподражаемым южным акцентом говорил он, — када врэмя будэт, я сам воткну!..

А мама, все боясь, чтобы не остыл пирог, то укрывала его салфеткой, то говорила, что пирог «вспотел», и опять открывала его, и все суетилась, суетилась у стола.

Дима, чисто выбритый, в новом сером костюме, очень довольный собой, ходил, поглядывая мимоходом на себя в зеркало; он откупоривал и расставлял на столе бутылки с винами и показывал Тиннычу только что купленный им набор самого лучшего чая, из специального чайного магазина на Мясницкой улице.

Все эти люди и вся эта сутолока были скучны-скучны и вызывали в моей душе какую-то ноющую тоску.

Наконец Гуруни включил Красную площадь. Из черной бумажной круглой тарелки, весевшей на стене, в комнату ворвался отдаленный шум улицы, глухие гудки проезжавших автомобилей. Наконец раздался перезвон Спасских часов, а вслед за ним и первый удар, возвещавший полночь.

По старой традиции все выстроились перед киотом и погрузились в молитву.

Громкие звуки грянувшего оркестра и веселые такты «Интернационала» застали молившихся на коленях, за земными поклонами. Под звуки «Интернационала» это выглядело, мягко выражаясь, несколько необычно.

— Замалылись, дураки! — крикнул, смеясь, Гуруни, заядлый безбожник.

Тинныч как встрепанный вскочил с колен, выдернул шнур с вилкой от радио. «Интернационал» оборвался.

— Какое наваждение! — шептала мама, продолжая еще по инерции креститься.

Все стали целоваться, поздравлять друг друга. Дима, наливая, подносил всем рюмки, начали чокаться. Сели за новогодний ужин.

Но для пожилых людей он длится недолго. После двух-трех рюмок все уже опьянели, возбуждение быстро уступило место усталости, все ели нехотя, и каждый втайне мечтал о постели. В час ночи, оставив почти весь ужин на столе, пожелав друг другу спокойной ночи, все разбрелись по своим углам, и вскоре самый разнообразный храп стал раздаваться со всех сторон.

Я лежала открыв глаза, и чем глубже все вокруг меня погружалось в сон, тем меньше мне хотелось спать.

Вдруг я вспомнила о том, что на всех площадях Москвы установлены елки, что перед ними на наскоро устроенных подмостках будут выступать артисты. Потом я вспомнила о том, что из нашей квартиры многие жильцы ушли встречать Новый год к знакомым; следовательно, двери квартиры нашей останутся без предохранительной цепочки, а потому… потому… сердце мое забилось вдруг так сильно, и чувство неизъяснимой радости охватило все мое существо!..

Даже сама не отдавая себе отчета, куда я иду и зачем, повинуясь какому-то совершенно мне непонятному зову, я, словно вор в темноте, стала быстро одеваться, боясь только одного: чтобы кто-нибудь не проснулся.

Ах, скорее на улицу, скорее к людям, только бы не оставаться здесь, в этом царстве мертвых…

Я всегда не любила сон; недаром он олицетворяет смерть. Мне всегда было жаль спать. Именно жаль.

«Ведь жизнь идет, — думала я, — бегут секунды, минуты, часы, и то время, которое мы отдаем сну, это драгоценное время мы воруем у себя, у своей жизни…» Когда я вышла на улицу, она была очень оживлена.

Спешили опоздавшие на встречу Нового года. Были и такие,

которые уже встретили. В большинстве случаев это были молодые супруги с маленькими, заснувшими у них на руках детьми, спешившие к себе, на покой. Большинство же москвичей еще сидело за ужином.

Мне сразу стало очень весело, едва я очутилась на улице и на свободе. Шла я к Арбатской площади, еще не зная, куда направить свой путь. Мороз был небольшой, зато поднималась метелица, пока еще шаловливо смахивавшая с крыш колючую, приятно обжигавшую лицо снежную пыль.

Я пересекла площадь и у «Художественного» кино встала на остановке автобуса, шедшего по Воздвиженке. Мне пришло в голову поехать на Театральную площадь и посмотреть на уличные елки и народное гулянье.

Послушать толпу, народ, уловить отдельные фразы, настроение и унести это все в своем сердце. Я очень любила растворяться в волне людей; перестать существовать и жить чужой жизнью…

Как ни странно, но на остановке никого не было. Я пристально вглядывалась в Арбат, по направлению к Смоленской площади, ожидая появления желанного автобуса. Но, кроме личных машин и такси да редко мелькавших пешеходов, никто не пересекал площади.

— Скажите, здесь останавливается второй номер автобуса? — спросил меня подошедший человек.

— Здесь, — не глядя на него, ответила я, продолжая всматриваться в даль.

— А он давно не проходил? — спросил меня тот же голос.

— Я только что подошла, — ответила я, не оборачиваясь.

— И не дождетесь, — вдруг весело возвестил голос, — не дождетесь, потому что остановку перенесли…

— Да что вы? — испугалась я отчего-то и наконец взглянула на говорившего. Только тогда я поняла, что он шутит. Глядя на меня, он улыбался и продолжал:

— Это я говорю только для того, чтобы вы на меня посмотрели. — Он еще больше заулыбался.

Передо мной стоял человек лет пятидесяти. Из-под котиковой круглой шапочки поблескивала седина виска. Черный котиковый воротник шалью резко оттенял бледность худого, немного даже болезненного лица. Черты его были тонки; большое самолюбие, доброта, ум, быть может, даже подчас едкий до жестокости, — вот то, что я прочла на лице незнакомца. Он заинтересовал меня, и я охотно вступила с ним в разговор.

— Увидев вас, одиноко стоявшую на остановке, — сказал он, — я, по правде говоря, удивился. Мне показалось странным,

почему женщина ваших лет в такой поздний час новогодней ночи стоит здесь одна, вместо того чтобы сидеть в кругу семьи и друзей за веселыми тостами за праздничным столом. И я решил во что бы то ни стало спросить вас об этом, конечно, если вы соблаговолите почтить меня своей откровенностью.

— Если вам это интересно, то с удовольствием, — согласилась я и рассказала ему без утайки всю правду, вплоть до того момента, как ночью, под общий храп, в темноте оделась и убежала на улицу. — А вы? — спросила я в свою очередь. — Почему вы очутились на улице в новогоднюю ночь?

— Постараюсь ответить вам с той же искренностью, — сказал он и, вздохнув, вдруг сразу потупился и сделал паузу, словно ему не так легко было произнести какие-то слова. — Видите ли, — медленно начал он, — еще совсем недавно, еще в прошлом году, я не был одинок… Была жива моя жена… А вот этот год я остался один… Конечно, у меня много друзей, очень много. Особенно семейных, у которых мы часто бывали вместе с женой. Все они наперебой звали меня встречать Новый год с ними, но подумайте сами: как бы я сидел среди них, знавших мою жену, сидел бы в той комнате, где мы столько раз с ней бывали вместе?.. И чтобы избежать этого, я принял приглашение одного сослуживца. Он большой инженер, заядлый холостяк, не один раз разведен. Компания у него встречала Новый год большая и довольно интересная: актеры, певцы, балерины, художники…

Ну, думаю, пойду развлекусь. Внес пай, пошел, выпил первый бокал шампанского, прослушал несколько веселых тостов, посидел немного, и такая острая тоска меня взяла, что я без оглядки убежал: вышел в соседнюю комнату, якобы папироску выкурить, а сам надел шубу да и был таков!.. Теперь вот стою перед вами, позвольте представиться: Михаил Александрович Архангельский.

В ответ я назвала себя.

— Куда же мы с вами направим свой путь? — спросил он.

— На Театральную, посмотреть иллюминованные елки.

— Давайте пешком? — предложил он.

Я согласилась, и мы пошли, не обращая внимания на обгонявшие нас автобусы.

Так неожиданно в поздний час новогодней ночи я очутилась в обществе очень интересного и умного собеседника.

Чем больше я разговаривала с этим человеком, тем больше меня охватывало какое-то очень странное чувство: казалось, он был мною прочитан где-то и не один раз я углублялась в образ этого до мелочей, до самой последней черты понятного мне человека. Я даже видела его в театре. Типичный русский

интеллигент. Пылкий романтик в душе, а в жизни подчас отвратительный циник. Человек со взлетом души, но с плавниками вместо крыльев, полный благородных порывов, с тоской о красоте, ненавистник пошлости, но вечный ее раб и всегда безнадежный неудачник. Словом, один из героев нашего великого Антона Павловича Чехова.

Театральная площадь с огромной иллюминованной елкой и веселившаяся молодежь не тронули меня. Громкоговоритель хрипло и фальшиво передавал на всю площадь танцы. Группа молодых людей с гармошкой в руке орала свои песни, девушки взвизгивали в лихих частушках. Все были пьяны, и лица у всех были глупые и противные. Что касается Михаила Александровича, то, глядя на всю эту картину, он весь преисполнился желчью, и оба мы мечтали поскорее удалиться от этой галдевшей площади. Мы шли, оставляя за собой улицы, переулки, пересекая широкие московские площади.

Все во мне померкло, кроме одной ненасытной жажды: глубже проникнуть в незнакомца, ближе узнать эту душу, этот новогодний подарок, который я так неожиданно получила.

Мы все говорили и говорили. Повалил снег. Проходя мимо какого-то здания, Михаил Александрович показал мне на него рукой.

— Как вы к этому относитесь? — спросил он. В белой завесе падавшего снега я разглядела очертания церкви.

— Я верю, но…

— Никаких «но», — резко оборвал он меня. — Значит, не верите. В вопросе религии может быть только «да» или «нет».

— Если так, то «да». Я только хотела оговориться, что христианская религия со всей ее обрядовой стороной и священниками мне чужда.

Эти слова привели Михаила Александровича в настоящее исступление. В религии он был неистовый фанатик и самый ярый церковник.

И о чем только мы не говорили в эту ночь… Утро застало нас на Гоголевском бульваре в самом горячем споре о французских композиторах; дело шло о Дебюсси и Равеле, которых Михаил Александрович не признавал, называя их декадентами «пустых звучаний». Он признавал только русскую музыку и выше «Могучей кучки» ничего себе представить не мог. Лишенный распоряжением нашего правительства колокольного звона, он упивался колоколами в «Граде Китеже», в «Иване Сусанине» и в «Борисе Годунове».

На высоком черном пьедестале сгорбленный Гоголь сидел весь покрытый снегом, напоминая маленькую снежную горку. Мы

сидели против великого писателя на скамейке, тоже заваленные снегом, хотя, слава Богу, к утру он перестал идти.

Я вся посинела и дрожала не то от холода, не то от той леденящей пустоты, которой был полон мой собеседник, от его одиночества, от его тоски и от той обреченности, которой веяло от всей его личности.

Как согреть его? Как помочь ему?.. Я прекрасно понимала, насколько я дорога и нужна ему в эти минуты. Ему необходимо было выговориться, облегчить себя. Ему нужен был слушатель, и, поскольку им оказалась женщина, он был счастлив.

Женщина умеет терпеливее выслушать и если не понять, то по крайней мере сделать вид, что понимает.

Я никак не могла проститься с ним и уйти, казалось, он больше всего боялся этой минуты.

— Ах, я не увижу вас больше, — с тоской говорил он. — Ну когда, когда же мы встретимся? — спрашивал он тревожно.

Я окинула взглядом Арбатскую площадь и увидела с правой ее стороны почтовое отделение.

— Вот, — я указала на него, — пишите мне туда, на мое имя до востребования… Я немного освобожусь от разных дел, и тогда увидимся… А вы пока пишите, я буду отвечать.

Между прочим, так говорила я многим. Первое, что я говорила, когда видела, что человек почему-либо тянется ко мне. Письма раскрывают всё, как бы человек ни лгал в жизни, какие бы «позы» он ни принимал, какие бы маски ни надевал. Слог, обороты, стиль, даже сам почерк могут раскрыть нечто самое затаенное в человеке, нечто такое, что он тщательно от всех скрывает.

Было у меня по отношению к этому человеку одно подозрение. Когда настало утро, я смогла как следует рассмотреть его дотоле скрытое в полутемноте лицо. И на этом лице я прочла то, что в первую минуту заставило мою душу брезгливо отшатнуться. Чуть заметное подергивание мускулов лица в минуту, когда он взволнованно о чем-нибудь спорил, иногда какое-нибудь размашистое, нерассчитанное движение руки, а главное, что-то маниакальное во взгляде — все это, вместе взятое, выдавало в нем алкоголика. Хотя то, с какой тщательностью, чистотой и даже, можно сказать, шиком он был одет, показывало, что он только пристрастен к вину, но рабом его не успел стать, а следовательно, не успел и опуститься. Может быть, всему виной его одиночество, тоска по умершей жене?

Скажу искренно: этот человек сам по себе ничем меня не привлекал. Он стал мне чересчур ясен с одного только свидания, но… Я не всегда думаю только о себе.

Можно ли равнодушно пройти мимо человека, который страдает, пройти мимо его одиночества, его тоски, которую я так ясно ощутила и которая легла на мою душу тяжелым камнем и на время даже придавила меня?

Может быть, удастся какими-нибудь средствами спасти его? И прежде всего я решила затеять с ним самую живую переписку, это развлечет его. Потом мне захотелось нарушить его одиночество. Он создан для брака. Я задумала его женить. Тотчас же в моем представлении встали две кандидатуры. Первой была Валя. В своем очередном браке она очень мучилась с молодым и легкомысленным, всюду ей изменявшим мужем. Ее мечтой был человек пожилых лет.

Второй была Анна Павловна Б., наша соседка по двору в Староконюшенном переулке, только что овдовевшая женщина лет 40, добрый, славный человек и чудная хозяйка.

Но для осуществления моего плана следовало близко подружиться с моим новым знакомым, и в этом мне должна была помочь наша с ним переписка.

С таким твердым намерением я рассталась с Михаилом Александровичем. Придя домой, я за утренним кофе рассказала Диме о моей встрече и о моих планах. Выслушав меня, Дима стал хохотать как сумасшедший, чем меня не только до крайности обидел, но даже оскорбил.

Не придавая значения этикету, который не дозволяет женщине писать мужчине первой, я, полная своими планами и желанием сделать доброе дело, написала одно за другим два письма Михаилу Александровичу, а зайдя на почту, на другой день и сама получила от него весточку. Привожу это первое письмо полностью:

«Екатерина Александровна!

Все время нахожусь под сильным впечатлением нашей столь необычной встречи. Боюсь, что я оставил о себе самое нелепое впечатление. По крайней мере я был прямодушен и вполне искренен. О Вас у меня сохранилось самое лучшее воспоминание. Я очень сожалел бы, если бы наше знакомство пресеклось столь же неожиданно, как и началось, поэтому с нетерпением жду если не встречи, то по крайней мере Вашего письма. Это не дерзко — вы мне обещали. Итак, жду с нетерпением от вас вестей, хотя бы самых кратких… А может быть, все это лишь бред моей больной души? Нет, нет; ведь это было наяву! Не правда ли? Хочу Вас снова видеть, слышать. А ведь это так просто сделать. Но, повторяю, на все Ваша всемилостивейшая воля.

До скорого свидания, о котором уже мечтает

Ваш М. Архангельский».

О моих планах я рассказала и Вале, и Анне Павловне. На общем совете было решено, что я буду с ним переписываться, но видеться не буду. За это время мы подготовим их (обеих) встречу с ним в обществе. После знакомства нам всем будет ясно, понравился ли он кому-либо из них и какая из двоих понравилась ему. Вместе с тем Михаил Александрович прислал мне второе письмо:

«…Я думал на другой день: проснется моя странная, случайная незнакомка утром и скажет: бррр… что-то вчера полуфривольное было, ну да ведь Новый год! И даже тени воспоминаний не останется. Зачем же надобно писать? Чтобы это письмо, пролежав долгое время на почте, в истертом, замызганном виде было брошено в мусорный ящик, а может быть, кто-нибудь от скуки прочтет и скажет автору надгробное слово: „Какой глупец!“

И вдруг мне подают на почте целых два письма, я широко открыл глаза и спросил девушку, не спутала ли она инициалы, но все оказалось в порядке. Я трепетно вскрыл их оба тут же на почте и был умилен и растроган их содержанием. Мне стало стыдно, и я почувствовал, насколько же неизмеримо стою ниже Вас. Я тотчас же пришел и сел писать Вам. Верьте мне, что это воистину было так! Особенно растрогало меня Ваше первое письмо. Оно (помимо Вашей воли, вероятно) было таким родственно близким и даже нежным, не потому, понятно, что я Вам вдруг стал близким, а очевидно, потому, что этой заботливостью и нежностью к людям Вы вообще одарены безмерно. Есть такие редкие, исключительные женщины, это воистину сестры милосердия человечества.

„Мой новогодний друг“ — Вы так меня назвали в Вашем письме. Разве это не трогательно! А я боялся (чего, не знаю) написать Вам. Ограниченные люди всегда самолюбивы. Я самолюбив — следовательно, ограничен. А Вы даже не думали, что подумают о Вас, и удобно ли женщине писать первой, и какая судьба постигнет Ваше письмо, а просто написали, и все. А я? Ничтожество, обреченный человек, жалкий и неисправимый. Вы коснулись одного (из моих) больных мест — пьянства. А пьянство — разве это не синоним ничтожества физических и духовных свойств человека? Мне кажется, что Вы вообще замечательный человек и при всей Вашей трогательной заботливости к другим сами нуждаетесь в заботе и помощи…» и т. д.

«Милый, дорогой человек, — подумала я, — как он себя бичует и как бесстрашно и благородно он признался в пьянстве!»

Но, зайдя на другой день на почту (тоже на всякий случай), я

получила третье, правда, коротенькое письмо:

«Екатерина Александровна!

Вчера послал Вам второе письмо. После моего молчания Вы вдруг тоже получите сряду два письма. Быть может, не такого милого и теплого склада, как Вы мне написали, но Вы ведь женщина, а я мужчина! Мужчина груб, самонадеян, самолюбив и Непосредственен, как истый самец. Женщина — ему антипод! А если бы было иначе, то вообще бы ничего не было, ни жизни, ни людей, ни переживаний! И не сердитесь на меня, моя хорошая и милая Катюша (простите, что я назвал Вас этим именем). Вы помните, я спрашивал вас, как лучше и нежнее назвать Екатерину? Не сердитесь! Я хуже Вас неизмеримо, но и я могу быть нежен. И я испытываю к Вам величайшую нежность!»…

После этих неожиданно вырвавшихся чувств идет уже настоящий монолог одного из чеховских персонажей:

«…я хотел бы встретить женщину, которая бы любила мужчину не за ум, красоту, богатство, а любила бы просто как человека, каков он есть в своей неприглядности, со всеми недостатками. Женщина, она любит мишуру, внешний блеск, фрак, манишку и не хочет знать, что находится за крахмальной манишкой. А иногда и под грубой, грязной тканью бьется нежное и сильное сердце.

Но вы мне уже сказали: в Вашем замке я ничего не могу увидеть, и даже Вас!!

Мне это грустно и горько. Я готов служить Вам, повсюду следовать за Вами, излечиться от всех скверн, готов сделать все во имя Ваше»… и т. д.

Прочтя все это, я подумала, что начинаю нравиться этому человеку и что надо кончать нашу переписку и скорее «переключить» его на совершенно другой женский образ.

В Староконюшенном переулке, во дворе, недалеко от «знаменитого» деревянного дома, который когда-то арендовали Прянишниковы, стояло удлиненное здание конюшни, принадлежавшее дому и сдававшееся вместе с ним в аренду. В одной его части стояли прянишниковские лошади, а другая часть была каретным сараем.

После революции сарай и конюшни долго пустовали, потом там одно время стояла корова, привезенная Аннушкой из деревни. Затем, после распоряжения правительства о запрещении держать скот в центре Москвы, Аннушка свою корову продала, а все здание стал переоборудовать под жилье некий богатый застройщик. Это был известный доктор (терапевт), которому правительство пошло навстречу. Он был женат на женщине с тремя детьми (от первого мужа).

Впоследствии этот доктор пережил много тяжелого и наконец умер от разрыва сердца.

Оставшаяся после него вдова и была та самая Анна Павловна, которую я прочила в жены моему «новогоднему другу».

После смерти мужа у нее тотчас же отобрали часть обстановки и вселили к ней в дом чужих людей. Однако две комнаты с обстановкой ей оставили.

Старший ее сын был в армии, дочери Леле было лет 17, а младшему сыну Коле — лет 13. Поскольку Леля была, как говорят, «без пяти минут» барышня и сама Анна Павловна, красивая, высокая и стройная вдова, жаждала знакомств и развлечений, мы с Валей им в этом очень помогли. В те годы было много процессов и репрессий, поэтому мы с Валей избегали где-либо бывать. Для больших вечеров комната Вали была мала, и мы их устраивали у Анны Павловны.

Однажды, когда Анна Павловна вздумала сосчитать, сколько молодых людей мы ввели в ее дом, то их оказалось 18 человек. Все они были холостые, молодые, веселые; большинство из них было еще к тому же прекрасными танцорами, и внешность их была словно на подбор.

Поэтому, задумав устроить у Анны Павловны бал-маскарад, чтобы познакомить ее там с Михаилом Александровичем, я сейчас же сообразила, что в его годы он среди таких блестящих молодых людей будет себя плохо чувствовать. Ведь такое положение часто сковывает и принижает человека, в особенности если принять во внимание его самолюбие.

Тогда я решила привлечь на этот маскарад мужчин в его возрасте и даже постарше, хотя это нежелательно расширяло все наше мероприятие. Выбор мой пал на нескольких лиц из мира искусства.

Невозможно описать, что у нас началась за кутерьма и спешка! В большой комнате и длинном, широком коридоре должны были проходить танцы. В другой комнате решили накрыть столы с ужином.

Надо было декорировать всю квартиру Анны Павловны. Мы клеили фантастические разноцветные фонари самых разнообразных форм. Мы искали у своих друзей и стягивали в квартиру Анны Павловны всякие ковры и пестрые скатерти. Все дамы были заняты шитьем маскарадных нарядов, кроме нас с Валей — мы решили надеть наши прежние.

Маскарад делали в складчину — вносили паи, но у нас были и почетные гости, с которых мы решили пая не брать. В их число попал и Михаил Александрович.

Со своей стороны я пригласила известного всем знаменитого

художника Василия Николаевича Яковлева (впоследствии лауреата Сталинской премии) и тоже известного художника Ксаве-рия Павловича Чимко. Валя пригласила своего бывшего поклонника, известного писателя Анатолия Каменского, который только что вернулся из Парижа и привез с собой в Россию в качестве жены парижскую даму.

Мужчины были освобождены от маскарадных нарядов, но маски были обязательны, потому мы изготовляли их в большом числе, наклеивая на матерчатую кальку блестящий черный атлас.

Несмотря на то, что все письма Михаила Александровича были полны просьбами о нашей встрече, на маскарад он еле-еле согласился, продолжая настаивать на том, чтобы до маскарада мы бы хоть один раз увиделись.

Привожу одну из выдержек его письма тех дней:

«…Сегодня канун Рождества. Традиционный и трогательный для меня день. Я вместо церкви пишу Вам это письмо, и я настроен молитвенно. Передо мною украшенная елка, накрытый стол и Ваше письмо. Нет, Вы сами, очевидно, не знаете, насколько Вы милы, а я сужу о Вас по Вашему смелому и размашистому почерку, и только. Вы знаете, я почти забыл Ваше лицо, знаю только, что оно такое милое и хорошее. И, встретившись с Вами где-нибудь случайно, простите, не смогу вас узнать, настолько мимолетна была наша встреча. Вы личных встреч почему-то избегаете, хотя, простите, сами мне предлагаете посетить Ваш вечер, но это будет 11-го, а сегодня только 6-е. Простите меня за дерзость, я Вас попросил бы о кратковременном свидании…»

Письмо он кончает словами:

«…Простите меня еще раз и еще раз. Хочу Вас вновь увидеть, и если это свершится 11/1, и на том спасибо, буду ждать терпеливо.

Целую Вашу руку. Стараюсь воспроизвести в памяти Ваш образ, но мне это плохо удается.

Ваш искренний и истинный новогодний друг М. Архангельский».

Я понимала его отчасти: он боялся, что, увидев меня, не узнает и этим, возможно, оскорбит мое самолюбие. Но именно на это я и надеялась. Я успокаивала его тем, что он легко меня узнает, так как я буду в костюме гейши. Вот где была моя хитрость. Костюм гейши был у Вали, а я была баядеркой.

Я надеялась на то, что он, увидя гейшу и думая, что это я, отдаст ей весь порыв своего нетерпения и всю свою накопившуюся нежность, которая была, кстати сказать, Вале в то время очень необходима.

Однако, получив от меня решительный отказ в нашем

предварительном до маскарада свидании, мой новогодний друг разразился дерзким, грубым и полным цинизма письмом.

Скажу откровенно, что, читая его, я в первую минуту пришла в настоящее бешенство. Привожу это письмо:

«Екатерина Ал-на!

Из последнего В/письма я убедился, к горечи своей, насколько мы с Вами разные люди: Вы институтка, я — плебей. Я прямодушен, Вы лукавы, как истая женщина. Я мул, а Вы погонщик с хлыстом в руках. Как много тяжелых нравоучений Вы высказали мне…»

К сожалению, письмо написано карандашом, а он стерся, и я не могу всего переписать, поэтому пропускаю три четверти страницы. Продолжаю то, что могу разобрать.

«…Вы подчеркнули Ваши 32 г. (хотя это я мог и так высчитать — 13 лет со дня революции), а мне, „молодому человеку“, в Михайлов день исполнилось 41!.. Вы некрасивы… Но разве громко скажет это женщина, не уверенная в своих чарах?! Вот оно, лукавство! А я-то „Дон Жуан“ — покоритель непокорных сердец!..

Кажется, в высоких сферах иногда маскарадом называют баню, и вот в эту самую простую русскую баню мне следует пойти 11/1 в целях поддержания если не лоска, то хотя бы элементарной опрятности. Во мгле банных паров я воображу себе блеск и шум Вашего веселого маскарада. Да, в баню, в баню! Обрить бороду, постричься и срезать мозоли! Вот мой маскарад!

Когда в предыдущем письме я дал свое согласие на Ваш „маскарад“ (возьму-ка и я в кавычки это слово), то мною руководило одно чувство: чтобы Вы не заподозрили меня в трусости. Вот, мол, неуч, испугался маскарадной экзотики! А это самое обидное для меня, т. к. я далеко не труслив и дважды в жизни смотрел смерти в глаза, да и теперь, пожалуй, не испугаюсь посмотреть. Вот почему я не хотел пойти на Ваш вечер, а все же был согласен, и вот почему я назвал себя мулом, а Вас погонщиком.

Но теперь, по-видимому, все кончено. Вы в бешенстве разорвете этот листок и потребуете обратно Ваши письма (так, кажется, поступает женщина, негодуя?). И поделом мне. Я выразил здесь только свой дурной характер, грубость, отсутствие рыцарских чувств к женщине. Простите меня за все, Е. А. Ну вот, ей-Богу, опять хочется назвать Вас Катюшей, но цыц! Да, злобен я иногда бываю, как бульдог, а по природе, правда, — добрая, услужливая и верная дворняжка. Итак, не сердитесь на мой лай и простите меня великодушно.

Все же память о нашей встрече я сохраню. А Вы о ней

забудьте поскорее.

Простите. М. Архангельский.

Постскриптум. Все же если бы я увидел Вас сегодня, то я не был бы автором такого горького письма. Это, видно, сама судьба. Желаю от души Вам счастья, 8/1 37 г.».

Невозможно рассказать, как я рассердилась на это глупое и хамское письмо, особенно меня разозлило слово «мозоли»!

Но потом, подумав и хладнокровно все разобрав, я поняла, что сердиться мне не на что. Разве я не лукавила с ним? Разве из-за своего к нему чувства я вела с ним переписку?..

Конечно, в своем письме он прав: он прямодушен, я лукава… Но меня оправдывает одно: мне хочется помочь ему ради него же самого, однако сказать об этом ему нельзя — обидится. Но тут я вдруг вспомнила, что только что послала поздравление с праздником Рождества… Михаил Александрович уже получил его, оно было в его руках, и в ответ мне от него полетело письмо, полное раскаяния. Привожу его полностью:

«Екатерина Александровна!

Сейчас только опустил свое дурацкое письмо, прошелся и, придя домой, вновь прочитал В/письмо, а прочтя, ужаснулся, вспомнив то, что я написал.

За что, за что я оскорбил, обидел вас? Вы славная, Вы умная, Вы чуткая! Вы поймете, Вы почувствуете, что это не я писал! Сожгите, уничтожьте это скверное, постыдное, дерзкое и грубое письмо. Оно написано карандашом, не верьте ему!

Ведь в В/письме что ни слово — перл! Над ним лишь можно умиляться и слезы лить, да — радостные слезы. И перлы же эти рассыпаны кому Вашей щедрою рукой? Мне, недостойному человеку.

„Бегу скорее опустить письмо, чтобы Вы его скорее получили“ — так пишете Вы. Вы бежите для того, чтобы я получил его вовремя и не затруднил бы себя, подлеца, напрасным ожиданием. Разве это не трогательно, ведь, простите, это нежно!!! Или Ваше желание, чтобы я догадался и зашел раньше на почту, а не попер бы сдуру сразу на свидание. Какое милое, скромное, сердечное внимание.

А я это и не заметил сразу (слава Богу, что вообще-то заметил!), а сразу обрушился со всей грубостью и дикостью половца на тернии. Да где они? Почему я их сейчас не вижу? „Я плебей“, я груб, неряшлив, и от меня воняет потом… — вот чем похвалился дурак!

Нет, то не я писал! И никак нельзя изъять этот пошлый документ, он попадет Вам в руки! Вот трагедия.

„Я хочу быть для Вас Большой Душой“. И это ведь мне же такой щедрый, драгоценный дар! А я, о Боже, какой срам, какая низость! „10 января я сама занесу на почту Вам письмо“. Увы, теперь Вы его не занесете и правильно сделаете.

„Пусть Рождественская звезда озарит светом наши отношения“, — пишете Вы. Божественно, умиленно и проникновенно сказано. А я тут же омрачил все святое и хорошее мраком дьявола. Как горько мне. Нет, то дьявол за меня писал! Он ведь не выносит света, ему нужен мрак и бездна.

„К тому же я не молода“… Нет, Вы чистый, светлый ребенок, а я недостойный старый пошляк.

„До свидания, мой Новогодний друг“, — пишете вы. И я не услышу этой музыки. Вместо свидания — темное прощание. Как горько и тяжко мне. И я сам все это заработал. Простите, прощайте, мой светлый друг. Прошу Вас верить, что как первое, так и второе письмо, несмотря на их разноречивость, написаны в абсолютно трезвом состоянии, только первое от дьявола, а второе от В/новогоднего Друга» (подпись).

Да, подумала я, получив эти два письма, теперь, пожалуй, я скажу, что Михаила Александровича написал не Чехов, а сам Достоевский. И может быть, Достоевский в нем преобладает.

Чужд мне был этот человек, но витиеватый стиль его писем, старинные, какие-то архаические выражения, корявое построение фраз — все это влекло меня, вернее, не меня, а мой ум, к этому человеку. Кроме того, огромная жалость рождалась в моей душе к этой никчемной и, конечно, несчастной душе.

Я написала ему коротко, что не сержусь и жду его на маскарад.

Итак, мир был восстановлен. Михаил Александрович обещал быть. Условия были ему известны: прийти по вышеозначенному адресу к 8 часам вечера. Раздеться в передней и снять со стены любую полумаску, надеть ее и войти на маскарад. «Женщина, одетая в костюм гейши, буду я», — писала я ему.

Во всех затеях, которые я в своей жизни затевала, больше всех доставалось мне. Вот и теперь работы оказалось по горло. Я не учла многих непредвиденных обстоятельств. Одним из самых главных затруднений оказались окна. Как я устала, как спешила!.. Было уже около семи часов вечера, а я еще, неодетая, растрепанная, красная и вспотевшая от усилий, сопя, ковырялась с проклятыми шторами!..

— Екатерина Александровна! — раздался за моей спиной мужской голос.

Я обернулась. О ужас!.. На пороге комнаты стоял Михаил Александрович, а за его плечами выглядывало растерянное лицо

Анны Павловны.

Архангельский пришел на полтора часа раньше, позвонил и, сказав, что пришел по делу, спросил, где может меня увидеть. Анна Павловна, ввиду такого раннего часа, не подумала, что это «маскарадный кавалер», и провела его прямо ко мне.

Придя так рано, он, очевидно, рассчитывал застать меня врасплох. Войдя в квартиру, он прямо в шубе, в калошах ворвался в комнату и увидел меня… Он меня перехитрил!

Весь мой план рухнул, подобно карточному домику.

— Простите, что я пришел на часок раньше, — улыбаясь, извинялся он, — думал, может быть, понадоблюсь в чем-либо, и видите, не ошибся! Слезайте-ка с лестницы, вы криво набиваете материю. Давайте я помогу вам, это ведь мужское дело…

Таким образом, мой новогодний друг оказался во сто крат хитрее меня.

В остальном наш маскарад удался на славу и прошел блестяще!.. Танцевали до утра. Яковлев и Чимко успели сделать зарисовки нескольких портретов. Каменский поражал всех рассказами о Париже, а его дама покорила всех мужчин своей спиной, обнаженной до самого пояса. На ней было парижское черное бархатное платье, все закрытое спереди и с голой спиной, от которой танцевавшие с ней мужчины не могли никак оторваться.

Для меня лично маскарад этот был скучен. Дело в том, что Михаил Александрович ни на кого не желал смотреть и ни с кем не желал разговаривать, кроме меня, а поскольку я позвала его на этот вечер, следовательно, мне и пришлось его занимать. Не могла же я бросить его в таком большом и совершенно ему незнакомом обществе!

Как я ни старалась втянуть в наш с ним разговор Валю или Анну Павловну, это мне не удавалось, так как он сейчас же под каким-нибудь предлогом отводил меня в сторону и снова мы оказывались с ним наедине.

После маскарада он прислал мне следующее письмо:

«Екатерина Ал-на!

Писать Вам для меня уже стало потребностью. Боюсь, не превратиться бы мне в маньяка по части писательства. Во-первых, скажу, что Ваш вечер был прекрасен. О людях я могу сказать то же самое. Я сожалею лишь об одном: что я, как кажется мне, предстал в не совсем выгодном для себя свете. Но ведь я и не льстил себе и не мог рассчитывать на многое…

„Скажи, кого ты знаешь, и я скажу, кто ты“ — есть такое выражение. Я в восторге от Вас, В/общества, от всего, что я слышал и видел. Ваш вечер останется для меня незабываемым, не

потому, что я веселился там и прыгал, как молодой жеребенок; нет, меня веселило Ваше внимание и трогательная забота. Вы сделали все, чтобы я у Вас чувствовал себя в своей тарелке. И я Вам за это благодарен несказанно и, представьте, оценил. Меня заботит только это Ваше внимание. Ну, „опять“, скажете Вы! Нет, право, заслужил ли я это?!

Красивы или нет Вы были? Не знаю. Вы были обаятельны в Вашем милом, художественно сделанном Вами костюме. Ей-Богу, Вы были лучше всех! В Вас подкупает искренность, непринужденное веселье, простота. Все то, что я ценю больше всего на свете в женщине и людях, в женщине в особенности, т. к. это у них редко проявляется. Я видел большую значимость Вас для большинства присутствовавших гостей. И я считаю, что все это Вы заслужили, и заслужили бескорыстно».

Дальше идут всякие похвалы на мой счет.

Словом, я поняла одно: все мои попытки женить его на ком-либо тщетны, и для него будет лучше, если он больше меня не увидит.

Это была моя вторая встреча с Архангельским, и на ней я решила пресечь наше знакомство, так как увидела, что для него лично мне ничего не удастся сделать.

В это время я получила уже второе его письмо после маскарада:

«Екатерина Александровна!

Да, я непоправимый маньяк. Опять я Вам пишу. Уже я болен этой болезнью. У Мопассана есть прекраснейший рассказ „Волосы“ или что-то вроде этого.

Молодой человек в антикварном магазине купил старинный, дорогой трельяж. Внутри его он обнаружил прядь женских душистых волос.

С той поры он не расставался с этой прядью, создав себе из нее чудесный, роскошный образ женщины. Он любил, он жил этой прядью волос, олицетворяя в ней образ прекрасной женщины, и… сошел с ума. Я счастливее его. Я имею не прядь, не часть, а полный, светлый и живой образ женщины.

Мне нет необходимости сходить с ума, но я все же не совсем нормален.

Сейчас 12 ч. ночи. Передают музыку для танцев. Я вспоминаю с удовольствием Вас и Ваш вечер. Я стал уже любить все эти чуждые мне раньше фокстроты. И Вы — милая виновница этого. Нет, право, я не шутя думаю учиться танцевать. Под каким же предлогом я могу обнять Ваш изящный стан? Что Вы делаете и чувствуете сейчас? Хотел бы очень я знать. Пишете ли Вы мне?

Не забывайте, прошу Вас, про наше „дупло“. Сейчас снова

перечитал все Ваши письма. Как славно Вы пишете! Как много теплоты мне Вы излучаете. Не скрою от Вас, Вы мне стали очень близкой, в особенности после того, как я увидел Вас второй раз на вечере.

Сегодня справлялся о письме и с грустью вернулся без него. Но Вы еще не получили моего письма и, естественно, ожидаете от меня. Не знаю, понравится ли оно Вам.

Наши отношения не приведут ни к чему, это ясно. Но иметь такого друга, как Вы, для меня лестно и необходимо.

Итак, пишите мне, милый, светлый друг. Я лучше делаюсь от Ваших писем.

Архангельский».

К сожалению, его согласие на дружбу было только в этом письме. Чем больше я оттягивала наше свидание и уклонялась от него, тем больше сыпалось его писем, с изъяснениями, мольбами о свидании и восхищением, которого я ни с какой стороны не заслуживала. Все эти последующие письма я сожгла. Они интереса не представляли и ничего нового прибавить к раскрытию его личности не могли. Это были обычные мужские письма. Зная нервность этого человека, его неуравновешенность, его склонность к вину, я приходила в подлинное отчаяние, не зная, чем могу оттолкнуть его и разочаровать. Я ни минуты не верила в какое-либо серьезное чувство, настолько глупа я не была, однако охвативший его огонь сжигал его, и тогда было действительно похоже на то, что он обращается в маньяка.

Тогда я написала ему, прося не писать мне таких страстных писем, так как я замужем и он пишет их совсем не по адресу. Но это не помогло. Тогда я призналась ему в том, что я совсем не та, за которую он меня принимает. Этот прием бывает самый верный и на большинство мужчин действует как ушат холодной воды. Я написала, что у меня есть молодой любовник, которого я страстно люблю. Но это тоже не помогло и ничуть не развенчало меня в его глазах. Он начал сравнивать меня с героиней из «Белых ночей» Достоевского и уверял в том, что готов мне носить любовные письма, быть моим посыльным, лишь бы я только разрешила ему видеть меня.

Тогда я вынуждена была согласиться на свидание, так как в противном случае он грозил, что сам явится ко мне на квартиру, «чтобы только взглянуть на Вас»…

Мы встретились с ним все на том же Пречистенском бульваре, морозным, холодным вечером. Я рассказала ему, что согласилась на свидание только потому, что больше никогда не увижусь с ним, так как бросаю моего мужа и уезжаю из Москвы в Ленинград к моему любовнику.

Мне жалко было смотреть на то, как тяжело он пережил это известие. Сцена его прощания со мной была просто душераздирающа. В душе я проклинала себя за легкомыслие. Бедняк при всем честном народе, гулявшем на бульваре, опустился передо мною на колени, прямо на снег…

Когда я пришла домой, то зубы мои стучали словно в лихорадке, я была совершенно больна и, глубоко зарывшись в одеяло, никак не могла согреться. Я думала о том, как ужасно, что из тысячи встреч только одна бывает настоящей, когда встречаются именно те двое, которые предназначены друг другу. Какой он был, в сущности, хороший, этот человек, как запылала его душа от мимолетного человеческого участия…

Через два дня, вечером, в нашу дверь послышался стук. Это был почтальон. Он принес на мое имя посылку: маленький, почти даже крошечный ящичек, вернее, коробочку. На обшивке материи чернильным карандашом был почерком Михаила Александровича старательно выведен мой адрес. В обратном адресе он назвался «Новогодским».

Скажу искренно, что в первый момент я испугалась. Что мог мне прислать этот неуравновешенный человек, зная о том, что мы расстались навсегда?.. Я вспомнила, как однажды он написал мне дерзкое письмо «о бане и о мозолях», и испугалась еще больше. Может быть, и теперь он со зла прислал мне какую-нибудь дохлую мышь или еще что-нибудь похуже?.. А Дима стоял рядом со мной и, иронически улыбаясь, с интересом смотрел на присланную мне коробочку. За его спиной стояла мама и тоже с нескрываемым интересом смотрела на посылку.

Тогда мне пришлось сделать самый независимый и спокойный вид. Я взяла ножницы и стала разрезать материю на посылке.

Под острием ножниц материя лопнула и обнаружила маленькую, наверное, собственноручно склеенную из картона коробочку. Я раскрыла ее. Уложенные в вату, заблестели большие темные гранаты. Их резная цепь была разорвана. На них лежал кусочек бумаги со следующими словами: «Ваш маскарадный костюм турчанки показал мне, насколько Вы любите безделушки. Это гранаты моей матери. Ваша искусная рука, наверное, сумеет их соединить».

В середине ожерелья лежал маленький футляр. В нем я нашла гранатовый перстень редкой красоты по цвету камней и по работе.

Если гранаты ожерелья были темными, даже почти черными, то в перстне эти же камни были много светлее. Напоминая пламя, они горели совершенно правильным красным огнем.

Изумительно мелкой шлифовки, со многими гранями, большой круглый гранат был окружен маленькими, которые лежали вокруг него в резных золотых венчиках. Перстень этот напоминал те славные времена Венеции, когда она была в самом пышном своем расцвете, когда утопала в роскоши, в ослепительно богатых празднествах. Как ожерелье, так и перстень относились, по утверждению моей матери, к концу XVI — началу XVII века.

В кольцо была продета сложенная маленькой трубочкой записка. Ее я помню дословно:

«Кольцо — символ вечности. Пусть оно напоминает о том светлом чувстве, которым Вы наполнили мое сердце».

— Сколько раз ты встречалась с этим человеком? — спросил меня Дима.

— Три раза.

— Когда же ты успела пролить столько света? — насмешливо спросил он. — И чем смогла заслужить такие прекрасные вещи?..

Первой моей мыслью было через адресный стол разыскать Архангельского и отослать ему его подарок. Но я побоялась его обидеть, побоялась вновь начать с ним какие-то отношения и сознаться в том, что я обманула его и не уехала в Ленинград.

Долго я мучилась и не могла решить, что мне делать… Все вокруг меня хором твердили о том, что это подарок и что вещи принадлежат мне. А мой друг, небезызвестный «Икс», сказал: «Эти вещи не настолько драгоценны, чтобы вы считали неудобным их принять, и эти вещи не настолько дешевы, чтобы вы стеснялись их надеть. Носите их на здоровье!»

Так они у меня и остались. Камень из кольца я потеряла, и мне было так больно смотреть на изуродованное произведение искусства, что я сдала весь перстень «на золото» в минуту нашей нужды. Та же участь постигла и золотую оправу ожерелья. После этого я сделала ожерелье в обычной бронзового цвета (медной) оправе и ношу его с любовью по сей день.

Вот и все, что я могу рассказать об этой странной встрече и о не менее удивительном ее герое.

Рассказ третий

Однажды Дима Фокин обратился ко мне:

— Кит, до твоих именин остаются какие-нибудь три недели. Я хочу сделать ремонт нашей комнаты.

— Как?! — воскликнула стоявшая рядом мама. — Вы хотите оклеивать комнату среди зимы?

— А почему бы и нет? — улыбнулся Дима, любивший делать многое не по установленным правилам. — Вот возьму да и оклею… Меня заботит только один вопрос: куда нам девать Кита, чтобы он тут под ногами не мешался?..

7-е декабря был день Екатерины, прославленный экспромтом одного моего друга:

«В день этих славных именин
Прославим двух Екатерин!..»

Мы с мамой были обе именинницами. Целый год мама, будучи радушной и замечательной хозяйкой, готовилась к этой дате. Обычно всегда нами продавалась какая-нибудь вещь и, кроме того, при каждом удобном случае на верхнюю полку продуктового шкафа мало-помалу складывались пакетики и свертки с различными продуктами. Все это копилось к 7 декабря.

Дима любил меня так, как любит самый нежный и заботливый отец свою дочь. И теперь, затеяв ремонт нашей комнаты, он думал только о том, чтобы я была изолирована от всяких забот, не говоря уже о работе.

В ту зиму я перенесла тяжелое воспаление легких с осложнением на сердце, и после длительного больничного листа врачи дали мне 6 месяцев инвалидности (для поправки).

— Вот что, — наконец решил Дима, — завтра… — туг он взглянул на календарь, — завтра 13-е ноября. Забирай-ка свой большой чемодан, укладывай в него все для тебя необходимое и поезжай-ка на все эти дни жить к Валюшке. И нам без тебя здесь попросторней будет, и тебе там хорошо. А когда вернешься, у нас уже будет здесь все готово.

Надо ли было дважды повторять мне такое заманчивое предложение? Надо ли описывать, как этому известию обрадовалась Валя?..

Мама всегда осуждала Диму за его «чрезмерную», как она выражалась, любовь ко мне. И теперь, услышав его слова, она

строго нахмурила брови, покачала головой, хотя и не сказала ни слова.

Я же с той минуты, прямо с вечера, начала укладываться. На сердце стало радостно, тревожно и легко; мне казалось, я еду в какое-то дальнее, прекрасное, волшебное путешествие.

На другой день, 13 ноября, я уже переехала в Средне-Кисловский. У меня были всегда вторые ключи от Валяной комнаты, и я приехала с утра, пока она была на службе. Разложила, привезенные вещи, повесила свои платья в гардероб, устроила свою постель на тахте, против ее дивана, на котором она спала, и приготовила незатейливый обед. Какое это было счастье — хотя бы несколько дней пожить «студенческой жизнью»! Надоел мне ехидный Пряник-Тинныч, надоел не всегда умный Гуруни, надоела мама с ее вечными нотациями и поучениями, с фанатической верой, с обрядностями, доходящими порой до глупости, и даже Дима, безумно любящий меня, — надоел!..

Когда Валя вернулась со службы, смеху и хохоту нашему не было конца… Мы с ней решили хотя бы первые два-три дня никого не видеть и не говорить нашим друзьям о моем к ней переезде. Хотелось походить вдвоем с ней в театры, заняться шитьем кое-каких туалетов. Иногда было так приятно такое времяпрепровождение, иногда так хотелось отдохнуть от людей…

Так, болтая и развивая всякие заманчивые планы на предстоящие дни, мы сидели за вечерним чаем, как вдруг вслед за раздавшимся в передней звонком в дверь Валиной комнаты постучала Марфуша.

— Валентина Кинстинтинна, к вам! — раздался ее голос.

Снова послышался стук в дверь, но на этот раз легкий и нерешительный. Мы обе невольно встали из-за стола навстречу неожиданному гостю. Валя шагнула к порогу.

— Входите же, входите! — торопливо сказала она и распахнула дверь.

В комнату вошел совершенно нам обеим незнакомый человек.

— Простите… я от вашего знакомого… я имею к вам письмо… простите, одну минуту… — говорил он сбивчиво, при этом торопливо и взволнованно роясь в своих карманах.

С первых же его слов, несмотря на то, что он превосходно и бегло говорил по-русски, буква «в», которую он выговаривал чуть тверже обыкновенного, похожая на «ф», выдавала в нем француза. Это предположение подтвердил очень плотный темно-коричневый драп его пальто, парижская шляпа, перчатки, которые он, сняв, впихнул в карман, и в особенности кашне. Оно было хотя и ярко, но необычайно красиво: но бледно-лимонному фону ползли

коричневые, золотые и оранжевые тонкие клетки.

— Вот… наконец! — облегченно вздохнул пришедший, с торжествующей улыбкой протягивая нам обеим сиреневый, чуть смятый конверт. Пытливо всматриваясь то в одну из нас, то в другую, он спросил:

— Простите, но кто из вас Валентина Константиновна?

— Это я. — Валя взяла письмо и приветливо сказала: — Прежде всего выходите в переднюю и раздевайтесь, там у моих дверей вешалка, вы увидите. А мы пока прочтем здесь письмо…

Оно оказалось от одного давнишнего Валиного поклонника, американца, много лет назад уехавшего за границу.

«…мой друг Жильбер Пикар, с которым вместе я учился на инженера, предстанет перед Вами с этим письмом, — писал он. — Мечтой его самой заветной была всегда поездка в Советский Союз. Она сбылась: он едет к Вам жить и работать. Он долго добивался того, чтобы попасть в группу иностранных специалистов, въезд которых был разрешен вашим правительством. Я возлагаю на Вас все мои надежды и верю в то, что благодаря Вашему обществу мой друг увидит все достопримечательности Вашей столицы, а главное, что он не будет одинок в таком большом городе, как Москва…» За этим следовали всякие светские любезности.

— Когда же вы приехали и где остановились? — спросила Валя Жильбера, когда он, раздевшись в передней и снова постучавшись, вошел к нам в комнату.

— Я приехал сегодня утром и прежде всего направился отыскивать вас.

— Познакомьтесь, — сказала Валя, указывая Жильберу глазами на меня, — это моя подруга Екатерина Александровна.

После этого наше прерванное чаепитие продолжалось. Жильбер охотно к нам присоединился, а через какие-нибудь полчаса мы забыли о том, что только что познакомились. Жильбер не принадлежал к отпрыскам знатной французской аристократии. Его предки когда-то взращивали золотистый виноград на юге солнечной Франции. Потом, привлеченные торговлей, все дальше и дальше двигаясь по городским рынкам, достигли Парижа. Многие из его родственников умирали, сражаясь на баррикадах во время революции, в то время как другие шумели вокруг гильотины, требуя казни французской аристократии…

Потом из мелких ремесленников они обратились в более крупных торговцев, затем в зажиточных буржуа, а в восьмидесятых годах это были крупные коммерсанты с большой рентой в парижском банке.

Отец Пикара был владельцем небольшого завода мелкого машиностроения и двигателей внутреннего сгорания.

Пикар готовил из своих двух сыновей, старшего Жильбера и младшего Огюста, преемников, продолжателей его дела. Младший, Огюст, был рассудительный, степенный, похожий на отца, и он был счастлив в своем маленьком «царстве машин». Старший же сын, Жильбер, получил от матери всю пылкость, восторженность и трепетность ее романтической натуры. Он вырос среди русских, которых было всегда немало в Париже. Он считал почти родным русский язык и еще в детстве мечтал о России. Он победил недовольство и протесты отца и был одним из первых молодых специалистов, которые горячо откликнулись на призыв Советского Союза посетить его для обмена опытом с русскими инженерами. Он приехал сроком на два или три года.

Впоследствии Жильбер был прикреплен как инженер-механик к одному из наших заводов в качестве консультанта. Главная же точка его работы помещалась вначале на Мясницкой, в одном из ее переулков, и носила название какого-то МАШа.

Трудно передать то странное чувство, которое я испытала при первом взгляде на этого человека, при первом звуке его голоса, когда еще он стоял в нерешительности на пороге Валиной комнаты, когда шляпа наполовину скрывала его лицо, бросая на него тень, когда он взволнованно рылся в карманах, отыскивая письмо друга…

Я наблюдала за ним, тоже волнуясь почему-то не меньше, нежели он. Я боялась, что он (вдруг!) не найдет письма или его появление окажется недоразумением, он уйдет, и мы его больше никогда, никогда не увидим…

Узнав о содержании привезенного им письма, я вся прониклась одним чувством: помочь ему во всем. Сделать так, чтобы Москва стала ему родным, теплым и уютным городом!.. Быть его товарищем, гидом, кем угодно, лишь бы видеть его, видеть как можно чаще, всегда… каждый день…

В его внешности не было ничего особенного. Он был скорее некрасив. Высокий рост его казался еще выше от худобы; та же худощавость немного обостряла его тонкие и без того черты лица. Но какое-то невыразимое обаяние таилось в этом человеке. В какой-то тонкой ломкости его изящной фигуры, в непередаваемой грации каждого его движения, в живом, точно чем-то взволнованном разговоре, в глубине его темных-темных, как омут, глаз…

Жильбер смешно запинался в наших длинных отчествах, а сам, как француз, не имел такового.

Тогда мы с Валей тут же предложили звать и нас с ней по

именам, причем имя Китти он принял безоговорочно, а Валю попросил разрешения называть Викки, имя, которое он только что придумал и которое в его произношении звучало неизъяснимой лаской.

Это решение имело скрытый от Жильбера, но очень важный для меня и для Вали смысл. Зовя друг друга коротко по именам, мы сказали Жильберу, что будем представлять его всем нашим знакомым как старого и теперь случайно найденного друга. Такое давнишнее якобы знакомство давало нам возможность скрыть его настоящее у нас появление из-за рубежа с письмом от иностранца. Несмотря на всю легальность приезда Жильбера, наше с ним знакомство могло быть неверно истолковано.

Что касается самого Жильбера, то он с первой же минуты появления у нас тоже оказался введенным в невольный, с нашей стороны, обман. Помимо всякого нашего желания, он принял нас за двух подруг, живущих вместе в одной комнате.

Эта маленькая, хотя и вполне невинная путаница окрасила наше знакомство в какой-то легкий и шутливый тон французского водевиля, который стал еще более походить на таковой, когда Жильбер, увидя пианино, сел за него и запел французские песенки. Пел он замечательно: у него был мягкий, небольшой баритон и та задушевная фразировка, которой так часто не хватает у настоящих певцов-профессионалов и которая, будучи присуща дилетантам, так пленяет нас и очаровывает.

Вмиг и я достала толстые тетради Валиных нот и романсов. Мы погрузились в музыку и пение, а очнулись только тогда, когда стрелка часов переползла далеко за полночь.

— У нас завтра собираются гости, — внезапно солгала я, так как больше всего боялась того, что Жильбер сочтет неудобным после столь долгого визита вскоре навестить нас.

— А я могу прийти к вам завтра? — тотчас спросил он.

— Конечно, конечно! — в один голос воскликнули мы с Викки.

Когда Жильбер ушел и дверь за ним закрылась, мы с Викки обе, точно сговорившись, застыли молча друг перед другом на пороге.

— Ну?.. — прервала она первая молчание. — Что ты о нем скажешь?

— Он обаятелен — искренно призналась я.

— Он мне больше нежели нравится, — как-то мрачно проговорила она. — Видишь, как странно: в течение всей нашей жизни, прожитой вместе с тобой, еще никогда ни один мужчина не вставал между нами… Не знаю, до какой степени он нравится тебе, но знай: я его не отдам, не отдам, чего бы мне это ни

стоило…

— Викки, Викки, — я обняла мою подругу, — разве не так он тебя назвал? И разве это не значит, что он как-то обратил на тебя свое внимание? Обо мне забудь и думать. У меня нет в душе к нему ничего, напоминающего отношение женщины к мужчине. Успокойся и вспомни, кроме того, о том, что ты ведь хорошенькая. Но я скажу тебе мое мнение: он оставил в Париже таких красоток, что на наших москвичек и смотреть не станет. Не забывай, что он идет к сорока годам и до сих пор не женат. Это тоже кое о чем говорит…

— А скажи, зачем ты солгала ему, что у нас завтра будут гости? — перебила меня Викки.

— А я завтра их «устрою», этих гостей.

— Зачем?

— Как «зачем»? Что ж по-твоему, он должен скучать с нами? Устроим танцы, чтобы ему было веселее, я хотела позвать… — И я назвала имена нескольких наших хорошеньких знакомых.

— Ты с ума сошла?! — закричала, придя в какое-то неистовство, Викки. — Ты хочешь мне мешать? Да?.. — И тут она разразилась по моему адресу самыми яркими эпитетами и закончила свою речь тем, что назвала меня «круглой дурой» и «дурой безнадежной».

Эту ночь мы с ней почти до рассвета проговорили о Жильбере. Как я ни уверяла Викки в том, что не имею никаких задних мыслей, как ни ссылалась на свою некрасивую внешность и на все мои недостатки, она продолжала волноваться и даже стала развивать предо мной всю неприглядность той действительности, которая бы наступила, если бы я понравилась Жильберу.

— Подумай, — говорила она, — ну представь себе на миг, что вы с Жильбером влюблены друг в друга: ты занята, ты несвободна. Что можешь ты ему дать? У тебя дом, семья, Дима… Вам жить-то негде! А я дам ему комнату, обстановку, пианино, да, наконец, я и сама хорошо зарабатываю. Нет, ты должна не только в своей душе отказаться от него, но не должна мешать мне завоевывать его любовь. Дай в этом мне сейчас же свое честное слово!

— Даю честное слово, — сказала я торжественно, благодарная тому, что темнота позволяла мне улыбаться. — Только помни, — прибавила я, — мужчина всегда боится женитьбы, и он не должен догадаться о том, что ты с первого взгляда решила сделаться его женой. Я со своей стороны буду всячески помогать тебе, а ты говори, чем я могу быть тебе полезной.

— Прежде всего я не желаю, чтобы ты знакомила его с

хорошенькими женщинами, — все еще волнуясь, сказала Викки. — Но что делать завтра? Ведь он удивится тому, что нет гостей.

— А мы скажем ему, что некоторые не смогли быть и что мы поэтому переносим наш вечер на более отдаленный срок.

— Вот и отлично! — обрадовалась она. — А теперь — спать! Спать! Спать!..

Я услышала, как Викки взбила смятые под головой подушки, как повернулась на другой бок, лицом к стене. Потом все стихло.

А я не могла заснуть. Вся моя жизнь медленно проходила перед моими глазами: нелепая, скомканная, без единого дня счастья. Если бы не моя жизнерадостность, если бы не моя глупая душа, всегда обманутая какой-нибудь мечтой, мою жизнь вполне можно было бы назвать несчастной.

Я казалась еще молодой и беспечной женщиной, но это было только потому, что у меня не было обязанностей, детей.

На самом же деле мне было за тридцать. Я считала себя немолодой, жизнь моя была позади. Юность казалась далеким сном, молодость прошла. Моя мечта о дружбе с людьми развеялась. «Круг преданности», который я так мечтала построить с некоторыми людьми, рассыпался. Звенья его распались. Их съела ржавчина человеческой лжи, лицемерия и зависти.

Душа моя была полна горькими разочарованиями. Мне смешно было видеть Викки, охваченную пожаром таких страстей…

Я хочу остаться верной своему слову и буду писать только правду. Появление Жильбера действительно глубоко взволновало меня, но, несмотря на мою увлекающуюся натуру, Жильбер с первой встречи не пробудил во мне женских чувств. Он взволновал меня свежестью своей души, своей искренностью, тем, что в первый же вечер рассказал нам о своей горячо любимой Франции, о семье, поделился самым сокровенным. Он был на четыре-пять лет старше нас, но душа его была совсем ребячья. Против него я, уставшая в борьбе за жизнь, искалеченная десятками поражений, с опустошенной душой стоявшая на пепле всего мне дорогого, казалась женщиной ста лет… Увидев Жильбера таким хорошим, полным веры в себя и окружающих его людей, я хотела только одного: его счастья, в чем бы оно ни выражалось. Я поняла, что он был эстет, истый француз, и я знала, как замечательно было бы, если бы он осматривал Москву, ее картинные галереи и музеи, а рядом с ним шагала бы хорошенькая девушка. От этого все красоты стали бы ему во сто крат ценнее.

Но Викки, которой он сам дал это нежное имя,

катастрофически влюбилась в него, она была мой друг, она наложила запрет на все, что было вокруг него, и мне оставалось только подчиниться ее воле. Так я и сделала. На другой день Викки явилась со службы в каком-то восторженном состоянии.

— Я взяла отпуск на две недели за свой счет! — радостно объявила она. — Теперь мы проведем чудесные полмесяца.

И это было правдой: никогда еще нам не жилось так легко, так беззаботно, так радостно, как в те дни.

Жильбер последовал нашему примеру: прежде чем (как все остальные с ним приехавшие) окунуться сразу в машинное производство, он, сославшись на небольшое недомогание, решил посвятить недели две осмотру Москвы и «нам, своим новым друзьям.

Поднялась суматоха, кутерьма, смех! Викки тащила Жильбера на свои любимые места, я — на свои. Тогда Жильбер догадался купить путеводитель по Москве, и мы мгновенно обратились обе в образцовых гидов.

Набегавшись по Москве до того, пока у нас в глазах не начинали прыгать пестрые круги, мы возвращались в Средне-Кисловский. Здесь Жильбер с восторгом познавал новые, доселе незнакомые ему блюда: настоявшиеся жирные, со свининой, кислые щи, мастерски сваренную в обычной печке Марфушей красную, рассыпчатую гречневую кашу, к чаю — пышные белые горячие оладьи с медом. На мраморной полочке камина нас дожидался десерт: оттаявшие мороженые сладкие и сочные яблоки „Рязань“ темно-коричневого цвета.

По вечерам у горящего камина мы слушали неиссякаемые рассказы Жильбера о Франции, и в особенности о волшебном Париже.

Иногда мы часами молчали, и в той тишине, в этом внезапно наступившем покое была тоже какая-то неизъяснимая прелесть… Жильбер отдыхал, сидя на диване и просматривая французские книги по технике или газеты, Викки сидела против него в кресле и вышивала, я проводила эти часы за пианино.

Надо сказать, что для всех наших друзей появление Жильбера было громом среди ясного неба. Как мы первое время ни скрывали его, как ни отговаривались от различных посещений, но в конце концов кое с кем его пришлось познакомить. Со всех сторон началась ревность, пошли всевозможные догадки, строились различные предположения.

Встречая Жильбера у нас в разное время дня, многие решили, что Викки прописала его к себе в комнату. О моем ремонте в Староконюшенном тоже никто не знал, и утверждали, что я бросила Диму и переселилась к Вале. Говорили, судили-рядили, и

грязные языки рассказывали о том, что выдумывало грязное воображение.

Чтобы придать случившемуся более естественное положение, мне тоже пришлось пуститься на невинную выдумку. В детстве у моего брата был воспитателем француз, который давным-давно уехал на родину, во Францию. Жильбера я представила как его сына, приехавшего ненадолго в качестве интуриста и разыскавшего нас. (Поскольку Викки была подругой моего детства). На том основании, что Жильбер якобы приехал ненадолго, мы и посвящали ему все свое время, отклоняясь от гостей. Но этому мало кто верил.

Бывали у нас только самые близкие наши и любимые друзья: Ричард Львиное Сердце, Вадим Мезьер и Эффромс, да и тем редко удавалось застать нас дома.

За эти дни я иногда забегала на минутку домой: ремонт был в полном разгаре. Мама и Дима, забаррикадированные стеной сложенных друг на друга мебели и вещей, уже издали видя меня на пороге, начинали отчаянно махать руками.

— Уходи! Уходи! — кричали они в один голос. — Только тебя здесь не хватало! Уходи, ради Бога!..

И, запачкав известью подошвы ботиков, я радостно уходила. Радостно оттого, что длилось счастливое „сегодня“. Но ведь дни бежали, и счастье должно было кончиться.

Было уже 25 ноября; с 13 ноября прошло 12 дней. Через два дня Викки должна была выйти на работу. Она очень страдала, это становилось заметно, и я очень боялась, чтобы Жильбер не догадался о причине ее неуравновешенности.

Напрасно я успокаивала ее, напрасно доказывала, как смешны ее настойчивые претензии. Ну как можно было требовать, чтобы человек влюбился в течение 12 дней?! Наконец, в свои годы он, конечно, любил уже не раз, и причина его холодности могла лежать в том, что он оставил свое сердце в Париже.

Но Викки была пылкой женщиной, она ничего не хотела знать, и больше всего ее возмущало то обстоятельство, что Жильбер относился совершенно одинаково как к ней, так и ко мне.

Это было верно. Викки прибегала к тысячам ухищрений, измышляла сотни женских хитростей — все было напрасно. Она неизменно натыкалась на галантную вежливость француза. Жильбер никуда не хотел идти с Викки без меня и со мной — без Викки. Никому из нас он не выказывал предпочтения, а гуляя, брал нас под руку, а сам шел в середине. Он дарил нам одинаковые цветы и открытки. Беря билеты в театр, садился неизменно в середине.

— Не может быть, — говорила Викки, волнуясь, — чтобы мы обе одинаково ему нравились!

— Но зато вполне может быть, и даже наверное, что мы обе ему одинаково не нравимся, — отвечала я.

В этом я была уверена, уверена так же, как и в том, что для меня не было никого на свете дороже Жильбера. Как это случилось? Не знаю сама. Это чувство овладело мною вопреки здравому смыслу, и оно должно было умереть вместе со мной… О нем никто не должен был догадаться… Я, с таким запутанным клубком моей жизни, я, никогда не имевшая права на личное счастье, видя к тому же еще вежливое и галантное обращение со мной Жильбера, не могла даже надеяться на то, чтобы он был со мной дружнее, нежели с Викки. Разве не ей с первого дня знакомства он дал имя Викки, сам его выдумав? Мне казалось, что он смотрел на нее нежнее и улыбался ей чаще, нежели мне, в то время как со мной его холодная вежливость переходила порой в жеманность; с Викки он был как-то много проще и естественнее.

Когда я делилась моими наблюдениями с Викки, она выходила из себя и говорила, что я ее нарочно дразню. Со мной она стала настоящим деспотом. Одно время она совершенно запретила мне играть при Жильбере, и, чтобы оправдать ее запрет, я завязывала палец бинтом, говоря, что я его порезала. Когда у Викки кончились две недели ее отпуска, она заставила меня сказать Жильберу, что у нас с ней был отпуск одновременно и что я тоже выхожу на работу. Викки не хотела, чтобы днем, в ее отсутствие, заходил Жильбер и мы виделись бы без нее. Хотя я была уверена, что он в ее отсутствие не зашел бы. Я с готовностью исполнила ее волю. Я сознавала, что этот человек не для меня. Сознавала я и то, что с моим возвращением домой многое изменится. Хотя Жильбер был ко мне совершенно равнодушен, я не хотела вводить его в наш дом. Я слишком много чувствовала к нему сама.

От этого человека я ничего не хотела и ничего не ждала. Одно его присутствие делало меня счастливой, и вся моя жизнь сводилась к тому, чтобы смотреть на него, слушать его, запоминать каждое его слово, каждое его движение, а когда он уходил, все вокруг погружалось для меня во мрак и печаль сжимала мое сердце.

Однажды Викки сорвала листок календаря.

— Завтра уже 1 декабря, — сказала она, обернувшись ко мне. — Что делать? Что делать? Помоги, Китти! Найди выход! Ведь в тысячу раз будет хуже, если я сама брошусь ему на шею! Научи меня, как быть?..

Тогда я посоветовала ей искренно, от всей души то, что

думала сама.

— Разве есть средство, чтобы заставить полюбить? — сказала я. — Конечно, от женской атаки не всякий мужчина застрахован. Ты хорошенькая, ты это прекрасно знаешь, у тебя много поклонников, и если ты сама бросишься на грудь Жильберу, возможно, что он ответит тебе страстью. Но от этой вспышки, мгновенной, блестящей, еще очень далеко до любви. Это будет огонь холодной ракеты, и наступивший вслед за этим ярким взлетом мрак будет для тебя еще безрадостнее, нежели благожелательное равнодушие теперешнего Жильбера. Не забудь и то, что твое гостеприимство, твое радушие, все тепло твоей дружбы будет осквернено. Какая цена тем теплым чувствам, за которыми кроется желание? Любое добро в таких случаях обесценивается…

— Что же делать? Что же делать? — с отчаянием в голосе перебила меня Викки.

Она стояла передо мной тоненькая и хрупкая; ее небольшие, но всегда ярко блестевшие черные удлиненные глаза горели ярче обычного, и вся она дышала тем пылким темпераментом, который так привлекал к ней мужчин.

Итак, я дала Викки следующий совет. Не говоря уже о том, что смешно было требовать чего-то от 18 дней знакомства, когда впереди было два или три года его пребывания в России, в течение которых она могла завоевать его сердце, ей необходимо было сейчас же взять себя в руки. Для этого она должна была прежде всего переломить себя, согласиться нарушить наше установившееся времяпрепровождение втроем и ввести в наше общество других людей. Я предлагала устроить небольшую вечеринку, потанцевать, поиграть, попеть. Комната Викки была небольшая, но вполне могла уместить человек десять.

Итак, надо пригласить четверых мужчин и трех дам, и все они должны быть хорошенькими.

— Ты с ума сошла! — воскликнула Викки. — Ты предлагаешь опасную игру! Что это — опыт? А если Жильбер влюбится в одну из этих дам?

— Тем лучше, — ответила я, — может быть, это тебя отрезвит, и ты меньше будешь страдать.

Викки было очень трудно согласиться, но она это сделала.

Так уговаривала я ее, применяя этот совет к себе самой. Правда, у меня к Жильберу было совершенно иное чувство, нежели у Викки, и оно к тому же иначе выражалось. Я не только ни на что не надеялась, но я любила его не для себя, а для него. Мои мысли были направлены только на то, чтобы ему было легче, веселее; я чувствовала, как необходимо разрядить ту

напряженную атмосферу, которую создавала невольно Викки. Она уже слишком плохо скрывала свои чувства. Положение стало невозможное: встречаясь с нами ежедневно, Жильбер оказался в какой-то ловушке, оторванный от других людей и другого общества, — это сознание тяготило меня. Он был чем-то вроде нашего пленника. Понимал ли он это? Тяготился ли своим положением? Не знаю.

Когда Викки согласилась на мое предложение и когда я объявила Жильберу, что мы ждем гостей и устраиваем вечер, он, как всегда, вежливо улыбнулся. — Я буду очень счастлив принять участие в этом вечере, — сказал он.

После этих слов он бегал с нами по магазинам, таскал сумки с покупками и принимал самое горячее участие во всех хлопотах.

Я пригласила на вечер двух хорошеньких веселых балерин из Большого театра (подруг моей двоюродной сестры Ляли Немчиновой-Подборской) и Лизу В.

Лиза В. была той, которая, по моему мнению, могла не только понравиться Жильберу, но быть ему хорошей и завидной женой. В то время она была свободна и мечтала выйти замуж, а все ее многочисленные поклонники ей не нравились.

У нее была большая солнечная и шикарно обставленная комната. Окончив школу кройки и шитья, она прекрасно шила и поражала всех изысканным вкусом своих туалетов. Лиза была изумительной хозяйкой. Работала она по совместительству в двух местах и была старшим бухгалтером. Лиза была трудолюбива, весела, с хорошим характером. „Иностранец“ был ее мечтой.

Лиза имела внешность, которая не только привлекала всеобщее внимание, где бы она ни появилась, но заставляла прохожих оборачиваться на нее, когда шла по улице. Стройная, с мечтательным личиком, с копной пышных, необычайно густых белокурых, напоминавших пшеницу волос, со смеющимися большими карими глазами, красивым ртом и той привлекательной мягкой кошачьей грацией, которая чарует мужчин. Я пригласила ее потому, что мне казалось, что она может составить счастье Жильбера. Еще ни разу в жизни я не готовилась с таким настроением к танцевальному вечеру. Я была погружена в те мелкие хлопоты, какие когда-то меня забавляли, радовали, занимали, я внешне сохраняла веселый и беззаботный вид, в то время как на самом деле чувствовала себя точно приговоренной к смертной казни, и чем тяжелее у меня становилось на сердце, тем больше я смеялась и шутила, боясь, чтобы Викки и Жильбер не догадались о моем подлинном настроении.

Я была уверена в том, что этот вечер изменит все, что после

него мы неминуемо потеряем Жильбера. По моему мнению, Жильбер, приехав в незнакомый чужой город, попал к Вале точно в родную семью. Теперь он отогрелся, осмотрелся, освоился и, узнав наших друзей, а среди них познакомившись с хорошенькими женщинами, не сможет не почувствовать к ним должной тяги и интереса. Мне казалось, что нас Жильбер узнал уже достаточно и мы стали ему скучны.

Подходил момент, подобный тому, когда корабль, освобождаясь от цепей и канатов, связывавших его с землей, покачиваясь на волнах, медленно отчаливает от пристани, уходя в далекое море. Что касается Жильбера, то он неизвестно почему с каждым часом становился веселее и радостнее.

Наступил и намеченный нами вечер. Пришли наши гости, но первая часть вечера оказалась не совсем удачной.

Что-то испортилось в штепселе, и мы никак не могли наладить электропатефон. Пришлось мне занять место у пианино. Тотчас же ко мне подошел Жильбер, взял стул, пододвинул его к пианино и сел рядом со мной; он перелистывал мне страницы, отыскивал в тетрадях Викки любимые ноты.

Сердце мое билось, оно было полно радостным недоумением. Я прекрасно сознавала, что это была со стороны Жильбера всего-навсего вежливость. Когда я вполголоса попросила его вернуться к обществу, он повиновался. Однако, протанцевав с каждой дамой по очереди, он снова вернулся ко мне.

Когда я вышла из комнаты в коридор к телефону, следом за мной выскочила Викки.

— Сейчас будем садиться ужинать, и я сделаю так, что все выяснится, — взволнованно прошептала она мне на ухо, — вот увидишь!..

И когда все подошли к столу, она весело объявила:

— Друзья! Я никогда не бываю хозяйкой в своей комнате, поэтому и сегодня не отступлю от своего правила. Садитесь! Предоставляю кавалерам выбирать себе соседку на ужин!

Стоявший подле меня Жильбер тотчас взялся за спинку стула и, слегка отодвинув его от стола, указал мне на него глазами.

— Китти, вы не откажетесь быть моей дамой на сегодняшний вечер? — спросил он.

Мне показалось, что я ослышалась, я не верила ушам, я не могла поверить счастью!.. С этой минуты все понеслось и закружилось в вихре какой-то неизъяснимой радости! Точно сквозь туман я видела покрасневшее, расстроенное лицо Викки, видела недовольные гримасы приглашенных дам. Однако избежать этой волны или же остановить ее было не в моих силах.

Весь вечер Жильбер провел, не отходя от меня. После ужина

пришедший монтер починил штепсель, и мы танцевали.

Танцевал Жильбер неплохо, с присущей французам легкостью и грацией, но особым мастерством танца не отличался.

Впервые это было мне безразлично. Впервые я испытывала несвойственное мне чувство. Мне не хотелось танцевать, и я была счастлива, когда мы даже просто молча, но сидели друг около друга.

Но как было понять поведение Жильбера? Что за открытый вызов бросил он всем? Куда девалось его воспитание, что им руководило?

Я чувствовала себя виноватой, мне было жаль Викки, и хотя моя совесть была чиста, однако где-то в глубине души меня мучило раскаяние в преступлении, которое я не совершала.

Уловив удобную минуту, я все-таки решила обратиться к Жильберу:

— Почему вы совсем не уделяете внимания Викки? Почему вы оставили ее?

Слегка пожав плечами, он ответил со странной не то холодностью, не то жестокостью:

— Могу же я хотя когда-нибудь вести себя так, как мне этого хочется? Наконец, я здесь не один. Кроме меня, есть еще четыре кавалера.

Так неожиданно наступило счастье.

Теперь между Викки, Жильбером и мной установились совершенно новые отношения. С того памятного вечера Жильбер продолжал уделять все свое внимание мне, но это отнюдь не означало того, что он стал хуже относиться к Викки. Наоборот, он был с ней нежнее и теплее, чем со мной, казалось даже, что сердечнее. С Викки у него был веселый, немного шуточный, чуть фамильярный тон. Она же была изумлена всем происшедшим и, не зная, чем объяснить эту перемену, молча отступила со своих позиций, однако вся обратилась во внимание.

Меня она ни в чем обвинить не могла, но часто я ловила на себе ее укоризненный взгляд. Во мне тоже произошли перемены: если до сих пор я из чувства дружбы слепо подчинялась любому требованию моей подруги, то теперь, когда я убедилась, что Жильбер к ней равнодушен, с меня словно спала вся скованность. Теперь я разговаривала с Жильбером совершенно свободно, не считая это преступлением против нашей с нею дружбы.

Когда я сказала Жильберу о том, что у Викки я живу временно, пока у меня дома ремонт, и что 6 декабря, накануне моих именин, я должна буду вернуться в семью, к маме и к мужу, он был очень опечален этим известием.

— Как? Значит, 7 декабря я целый день не увижу вас? —

спросил он.

Я объяснила ему, что это день именин не только моих, но и маминых, что будет много гостей и мне неудобно именно в этот день вводить его впервые в наш дом. Но Жильбер настаивал на своем.

— Но ведь меня может привести с собой к вам Викки? — говорил он.

Тогда я рассказала о том, что мой муж — советский изобретатель, что ему будет крайне нежелательно появление в его доме человека, приехавшего из-за рубежа. Что мы и без того имели много неприятностей.

— Двадцать четыре дня мы виделись втроем ежедневно, — говорил Жильбер, — я не мыслю себе этого дня разлуки. Я обещала Жильберу, что мы по-прежнему будем все встречаться у Викки, но он не хотел ничего слушать.

Доказывая неизбежность нашей короткой, на один день, разлуки, стараясь казаться спокойной, рассудительной и благоразумной, я втайне печалилась не меньше, нежели он.

Была ли я влюблена в него? Нет… это не то слово. Жильбер был мне близкий, родной, понятный. Я не пыталась также анализировать его ко мне отношение. Его поведение я объясняла очень просто: привыкший во Франции к своей дружной маленькой семье, он скучал в разлуке. Комната Викки, наши прогулки, домашние вечера, проведенные около камина или в музыке, заменили ему в какой-то степени этот утерянный уют… Почему он потянулся именно ко мне? Да разве есть стандартная форма для выражения симпатии?..

Так думала я, не сознавая того, что, говоря так, я обманываю и Викки, и саму себя.

Последние два дня перед моим возвращением домой еще больше привязали меня к Жильберу. Его расспросам не было конца, он хотел знать обо мне все, с момента моего рождения до дня нашей встречи. И чем больше я ему о себе рассказывала, тем дороже он мне становился. Так мы провели два последних вечера. Я рассказала ему о себе. Мне почему-то совсем было не стыдно перед ним за мою нелепую, несуразную жизнь. Может быть, потому, что в ней было одно преимущество. Много я делала разных ошибок, я, как и все люди, обладала многими недостатками, меня можно было осуждать и порицать, но мне никогда не пришлось краснеть перед своей совестью. Мне никогда не хотелось в жизни казаться лучше, чем я была на самом деле, не было у меня перед Жильбером ни женского кокетства, которое вообще было мне чуждо, ни желания завоевать его сердце или его уважение. Говоря с ним, я как будто говорила сама с

собой, я была счастлива присутствием и теплым отношением этого человека, ставшего мне таким родным.

Жильбер слушал меня более нежели внимательно; серьезный и сосредоточенный, он сидел против меня у решетки камина, положив локти обеих рук на колени и подперев ими голову. Пламя огня неровными вспышками освещало в полутемноте его застывшую фигуру и находило порой отражение в темных блестящих глазах. Иногда он прерывал мой рассказ:

— Не рассказывайте больше… Отдохните. Это вас волнует.

Но я не останавливалась, точно боясь, что не увижу больше этого человека и не успею ему всего поведать, и продолжала говорить, и не скрывала даже того, что на сегодняшний день терзало и мучило меня. И как странно! Все, что я поверяла ему, сделавшись его достоянием, вдруг сразу теряло всякую тяжесть для меня. И когда мрак тяжелых, страшных воспоминаний окружал меня своим кольцом, легкое прикосновение руки Жильбера, его ласковый голос наполняли меня радостью; становилось легко, и сознание того, что он здесь, рядом со мной, что он ждет моих слов, что они ему дороги и нужны, было для меня счастьем…

Надо сказать, что Викки тоже настаивала на том, чтобы 7-го числа Жильбер был вместе с нами у меня, в Староконюшенном. Мы держали долгий совет; он был в достаточной степени бурным, и мне пришлось уступить перед большинством голосов.

Но разве я сама втайне не желала этого? Как могла я быть радостной в день разлуки с Жильбером? С каким бы настроением я сидела за именинным столом, зная, что Жильбер без Викки и без меня где-то в одиночестве коротает этот вечер? Могли ли все наши многочисленные гости заменить мне это милое, ставшее таким родным, лицо, взгляд темных, живых, смеющихся глаз и непередаваемо обаятельную улыбку?..

Почему же я так сопротивлялась, почему так медлила с решением? Наши задушевные отношения с Жильбером были настолько чисты, что моей совести не приходилось краснеть за то, что я ввожу его в мою семью. Такими я представляла себе наши отношения и в дальнейшем. Что же именно останавливало меня?

Это было что-то неосознанное, в самой глубине моей души. Что-то тайное, чему мне самой было страшно поверить. „Оно“ пряталось за темным ненастьем моих дней так, как прячется солнце за рядом черных свинцовых туч, когда не видишь его, но когда только ощущаешь его невидимую близость, и страшно было от мысли, что я не увижу этого солнца, и так же страшно было представить себе, что я вдруг увижу его победную радугу,

раскинувшуюся над моей изломанной жизнью, над всеми ее кривыми дорогами, словно волшебный мост, ведущий к счастью…

Но я не давала себе думать об этом; для меня были уже счастьем расположение, дружба этого человека и возможность видеть его…

Теперь мне оставалось только как можно естественнее обставить его появление в моем доме. Дима, в свое время сам толкнувший меня на путь лжи и требовавший от меня только одного: соблюдения полных внешних приличий, — давно уже приучил меня обманывать.

Недалеко от Арбата, на Моховой, почти против Румянцевского музея и библиотеки, в небольшом белом каменном доме жил известный оперный певец Лабинский. Не имея детей, он воспитал вместо дочери свою племянницу Нину, которая жила в его квартире вместе с ним и его женой (своей теткой).

Нина Владимирована Лабинская (моя одногодка) была балериной Большого театра. Всей прелестью ее некрасивого лица были огромные лучистые голубые глаза. Она была прекрасно сложена и танцевала замечательно. Мы с ней были в самых хороших отношениях. Я часто у нее бывала, она у меня — никогда. Это объяснялось ее кипучей, бурной жизнью. Выступления на сцене, увлечение скачками, бегами, танцы на вечерах у знакомых и преподавание западных танцев, которые она обожала, — это поглощало все ее время. Толпа поклонников ее осаждала.

У нее был молодой красивый муж и дочь — хорошенькая, с такими же волшебными глазами, как у Нины.

В большой, просторной зале квартиры Лабинских часто танцевали — то это был танцкласс, то это бывало ради удовольствия.

Предупредив Нину и заручившись ее согласием, я решила воспользоваться знакомством с ней.

Было решено, что Викки, Вадим М. и Жильбер втроем приходят ко мне на именины, но с небольшим опозданием, так, чтобы гости уже сидели за столом. Подойдя к дому, Викки и Вадим оставляют Жильбера в переулке, предварительно объяснив ему, как и куда следует идти. Только спустя четверть часа Жильбер должен был позвонить в нашу дверь. Я предоставлю право открыть двери самому Диме или кому-либо другому, и тогда пришедший „неизвестный“ будет просить вызвать меня. Он скажет, что его прислала Нина Владимировна Лабинская, что я, „наверное, забыла о том, что сегодня у нее танцевальный вечер“, что я обещала быть и до сих пор не иду, что она ждет и т. д…

Я начну оправдываться, говоря, что Нина Владимировна

перепутала числа, что я даже обижена на Нину, что она забыла о моих именинах и что у меня такое правило: кто в этот день взойдет на мой порог — тот мой гость.

Устроив этот маленький заговор, мы наконец распрощались, и я отправилась к себе домой, в Староконюшенный. Перед моими глазами стояло еще милое лицо Жильбера и звучали слова прощания:

— До завтра, Китти! До завтра!.. Как я буду рад увидеть вас снова. Но поверьте, что целый день до самого вечера меня будут мучить угрызения совести: ведь я поставлен в такие условия, что не могу принести вам даже цветов в этот день, в который все, кроме меня, будут иметь право поздравить вас! Вот в какое положение вы меня поставили!..

Дома все было чужое: люди, вещи, и новая перестановка мебели, и сама комната, оклеенная светло-золотистыми обоями. Мне казалось, что я покинула родной дом и пришла „в гости“, где мне так не хотелось жить… Над моим диваном висел деревянный, красивой резьбы шкафчик, купленный в Кустарном музее. Я открыла его; в нем стоял целый набор моих любимых духов, с одеколоном, пудрой, кремом и душистым мылом. Под подушкой я нашла плитку моего любимого шоколада „Миньон“. Это было неизменное, трогательное внимание Димы.

Мама была погружена в хлопоты. „Мещерский“ торт „Бонапарт“, который должен был стоять сутки, был уже готов и красовался — великолепный, золотистый, весь обложенный фигурным кремом. Теперь мама приступала к салату „оливье“; вокруг нее на тарелочках лежали мелко нарезанные ломтики дичи, всевозможных овощей, яблок. Зеленели каперсы, и приближалось главное священнодействие: приготовление соуса „провансаль“. Для этого ставился таз со льдом, в него в свою очередь ставилась широкая эмалированная миска, и мама самоотверженно растирала и крутила деревянной ложкой этот соус в течение 45 минут (!!!)…

Никогда еще я с таким удовольствием не присоединялась к ней, никогда еще я не помогала ей с таким усердием.

Гуруни, служивший в то время в своем родном греческом посольстве, в виде подарков снабжал нас к этому дню самыми вкусными закусками, которые в то время продавались только в „Инснабе“. Гуруни с детства очень меня любил за веселый нрав и был сам большой шутник и выдумщик. В этот памятный вечер, под 7 декабря, он, схватив один из своих многочисленных заграничных фотоаппаратов, бегал вслед за мамой, снимая ее во всех видах.

— Я хочу вас запэчатлэт в предымянынной лыхорадке! —

говорил он, щелкая своим аппаратом в то время, когда она или стояла с чайником у раковины водопровода, или возилась у плиты среди кастрюль. Мама выходила из себя, а Гуруни только этого и добивался.

Поймал он и меня. Это было тогда, когда я только что вымыла голову и завязала ее огромным вышитым полотенцем. Мгновенно он вбежал с аппаратом в нашу комнату, чтобы заснять меня в таком виде. Но я ничуть не растерялась: быстро надела серьги, вскочила с ногами на диван, поджала их под себя, схватила коробку с моими ожерельями и, выхватив одно из них, так и попала на снимок. Гуруни очень смеялся моей находчивости.

— А вы умээте сдэлат свынкса? — спросил он меня.

— Умею. Сейчас вам будет и свинке! — засмеялась я, быстро легла на диван, спиной вверх, чтобы не рассмеяться, подперла подбородок рукой, но тут Гуруни уже снял меня; я не успела как следует растянуться на диване, и мои ноги (о ужас!) так и остались торчащими в воздухе!.. Наконец настало 7 декабря. По заведенной традиции я с самого утра уехала на Плющиху за моей дорогой, незабвенной княгиней Урусовой, чтобы привезти ее к нам в ночевку. Днем мама принимала своих церковных друзей. Вечером она и Дима принимали всех остальных москвичей, сохранившихся в Москве. В 10 часов вечера пришли и мои: Викки и Вадим. Как забилось мое сердце! Ведь это означало, что недалеко, где-то здесь, около самого дома, Жильбер выжидал положенные ему уговором четверть часа.

Наконец раздался его короткий звонок. Все остальное произошло так, как мы это задумали. Промелькнуло не то растерянное, не то испуганное лицо Димы, я услышала его восклицание:

— Кит, там тебя кто-то спрашивает, говорит, что он якобы от Лабинской Нины, а по-моему, иностранец!..

И дальше также все пошло как по нотам. После недолгого моего с ним объяснения и его робкого отказа я насильно заставила его скинуть пальто и ввела к нам в комнату. Я представила его маме, Диме, затем он сделал общий поклон многочисленным гостям, и, указав ему место рядом с Викки и Вадимом, где сидела и я сама, я представила его моим друзьям.

Хотя в появлении Жильбера не было ничего особенного и к тому же мы вчетвером были неплохими актерами, все же Жильбер, наверное, своим заграничным костюмом произвел на всех гостей большое впечатление.

Как это всегда бывает, когда собирается большое общество, оно невольно делится на группы, из которых каждая занята своей

темой или спором. Так было и у нас. А потому, едва первое впечатление от вторжения Жильбера сгладилось, как он, Вадим, Викки и я стали вполголоса болтать „о своем“. Опять мы были вместе, как прошедшие дни, и Жильбер в этот вечер казался мне каким-то особенно оживленным, даже как будто чем-то взволнованным… Я от души всех угощала, наливала рюмки, говорила всякие глупости, и мне даже захотелось, неизвестно почему, опьянеть.

Рука Жильбера легко легла на мою руку, а другая его рука отодвинула мою рюмку.

— Не пейте больше, прошу вас, — шепнул он мне и, видя, как удивленно я на него посмотрела, добавил: — У меня есть одна несбыточная мечта: увезти вас отсюда. Я приглашаю вас, Викки и вашего друга танцевать! Понимаю, что это неудобно, что вам невозможно покинуть свой дом в такой день, в такой поздний час…

— А сколько сейчас? — спросила я. Он посмотрел на ручные часы: — Начало двенадцатого…

Незаметно для всех сидевших за столом я вызвала Диму и сама вышла в коридор.

— Сейчас уже двенадцатый час, — сказала я ему, — через некоторое время твои и мамины гости начнут расходиться, а…

— Ты, Кит, наверное, сама хочешь уехать? — не дав мне договорить, прервал меня Дима.

— Ты догадался. Мы хотим поехать потанцевать; ведь сегодня день моего Ангела, разве я не имею на это права?

— Ах, Кит, Кит… — полушутливо, полуукоризненно вздохнул Дима. — Не успела ты вернуться домой, как уже рвешься из дома… Ты знаешь, ты свободна… Поезжай!..

Что касается мамы, то с ней обстояло дело много хуже. Пока я, спрятавшись в коридоре за ее занавеской, у ее постели, переодевалась в вечернее платье, она с безумно трагическим выражением лица несколько раз заглядывала ко мне за занавеску. Бедняжка! Она напоминала мне комедийную актрису, которая имеет диалог сразу с двумя партнерами и которая каждому из них должна показать разное лицо и высказать самые противоположные чувства. Одному — любезность, приветливость, благожелательность, другому — возмущение, презрение и негодование. Последнее как раз относилось ко мне.

Раба этикета и внешнего приличия, мама находила предлог и с какой-нибудь вазой, чтобы якобы подложить конфет, покидала с очаровательной улыбкой гостей. Она заглядывала ко мне за занавеску, и ее красивое лицо мгновенно менялось. Гнев искажал его черты.

— Позор!.. В день Ангела!.. При всех… ночью… покидать дом!.. — шипела она скороговоркой.

Я молча махала рукой, но она продолжала:

— Что подумают гости? Что подумает о тебе твой муж? Наконец, что подумаю о тебе я, твоя мать? С какими глазами ты уезжаешь? Как ты пала, как низко ты пала!.. О князь, князь!.. — И она поднимала полупустую вазу с конфетами по направлению к портрету моего отца и потрясала ею в воздухе.

— Мама, пожалейте вазу, вы разобьете ее! — смеялась я.

После этого я выслушивала ее слова о том, что я „чудовище“.

А через минуту я уже слышала, как непринужденно болтает мама по-французски с Жильбером.

Мы уехали. С этой самой минуты я видела Викки и Вадима сквозь какую-то дымку счастливого полусна, даже не видела, а скорее только ощущала их присутствие. Едва мы остановили проезжавшее по Арбату мимо нас такси, как рука Жильбера взяла мою и уже не покидала ее больше. Я танцевала только с ним, говорила только с ним. О чем мы говорили, я не помню, наверное, о каких-нибудь пустяках. Мы находились среди публики, все было наполнено звуками джаза, но мы никого не видели и ничего не слышали. Мы говорили друг с другом на беззвучном языке, который понятен только двоим, — на языке сердца.

Тот, кто был скуп душой, кто не бросал лживых клятв и обещаний, кто не был подвластен вспышкам минутной прихоти, кто не целовал, не любя, тот знает, какое блаженство таится в мимолетном взгляде, в легком пожатии руки и во множестве непередаваемых нежностей, которые чужды сердцам, опаленным страстью; они не умеют их ни оценить, ни даже просто почувствовать.

Когда мы кружились в плавных волнах бостона, губы Жильбера легко коснулись моей щеки… Может быть, мне это только показалось?.. Но в этот миг зал исчез, он словно утонул в какой-то мгле, и мне казалось, что мы несемся над землей, несемся все выше и выше к облакам, в беспредельную лазурь.

К утру я устала и почувствовала страшную слабость. Жильбер угощал нас всех крепким кофе с совершенно теплыми, только что испеченными бриошами. И мы были почти последними из публики, которая покинула ресторан.

Под утро мороз поднялся почти до 30 градусов. Но в машине не было холодно. Мы отвезли Вадима домой первого, потом повезли в Средне-Кисловский Викки.

— Все равно уже четвертый час, — сказала Викки. — Знаешь пословицу: „Семь бед — один ответ“?.. А потому заедем ко мне.

— Неужели это возможно, Викки? — обрадованно спросил ее Жильбер. — О, я вам так благодарен…

Я, ничего не сказав, пожала Викки руку. Она была в те дни моим преданным другом.

Нет слов описать, как отрадно было войти в ее комнату!.. Я, так всегда любившая веселье, танцы, джаз, теперь облегченно и радостно вздохнула, очутившись в тишине, в уюте и полумраке. Мы не зажигали свет. Викки с Жильбером, несмотря на то, что камин был только что истоплен Марфушей, разожгли его „для уюта“, как любила выражаться Викки. А пока они вдвоем около него возились, я бросилась в мягкое кресло. Голова моя кружилась, мне нездоровилось, и я чувствовала себя плохо, хотя старалась, как всегда, не показать этого другим. Потом заиграло наконец веселое пламя, на стенах заплясали от него дрожащие блики, и было так приятно молчать и не отрываясь глядеть на огонь… Я люблю поддаваться магии огня, люблю покориться его власти, сидеть очарованной и без конца следить за его игрой. Так сидела я молча, смотря на огонь, в то время как чуть поодаль от меня Викки и Жильбер, устроившись на низенькой, небольшой скамеечке у камина, разговаривали вполголоса. Я не прислушивалась к их разговору, я старалась понять, почему мне так хорошо… Ведь, в сущности, не произошло ничего значительного. Однако случилось что-то, что изменило все. А именно: Жильбер был совсем не тот, каким он был все эти дни. Сегодня он стал близким и совершенно родным. Почему?.. Не знаю. Но было хорошо-хорошо, по-родному тепло, и моя замерзшая, одинокая душа отогревалась в той нежности, которую дарил мне этот человек.

Викки давно уже ушла в другую половину своей комнаты, и огни в камине уже погасли, только от резной нагретой решетки струилось теплое-теплое дыхание. Придвинув ко мне сплетенную скамеечку, Жильбер сидел у моих ног и говорил:

— …когда я вошел в эту комнату, меня глубоко тронула искренняя дружба двух женщин, которая так редко встречается. Обе вы вызвали во мне симпатию, но ведь одинаковых чувств не бывает, и из вас обеих я душой потянулся к вам. Вы мне были ближе, дороже, понятнее, я стремился подойти к вам, вызвать вас на откровенность, но — увы! — это было невозможно. Между нами встала Викки. С первой минуты введенный неверным впечатлением в обман, я вообразил, что вы обе живете вместе. Я учитывал властный характер Викки, ее горячность. Я знал, что она хозяйка, что комната принадлежит ей. Таким образом, если бы я отдал вам предпочтение, Викки могла бы вспылить, произошла бы ссора, и могло бы случиться так, что вы оказались

бы на улице. В этом во всем был бы виновен я. Могла ли мне прийти в голову мысль, что вы совершенно от нее независимы, что у вас есть ваш собственный дом?.. Как мог я иначе объяснить то, как слепо вы ей во всем подчинялись?.. Я прекрасно понял, что одно время она запретила вам подходить к инструменту. Вы были ей изумительно послушны, хотя прекрасно знали, как я любил вашу игру; и то, с какой легкостью вы согласились на ее требование, мне показало, насколько я вам безразличен. Это было мне достаточно горько. Однако, несмотря на это, вы становились мне все милее. В особенности когда, уверяя меня в том, что у вас порезан палец и что это мешает вам играть, вы по своей рассеянности завязывали бинтом то один, то другой палец и оба они были здоровые.

Я по-своему любил Викки, но мне было досадно за ее чувство ко мне, которое в ней так некстати вспыхнуло. На это чувство мне было нечем ей ответить, и это связывало и стесняло меня. К тому же это стояло непреодолимой стеной и мешало мне подойти к вам. Ко всему еще Викки была хозяйкой дома, и это ко многому меня обязывало. Поэтому я так обрадовался, когда узнал о намеченной вами вечеринке. Раз Викки идет на то, чтобы пригласить других дам, думал я, значит, я свободен и имею право выбора.

Тогда я попросил вас быть на этом вечере моей дамой, и тогда, впервые увидя, как вы изменились в лице, я понял, что вы не совсем ко мне безразличны…

Такова была исповедь Жильбера в ту памятную ночь, под утро… В эти часы между нами росли отношения безграничного доверия друг к другу; они были пронизаны таким внутренним светом, они были так сокровенны, так молитвенно-сокровенны…

Каждый раз, когда я смотрела на часы, Жильбер ловил мой взгляд.

— Подождите еще немного, подождите… — просил он, удерживая меня.

Но час разлуки должен был наступить, и когда мы на цыпочках, чтобы не разбудить спавшую Викки, ходили по комнате, я зашла в ее половину, чтобы оставить ей записку.

Викки сидела на кровати; глаза ее были широко раскрыты, по щекам струились слезы. Увидя меня, она сделала мне знак молчать и отвернулась. Я поняла, что она не спала и слышала все, что говорил Жильбер. Да… Это была слишком жестокая пытка для женского сердца…

Мы с Жильбером расстались на Арбате в тот час, когда лучи красного морозного солнца оранжевым отражением играли на стеклах витрин и в окнах жилых домов.

Мороз все крепчал; говорить было трудно, так захватывало дыхание. Около рта клубился пар, ложась колючим белым кружевом инея на мех воротника. Я была переполнена впечатлениями, морем чувств и безграничным счастьем!..

Когда я пришла домой, часы показывали 8 часов утра. Дима давно уехал (он выезжал в 7 часов), все остальные спали.

Тимоша прыгнул ко мне на диван, пытаясь лизнуть меня в лицо. Я обняла его милое, теплое курчавое тельце и тут же, прижав его к себе, заснула, не раздеваясь, на своем диване.

На другой день вечером мы с Викки напрасно ожидали в Средне-Кисловском прихода Жильбера. Он не пришел. Не пришел он и на второй, и на третий, и на четвертый, и на пятый день. Жильбер пропал…

Я должна сказать несколько слов о работе Викки. Однажды, попав на Биржу труда в качестве безработного канцелярского работника и встав на учет, она была послана по требованию в милицию, по указанной ее специальности. Это был ОРУД (регулирование уличного движения). Там требовался грамотный человек, который мог бы вести книги записи несчастных случаев в Москве.

Викки была очень аккуратным и добросовестным работником.

Через несколько лет беспрерывной службы она уже имела свой письменный стол в автоинспекции и получила звание младшего лейтенанта. Викки ходила в штатском платье, но любила иногда „напугать“ тем, что работает в милиции, особенно когда милиция слилась с МГБ. Викки держала в строгой тайне, кем она работает и в каком отделе. По этому поводу в ее жизни была масса курьезов. Находились негодяи, которые чернили Викки, но все это было клеветой. Викки была младшим лейтенантом в автоинспекции, и этим исчерпывалась вся ее работа.

В течение дня Викки было известно о всех несчастных случаях в Москве; она знала имена, отчества и фамилии всех пост-радавших. Знала также адреса больниц и кто из жертв куда доставлен. Но среди всех этих лиц Жильбера не было.

Мы с ней не могли себе простить того, что в минуту, когда Жильбер у нее появился, мы не спросили адреса и названия гостиницы, в которой он остановился.

Ни служба Викки, ни ее звание не давали ей права индивидуально справляться (от себя) о судьбе пропавшего иностранца. Кроме всего, она не могла сознаться в знакомстве с ним. По той же причине она не имела права запросить от имени милиции гостиницы Москвы, чтобы узнать, в которой из них

остановился Жильбер.

Мы терялись в догадках перед неизвестностью, мы мучились своим бессилием, а дни бежали, и Жильбер не появлялся.

Из того, что он приехал жить в Россию не на один год, мы могли заключить, что у него, наверное, был не один чемодан вещей и одежды. Все это наводило нас на мысль, что он мог стать добычей какой-нибудь бандитской шайки.

Предположения одно ужаснее другого мучили меня, не давали покоя, сводили меня с ума…

Прошел декабрь, подошел Новый год. Я нигде не хотела его встречать, я никого не хотела видеть. Мое здоровье становилось день ото дня все хуже. Припадки сердца участились. Врачебная комиссия дала мне инвалидность еще на целый год — работать меня не пускали.

Хотя врачами мне было предписано выходить почаще на улицу, я покидала дом очень редко и всегда против своего желания. Я нигде и ни у кого не бывала. Если мне становилось немного легче, я делала Диме перевод его учебника на немецкий или переводила ему техническую литературу. А иногда, сделав предварительно расчет, рисовала инструктирующие пластинки к изобретенному им аппарату. Остальное время я или играла, или читала.

Силы мои уходили с каждым днем, и я желала только одного: как можно скорее умереть… Для меня было совершенно ясно, что Жильбер погиб. И страшно было переживать его смерть, о которой я не знала никаких подробностей. От этого наступивший мрак казался еще безысходнее.

Пришли темные длинные январские ночи. Не знаю, почему я их пережила. Наверное, меня спасали заготовленные заранее мамой кислородные подушки. И когда в окнах начинал брезжить рассвет, я уныло смотрела на светлевшее небо, белесоватое, хмурое, с двигавшейся пеленой плясавших снежинок за просветом открытой форточки и думала с тоской, что я пережила эту ночь и что я снова обязана жить…

В эти дни Дима был со мною очень нежен. Он знал и понимал все, хотя между нами не было сказано ни одного слова и имя Жильбера не было ни разу произнесено.

Иногда я лежала с открытыми глазами, отвернувшись лицом к стене. В такие минуты оцепенения я не могла ни разговаривать, ни читать. Ни о каком сне, конечно, не могло быть разговора. В такие минуты я особенно страдала. И Дима, словно чувствуя это, часто подходил ко мне и тихо, чтобы мама не слышала, говорил:

— „Он“ жив, Кит, „он“, право, жив, вот увидишь… только не горюй, подожди немного, и ты сама в этом убедишься…

Я молчала. Я отлично понимала, что Жильбера нет в живых, что Дима обманывает меня, а он, немного постояв около меня и не дождавшись ответа, тихими шагами отходил от дивана, на котором я лежала.

Так шли дни до той самой минуты, когда однажды в самом начале февраля Дима вернулся со службы в каком-то взволнованном и, я бы даже сказала, злобном настроении.

— Кит! — воскликнул он, не сняв шубы и пробежав прямо в нашу комнату. — Кит, я был прав, „он“ жив-живехонек… Я только что встретил его, я видел его собственными глазами!

— Ты бредишь?.. — поразилась я.

— Я говорю тебе, что видел его только что на Кузнецком. Это шпион, это мерзавец, это гадость какая-нибудь…

— Успокойся, — равнодушно сказала я, — ты обознался.

— Я?! Обознался? — все раздраженнее продолжал Дима. — Да этого Дюлбера узнаешь из тысячи! Одно его заграничное кашне чего стоит, вульгарное сочетание: лимонное в пестрых клетках.

От этого напоминания, от этой подробности мое сердце на миг сжалось, но это было только на миг. Я тут же поняла, что и в расцветке могло быть совпадение, настолько смерть Жильбера была для меня очевидна.

— Перестанем об этом говорить, — сказала я строго, — я не хочу верить тому, что ты нарочно обманываешь меня, это было бы жестоко с твоей стороны. Это какое-то удивительное сходство, может быть…

Дима замолчал и весь вечер был в плохом настроении. Особого значения я этому не придала.

Ночью, когда все стихло, он вполголоса со своей тахты спросил меня:

— А не думаешь ли ты, что „он“ был не он, что имя у него было вымышленное, что у него было какое-то задание, что надобность видеть тебя у него отпала и потому он исчез?..

Эти Димины подозрения ничуть не тронули меня, они даже не дошли до моего сознания, настолько я была уверена в том, что его слова ничем не обоснованы. Теперь я только, пожалуй, склонна была думать, что где-то в Москве существовал двойник Жильбера, мне безумно захотелось его самой встретить.

В середине февраля ворвалась ко мне неожиданно хорошенькая Лиза В.

— Я только что встретила того француза! — воскликнула она. — Ну, того, с которым вы меня знакомили… забыла его фамилию!..

Это было для всех сенсационной новостью, так как все знали

о таинственном исчезновении Жильбера.

— Вы, очевидно, все или сошли с ума, или сговорились меня дурачить, — рассердилась я, хотя внутренне все во мне вздрогнуло. — Видя его всего только один раз, вы забыли черты его лица и принимаете другого человека за него…

— Это он! Он! — перекрикивала меня Лиза, кружась передо мною по комнате. — Разве возможно его забыть или спутать с кем-нибудь? И к тому же его кашне… единственное кашне во всей Москве: по лимонному фону плывут золотые, коричневые, оранжевые квадраты!.. Это он! Он! Он!..

— Не могу поверить, — недоверчиво сказала я. — И он с вами не поздоровался, а вы его не остановили?

— Ничего нет удивительного. Он шел по Петровке, с портфелем, торопился. Мы столкнулись с ним нос к носу, я просто онемела от неожиданности, не знала, с чего начать… имя его забыла. Не за рукав же мне его хватать?.. А он скользнул по мне взглядом и прошел мимо.

Все это было совершенно невероятно, но начинало походить на правду. Дима встретил Жильбера на Кузнецком, Лиза — на Петровке (один и тот же район). Оба они говорили о кашне. Если Дима мог ошибиться, то женщина-модница, какой была Лиза В., запомнила хорошо и кашне, и его рисунок.

Но кто из нас обидел, кто оскорбил Жильбера, что могло заставить его без всяких причин оборвать наше знакомство, забыв все правила вежливости и приличия, пропасть, исчезнуть, не являться на глаза?.. Это было похоже на то, что он скрывался, но от кого? От меня?.. За это одно можно было его вполне возненавидеть. Что плохого сделала я ему?.. Это было первое презрение, первое оскорбление, которое в жизни было нанесено моему сердцу…

Как это ни странно, но с того дня, или даже с той самой минуты, как только я узнала, что Жильбер жив, мое здоровье стало быстро поправляться, работа сердца наладилась, припадки прекратились, ко мне вернулся сон. Меня охватило тупое безразличие, и иногда я целыми днями спала.

Но в те минуты и часы, когда я не спала, я мучительно припоминала все подробности с первой минуты нашей встречи, вспоминала каждую мелочь, каждое сказанное мною слово. Я искала то, чем я могла так внезапно и так навсегда оттолкнуть от себя Жильбера, искала и не находила.

В первых числах марта я поехала за покупками в Центральный Мосторг. В то время 17-й номер трамвая, идя по Арбату, останавливался прямо против Большого театра. Взвизгнув на повороте, трамвай круто обогнул сквер на Театральной

площади и, качнувшись, остановился против театра. Среди продвигавшихся к выходу была и я. Проталкиваясь вперед, я машинально мельком взглянула в окно. Как всегда, меня поразила красотой стройность бегущих вверх огромных, таких знакомых с детства колонн. Дальше, вверху, несущиеся вперед в вечном порыве кони, сдерживаемые прекрасным богом Греции, а еще выше, в синеве неба, — быстро плывущие по ветру обрывки облаков. Внизу, на земле, на фоне мокрого, черного асфальта — фигуры спешащих и перегоняющих друг друга людей, стаи веселых воробьев, успевающих с задорным видом выкупаться в лужах на площади рядом с прохожими и скользящими мимо автомобилями. Их быстрый и проворный перелет по направлению к скверу и мгновенная рябь на поверхности луж от вспорхнувшей стаи…

На трамвайной остановке среди людей, прямо против меня, углубившись в чтение газеты, стоял Жильбер… Если бы он внезапно поднял свои глаза, мы неминуемо бы встретились с ним взглядом. Несмотря на то, что он стоял по ту сторону вагона, он стоял настолько близко, что, позови я его, он услыхал бы меня.

Невозможно передать, что я перечувствовала!.. К этому человеку, давшему мне столько мучений, я не ощущала ни ненависти, ни злобы, я не ощущала даже обиды. Радость от сознания, что он жив и невредим, счастье оттого, что я вижу его, переполняло мое сердце! Слезы катились по моим щекам, я не в силах была их удержать. Как я боялась, что он увидит меня!.. Если бы это случилось, я бы сгорела со стыда за его бесчеловечное поведение!.. Но чем бы ни было продиктовано его желание не видеть меня, это была его воля, и она была для меня священна.

И в то время, как толпа несла меня к выходу, я ухватилась за косяк двери и прижалась к углу.

— Чего она там остановилась?

— Раз не выходит, зачем она тогда шла?

— Ишь застряла!

— Чего это она там встала как пень? — посыпалось на меня со всех сторон. Но я стояла, не двигаясь с места, вжавшись в угол, стоя спиной к стеклу окна, боясь быть узнанной.

Мне казалось, что прошла целая вечность прежде, нежели наш трамвай наконец, неуклюже рванув, качаясь и позванивая, пустился в дальнейший путь. Но теперь я боялась взглянуть в глубину вагона. А вдруг Жильбер дожидался именно 17-го номера? А что, если он вошел в этот вагон?.. Только отъехав от Большого театра и завернув на площадь, я решилась оглянуться. В вагоне Жильбера не было. А вдалеке на площади, среди группы

людей на трамвайной остановке, чернела фигура высокого, худощавого человека, погруженного в чтение газеты. И снова я думала о том, почему этот человек так обидел меня. Разве у меня не было своего дома, своей семьи, своей жизни? Разве я как-нибудь посягала на него, разве претендовала на что-либо? Я мечтала только о том, чтобы наши отношения с ним были такими же, какими они стали в тот памятный вечер 7 декабря…

Конечно, ни о каких покупках я не могла и думать, домой я тоже возвращаться не могла. Душа моя была переполнена самыми мучительными сомнениями. Я пересела в другой трамвай, который шел на Плющиху, и поехала в маленький деревянный желтый домик, к моей единственной, незабвенной Анне Устиновне Урусовой, моему незаменимому другу. Ее я посвящала во все мои тайны, и она знала всю мою жизнь. Анна Устиновна встретила меня своими чарующими, но угасающими глазами небесной синевы, она обняла меня руками слабыми, прозрачными и нежными, сквозь которые просвечивали голубые и сиреневые жилки, и долго говорила со мной своим необыкновенным, точно поющим, молодым голосом.

В этой комнате, в которой мебель никогда не сдвигалась с мест и стояла, чинная, в серых парусиновых чехлах, где со стен смотрели старинные портреты, тоже никогда не менявшие своих мест, в этой комнате, где, казалось, даже время остановилось, я так любила бывать!..

Холодные лучи зимнего закатного солнца догорали в хрустале расставленных на этажерке маленьких вещиц, они блестели на меди отдушника, на котором в чистом беленьком мешочке висели сухарики из остатков хлебных корочек, они отражались на стекле большого зеркала, стоявшего в углу комнаты.

— Ах, Китти! — говорила Анна Установка. — Как взволновала ты меня рассказом об этой встрече… Но ты поступила правильно, что избежала личного свидания с ним. Я совершенно отказываюсь понять его психологию, за всю мою долгую жизнь я не видела подобного характера. Скажи же мне, что ты сама думаешь обо всем этом?

— Не знаю… не знаю… Я ищу причину, заставившую его бежать от меня, и… не нахожу. Так поступает мужчина только после внезапно возникшей связи, когда он хочет порвать ее, не дать прав на себя нелюбимой женщине, так поступает человек, когда его переполняет отвращение к женщине, когда он, не считаясь с приличием, отшвыривает ее, надеясь, что ее самолюбие не позволит ей бежать за ним…

— Да, да, да. — Анна Установка кивала в ответ мне своей

милой головкой; ее лицо, похожее на дорогой фарфор, с нежным румянцем, обрамленное воздушным кружевом чепчика, напоминало головку севрской куколки. — Этот очаровательный молодой человек, с такими утонченными манерами, такой воспитанный, — шептала она, — могла ли я подумать? Могла ли?..

Сумерки серым газом все плотнее свивались по углам потолка, прятались в занавесках окон, в углах комнаты, и наступал длинный, безрадостный вечер…

С того дня, когда я лично видела Жильбера, прошло несколько дней. Странное предчувствие овладело мной. Хотя казалось мне, что не на что надеяться, но я вдруг стала чего-то ждать, и с каждый днем это ожидание становилось все напряженнее и все больше мучило меня.

На улицу выходить я избегала. Март стоял холодный, мокрый, с дождем и резкими, пронизывающими ветрами. Вода лила со всех сторон: с неба, с крыш — и разливалась непроходимыми лужами под ногами. А на сердце моем было так тревожно и я настолько была уверена в чем-то, чему сама не находила названия, что когда однажды вечером ко мне пришла Викки, то не успела она еще сказать мне слова, как по блеску ее глаз, по взволнованному выражению лица я поняла, что это уже случилось.

— Немедленно одевайся, и идем ко мне! — шептала Викки, косясь на мамину постель, на которой за задернутой занавеской она отдыхала. — „Он“ только что звонил и просил тебя прийти ко мне, он будет тоже… через час.

Да… именно этого я и ждала, это я и предчувствовала, но, услыхав „это“, произнесенное простыми человеческими словами, моя душа невольно содрогнулась от дерзости Жильбера, и впервые за все время гордость и возмущение заговорили во мне.

— Как он смел позвонить тебе? С каких слов он посмел начать с тобой разговор?

— Одевайся же, ради Бога, одевайся, — взволнованно уговаривала меня Викки, — мало ли какие могли быть у него причины?.. Он так мне и сказал: „Когда Китти выслушает меня, она простит, она поймет, что иначе я поступить не мог!“ Одевайся же скорее, через час он будет у меня.

— Нет. Я не пойду. Опять, как прежде, втроем встретиться у тебя? Нет, он недостоин этого, я этого не могу сделать.

— Ах, забудь ты свои этикеты, — твердила Викки, — ведь он и звонил для того, чтобы прийти и объясниться, чтобы рассказать о причине его исчезновения. Отбрось свое глупое самолюбие, оно здесь не к месту! Собирайся же, наконец, и идем!

— Мое решение остается незыблемым, — ответила я, — если ему угодно, пусть придет сюда: я согласна его выслушать.

И, несмотря ни на какие мольбы Викки и на все ее уговоры, я осталась дома и никуда не пошла. Но одному Богу было известно, какое сумасшедшее состояние овладело мной! Я не представляла себе, как я его увижу! Прекрасно отдавая себе отчет в той жестокости, которая была в исчезновении Жильбера, я также понимала, каким оскорбительным был его неожиданный звонок с требованием увидеть меня. Чего хотел от меня этот человек? И, отдавая себе ясный отчет в происходившем, я боялась только одного: чтобы он не понял, не заметил, как он остался дорог моему сердцу!.. Чтобы я не выдала своей радости, чтобы сумела вести себя сдержанно, вежливо и холодно.

Только когда в комнату вошел Дима, бросил свой портфель на письменный стол и, взяв мыло и полотенце, вышел тут же из комнаты, а мама, появившись из своего уголка, засуетилась, гремя тарелками, приготовить Диме обед, — я поняла, как опрометчиво было с моей стороны звать сюда Жильбера… Дима вернулся поздно, прямо по окончании заседания, сейчас он будет обедать, потом будет самовар и, как всегда, общий вечерний чай: мама, Дима, Пряник, Гуруни… Разве это было место для объяснений, из-за которых Жильбер хотел меня видеть? Боже мой!.. Глупее я не могла ничего придумать…

— Кит, что это с тобой происходит? — спросил Дима, заметив, что я сама не своя. Я ничего не ответила, продолжая ходить из угла в угол, не находя себе места, не зная, что теперь я должна предпринять…

В это время мама внесла тарелку с горячим супом. Дима сел за стол, стал его есть, и тут раздался короткий звонок. Я вздрогнула так, словно прогремел неожиданный выстрел, стремглав выскочила из комнаты в переднюю, но кто-то из жильцов уже услужливо открыл дверь. Внизу, на площадке лестницы, стоял Жильбер…

Мы оба почему-то не поздоровались; он стоял и молча смотрел на меня, а я, даже не пригласив его войти, побежала обратно в нашу комнату. Я схватила свою шубу, шапочку, сумку и никак не могла найти одну калошу…

— Что с тобой, Кит? Кто там пришел? — опять с беспокойством спросил Дима.

— Это за мной… — коротко ответила я.

— Ты уходишь?

— Да.

— Надолго?

— Не знаю…

Вспоминая позднее эту сцену, я всегда поражалась тому, что мы с Жильбером не поздоровались, не сказали друг другу ни одного слова, а действовали так, словно сговорились. Я, не отдавая себе отчета в том, почему я это делаю, стала быстро и стремительно собираться, чтобы уйти не зная куда, а Жильбер стоял внизу на площадке лестницы и ждал меня, почему-то будучи уверенным в том, что я выйду.

Не помню, как я оделась, как вышла, помню только, что Дима выскочил из комнаты следом за мной. Он стоял в прихожей, видел, как я сошла по лестнице вниз, где стоял Жильбер. Они встретились взглядом и не поздоровались…

— Я не могу вести обычный разговор, я слишком много пережил за это время, — начал Жильбер, едва только мы вышли с ним на улицу. — Любовь заставила меня бежать от вас, и любовь привела меня снова к вам. Я был не в силах больше бороться с ней, противостоять ей — она победила меня…

Я покинул родину и приехал сюда, чтобы жить и работать в этой стране, которую мне хотелось узнать ближе, изучить… У меня были большие замыслы, передо мною лежала интереснейшая и огромная работа. И в первый же вечер моего приезда я встретил вас, вы сразу заполнили все мои дни, все мои мысли, всю жизнь, напрасно я говорил сам себе, что это последний день, что завтра я примусь за ту работу, ради которой приехал сюда. Я не мог взять себя в руки. Шли дни, и вся моя жизнь состояла только в том, чтобы видеть вас. Ничего другого я не хотел. Тогда я стал утешать себя той мыслью, что пройдет отпуск Викки, и мы, все трое, возьмемся за нашу работу. Всех нас я считал за свободных людей, за людей одиноких, и поэтому мне казалось, что ничто не помешает мне и в дальнейшем встречаться с вами и втайне от всех любить вас. Я сам еще не мог поверить в прочность того молниеносного чувства, которое охватило меня.

И вдруг я узнаю от вас, что у вас есть муж, есть семья… Я даже получил приглашение посетить вашу семью!.. Не могу передать, как тяжело мне было решиться войти в ваш дом, протянуть и пожать руку человеку, который имел право на вас, — вашему мужу. Но я переломил себя и пошел. Я боялся, чтобы вы не догадались о чувствах, которые мучили меня. И я увидел в вашем доме полное благополучие, довольство, обеспеченность. Ваша гостеприимная мать дарила меня лаской и радушием. Я увидел вашего мужа, культурного, умного, образованного человека, советского изобретателя, который без ума любил вас. И тогда я почувствовал себя негодяем, последним предателем, который вошел в этот дом, чтобы смести его, чтобы разорить гнездо, разбить семью… Ведь я отлично чувствовал ваше

отношение ко мне, хотя вы и старались его всячески скрыть от меня.

Я был без положения, даже без своего угла, разве я имел право сказать вам о своем чувстве? Признаться в любви после двадцати четырех дней знакомства и уговаривать вас бросить семью, мужа, налаженную жизнь… Да, по моему мнению, услышав от меня подобные слова, вы неминуемо сочли бы меня за умалишенного. Я не посмел вам это сказать, и я не счел себя вправе вас больше видеть. И сказав вам слишком много в ночь 7 декабря у Викки, я на другой же день приступил к своей новой работе и выехал в командировку в Сибирь, на заводы, где и пробыл два месяца. За это время я не только проверил свое чувство, но и создал все возможное для нашей совместной жизни. Я много пережил, перестрадал, перечувствовал за это время и понял, что не могу жить без вас. Разве не сказал я себе: ты не должен тревожить ее покой, ты должен или совсем вырвать ее из своего сердца, или увидеть ее только тогда, когда сможешь ей сказать: „Я пришел за тобой, чтобы никогда более не расставаться. Решай сама: в силах ли ты бросить мужа и свою налаженную жизнь, с тем чтобы начать новую и стать моей женой?“ Выражаясь обычным, элементарным человеческим языком, так Жильбер „сделал мне предложение“ (фраза, которую я всегда ненавидела и презирала)… без предварительного объяснения, без признания в любви, без единого поцелуя. Эта необычность чувств была захватывающе прекрасна!

Выйдя на улицу, Жильбер не пошел на шумный, ярко освещенный Арбат, а свернул налево, в сеть множества кривых и косых полуосвещенных арбатских переулков.

Дождь вместе со снегом хлестал нам в лицо, через изъяны переполненных водой крыш и водосточных труб потоки воды порою окатывали нас с головы до ног. Мы то и дело попадали в огромные лужи. Проезжавшие по узкому переулку машины разрезали воду на мостовой, и она с шепотом и шуршаньем нежного прибоя набегала далеко на тротуар, достигая наших ног.

Жильбер говорил взволнованно, то глядя прямо перед собой, то наклоняясь к моему лицу. А я еще не проронила ни одного слова. Я шла рядом с ним, держа его крепко под руку, прижавшись головой к его плечу, и он понял мое согласие в этом немом ответе.

А я думала об этом необыкновенном человеке, который шагал рядом со мной, и поражалась волевому лику его решительной и честной души. Он был прекрасен, этот лик. Как странно, что веселый, горячий, подвижный сын Франции обладал такой цельностью чувств, таким упорством, настойчивостью, такой

устремленностью воли, которая была бы под стать любому из героев Джека Лондона — выдержанному в железных тисках своей собственной воли сыну жестокого и далекого Севера. То, что я считала с его стороны жестокостью, оказалось его честным порывом, и мое оскорбленное самолюбие и моя гордость отступили, как мелкие и ничтожные чувства, перед его большой и благородной любовью.

Один из переулков бывшей Воздвиженки назывался Крестовоздвиженским: в нем, на самой его середине, в глубине двора, окруженный большим садом, стоял красивый большой особняк. Впоследствии в нем поместили один из филиалов музея западной живописи. Дом этот имел два крыла; в левом, на втором этаже, помещалась комната в два окна, это было жилище Жильбера, которое он приготовил и обставил для своей новой жизни. Сюда и привел он меня в тот вечер. Мы вошли продрогшие, промокшие до костей, оставив в маленькой прихожей верхнюю одежду и калоши.

В комнате было темно.

— Входите, входите, — говорил Жильбер. Осторожно ступая в темноте, я медленно продвигалась вперед и почувствовала, как его рука сильнее сжала мою руку.

— Я столько думал об этой минуте, — услыхала я его голос, — я боялся, что она никогда не настанет, боялся, что вы не захотите переступить этот порог. Вы могли не простить мне разлуки… Могли измениться ко мне за это время…

Щелкнул выключатель, и яркий свет залил всю комнату. Я увидела совершенно новую мебель, всю из какого-то светлого дерева. Было очень чисто, и хотя комната от новых вещей казалась нежилой, она не теряла от этого своего уюта. Кисейные занавески на окнах, пушистый, из белого меха, ковер у постели, две-три красивые вышитые небрежно брошенные подушки на диване, пестрый шелковый платок, накинутый на фарфоровую настольную китайскую лампу, — все это манило к отдыху и располагало к лени. Только письменный стол у одного из окон, с лежавшей на нем большой чертежной доской, да рулоны ватмановской бумаги на книжной полке, уставленной сплошь технической литературой, свидетельствовали о часах усидчивой и кропотливой работы.

Пока я оглядывалась по сторонам, Жильбер включил маленький электрический камин, усадил меня на диван, устроив удобно среди подушек, и сел рядом со мной.

— Вы еще ни слова не сказали, — начал он. — Теперь я жду этих слов. Нравится ли вам наша комната? Нам еще так много надо приобрести… Ведь я только вчера привез вот этот диван и

два кресла… Здесь многого не хватает… Но прежде всего, — он как будто спохватился, — прежде всего вам надо подавать на развод, ведь правда?.. — Он торопился, забрасывая меня словами. — Какие у вас холодные руки! — воскликнул он, беря их в свои. — Ваше пальто не промокло? Вы можете простудиться…

Мне так была понятна, так мила эта сбивчивость, это лихорадочное волнение. Только теперь, при свете электричества, я заметила, как за это короткое время изменился Жильбер: он еще больше похудел и виски еще больше посеребрились…

Он быстро встал, подошел к письменному столу и вернулся с двумя портретами в руках. Они были в простых строгих металлических рамках.

— Вот мои родители, — сказал он, подавая мне одну из рамок.

Я увидела сидевших рядом пожилого, совершенно седого мужчину и женщину лет на 15 моложе его. Отец был склонен к полноте; он приветливо улыбался своим добрым и спокойным лицом, а рядом обнявшая его женщина прижалась к его плечу волной своих пышных, темных волос. Глаза у нее были такие же смеющиеся, как у Жильбера, и рука у нее была такая же, как у него: узкая, с длинными нервными пальцами. Она не улыбалась, но все ее лицо сияло каким-то скрытым светом — выражение, которое бывало иногда так свойственно Жильберу… Мое сердце билось все радостнее, чем больше я всматривалась в эту незнакомую мне женщину. Я уже любила ее, и было у меня к ней такое чувство, словно я давно-давно ее знаю и в разлуке соскучилась по ней.

Второй портрет был портретом его брата Опоста. Он стоял, весь облитый яркими летними лучами солнца, около автомобиля и смеялся. Несмотря на смех, черты его лица были полны спокойствия и той же приветливости, которая светилась во всем облике его отца. Он был его копией.

Песок на дорожках в ярком свете солнца казался белым; и в искусно подстриженных густых кустах около аллеи, и в старых развесистых буковых деревьях, казалось, было разлито то же радостное спокойствие, что и на лице молодого человека.

Жильбер взял из моих рук портреты, вернулся к своему письменному столу, поставил их на прежнее место, потом, открыв один из ящиков и порывшись в нем, достал какую-то фотографию и подал мне.

— Это Колетт, — сказал он не без грусти в голосе, — девушка, с которой я был связан, которая любила меня искренно. Хотя я был по отношению к ней честен и никогда не обещал быть ее мужем, однако она останется для меня живым укором на всю

жизнь. Я виновен в том, что по молодости лет принимал ее самоотверженную любовь, иначе говоря, подписывал векселя, зная, что мне нечем будет их оплатить. А она поставила на карту все, думая выиграть игру, и проиграла ее, не сумев привязать меня к себе. Я даже рад был моему отъезду из Франции — таким образом легче было оборвать эту связь, длившуюся не один год. Ведь она молода, хороша собой и может еще найти свою судьбу. — Жильбер снова сел подле меня. — Я хочу, чтобы вы знали обо мне все! — сказал он. — Ведь я не лучше других мужчин; я увлекался не один раз, однако одна Колетт была моей более устойчивой привязанностью. Она — единственная дочь богатых родителей, избалованная, пользующаяся неограниченной свободой. Колетт учится в школе живописи, недурно рисует, водит сама машину, занимается спортом…

— Почему же вы на ней не женились? — спросила я.

— Не знаю. Наверное, потому же, что и многие мужчины, которые не всякую женщину, которую целуют, хотят видеть своей женой. Я говорил ей об этом с первой минуты нашей встречи, но не мог устоять от такого соблазна, когда красивая девушка бросается в объятия… Мне кажется, это не должно огорчать вас. Я оставил ее еще до моего отъезда из Парижа, из-за одной актрисы, которой увлекался… Потом уехал… потом, как видите, неожиданно сошел с ума (так по крайней мере мне самому показалось), пока не проверил себя и не понял, что я впервые полюбил… Не зная ничего, ни на что не надеясь, кроме своей внутренней уверенности в вас, я три месяца бился над тем, чтобы создать это гнездышко, в котором нам было бы уютно и хорошо…

Я смотрела на портрет хорошенькой Колетт, которая очень походила на одну из звезд Голливуда. Обнаженные плечи, чуть прикрытые мехом, большие сияющие серьги с подвесками в ушах. Гордый поворот головы, влажный блеск глаз, чуть улыбающийся рот.

В моей душе не шевельнулась ни ревность, ни чувство радостной гордости от сознания, что Жильбер мог оставить такую красавицу, какой была Колетт, а встретив меня, остановить на мне, на такой некрасивой женщине, свой выбор. Да и любил ли он меня?.. Мне трудно было в это поверить, и я со всей искренностью стала говорить ему о том, что в моей жизни все сожжено, что я не боюсь ничего разрушить, потому что мне нечего терять, что я не боюсь того, что он охладеет ко мне, так как, судя по его рассказам о себе, он в достаточной степени легкомыслен, а боюсь я только за него самого.

Женившись на мне, женщине с таким подорванным здоровьем, он совершит роковую ошибку; его порядочность не

даст ему покинуть меня, это будут кандалы, которые он добровольно сам на себя наденет. Но не успела я высказать ему всех своих опасений, как град поцелуев посыпался на меня, прервав мою речь. Поцелуи падали, как весенний дождь, на мои волосы, на лицо, на шею, на руки, на платье, на колени, и казалось, что они заживляют раны моей души, стирая, смывая своим благостным потоком все печали, предавая все сладкому забвенью, и так же, как от весеннего дождя сквозь холодную, влажную, черную землю пробиваются первые ростки, давая побеги, так и в моей испепеленной душе от этих горячих поцелуев любви рождались робкие надежды на счастье…

И с глазами, затуманенными желанием, он положил свою голову на мои колени и сказал мне самые трогательные и самые нежные слова, которые может сказать только поистине любящее мужское сердце:

— С этой минуты мы предназначены друг другу: вы моя невеста, это слово для меня священно. Мы оба должны стремиться, чтобы день нашего счастья скорее настал. Когда вы подадите на развод?

— Сегодня, как только вернусь домой, я скажу об этом мужу; думаю, что завтра я подам в загс заявление. Только я сомневаюсь в том, чтобы у нас был разрешен брак с иностранцем.

— Об этом я не подумал, — сказал он, сдвинув свои темные брови. — Но ведь я приехал как иностранный специалист, и приехал сюда не на один год. Не думаю, чтобы в нашем браке усмотрели какую-нибудь фикцию.

— Ну а если все-таки не разрешат? — спросила я.

— Я буду хлопотать, я буду делать все, чтобы добиться, а если откажут, что ж, я согласен на все. Тогда я приму советское подданство. — Вы сошли с ума!.. Вы хотите отказаться от родины.

— Видите ли, я считаю такой же случайной среду, в которой рождается человек, как землю, на которой он рождается. Но родное сердце, которое каждый из нас ищет и которое можно не найти, пройдя всю жизнь, такое сердце я нашел, и оно мне дороже всего!..

Минутами мне казалось все происходившее волшебным сном, и я не могла никак себе представить, что всего несколько часов тому назад я жила печальной, безрадостной жизнью и надежда на счастье, на самое маленькое счастье, которое заключалось только в том, чтобы увидеть когда-либо Жильбера, была потеряна.

Это случилось, и я вернулась домой с тем, чтобы в воскресенье с утра снова встретиться с Жильбером. Мы решили проводить вместе все дни. Было около 12 часов ночи. По субботам Дима имел обыкновение сидеть до глубокой ночи, а иногда и до

утра, за своим письменным столом и заниматься. Зная эту его привычку, я ожидала увидеть знакомую картину: раскрытые книги и за ними Дима у письменного стола, а рядом неизменный спутник его занятий — остывший стакан крепкого чая.

Но на этот раз я ошиблась. Едва я открыла своим ключом нашу квартиру, как дверь из коридора приоткрылась и из нее выглянул Дима:

— Слава Богу! Наконец-то!.. Я уже начал беспокоиться…

Он помог мне скинуть верхнее платье и все время пристально всматривался в мое лицо, видимо, пытаясь прочесть на нем что-то.

Мы вошли в нашу комнату; мама тоже не спала. За ее занавеской горел свет, и время от времени слышался шелест переворачиваемых страниц. Она обычно на ночь читала Евангелие.

Все то, что я собиралась сказать Диме, почему-то сразу вылетело из моей памяти, мысли путались, сердце взволнованно билось. К счастью, он сам пришел мне на помощь своими вопросами:

— Опять появилась эта темная личность? И как только ты могла уйти с ним куда-то? Я просто глазам своим не поверил!..

— Дима, когда-то ты обещал мне не вмешиваться в мою жизнь.

— Жизнь?! Он уже стал твоей жизнью?!

— Да… Вспомни, ты обещал мне, что в любой момент дашь мне развод.

— Развод?.. Ты хочешь стать его женой?

— Да. — И с этим „да“ мне показалось, что небо обрушилось на меня, такой гул и шум наполнил мою голову от прилившей волны крови.

Я подняла взгляд на Диму и была поражена. Он сидел напротив меня в кресле и… улыбался. — Ах, Кит, Кит, какая ты фантазерка… ты же с ним без пяти минут знакома… А как представляешь ты вашу будущую жизнь? Понимаешь ли ты, что ваш брак немыслим ни практически, ни политически? Он приехал оттуда, его фигура далеко не ясна для всех нас здесь… и вдруг ты рядом с ним! Ты, с твоим происхождением… Не думаешь ли ты, что это своего рода „загадочная картинка“, или ребус, который будет интересно кое-кому разгадать?

Я вгляделась в Димино лицо. Оно по-прежнему мне добродушно улыбалось, но где-то в глубине его глаз, казалось, пробегали дьявольские огоньки…

Сердце мое невольно сжалось знакомым предчувствием; я заметила, что пальцы его рук, лежавших на подлокотнике кресла,

цепко и судорожно впились в сукно обивки. Он сидел в непринужденной позе, положив ногу на ногу, но носок той ноги, которая висела в воздухе, дрожал мелкой и частой дрожью.

— Ты хочешь запугать меня? — спросила я. — Или, может быть, тебе самому придет в голову мысль разбить наше счастье? Что ж, это благодатная канва для самых разнообразных узоров! Если ты хочешь угрожать мне, то разговор мой будет с тобой короток: я должна поставить тебя в известность, что завтра я подаю заявление в загс о нашем разводе. Меня, как тебе известно, разведут без твоего согласия. Его женой я стану много позже, а до этого дня мне придется еще остаться под твоим кровом.

— „Еще остаться“?.. — тихо переспросил он. — Такие слова после стольких лет совместной жизни, совместной работы…

Взглянув на Диму, я уже увидела совершенно другого человека: мефистофельские огни в его глазах потухли, в голосе исчезла ирония. Передо мной был несчастный человек, раздавленный обрушившимся на него горем.

„Нет, он не причинит мне зла! — подумала я. — Это был только первый порыв, и он продиктован сознанием его бессилия перед моей волей“.

Так было начато наше объяснение. Самые страшные слова были уже мною произнесены, и казалось, что теперь оставалось только утвердить и отстоять наши новые с Димой отношения. Но это оказалось очень трудно и болезненно.

Дима… Разве не был он куском моего сердца? Разве не я создала образ этого, теперь уверенного в себе, человека? Разве мало трудов я положила на него, такого, каким он стал? И разве легко мне было обидеть его и оставить? Его, так самоотверженно приютившего под своим кровом мою мать и меня, давшего кусок хлеба моей тетке, злой Анатолии, узаконившего ее положение (проведя ее в профсоюз)?.. Он отдал мне всю свою любовь, всю свою заботу и ни в чем не стеснял моей неограниченной свободы. Взамен всего этого он требовал от меня только одного: чтобы я жила под его кровом и была его другом. А теперь, после долгих лет жизни, я отнимала у него и это последнее…

Вспомнились годы, когда Дима был объявлен „хозяйчиком-лишенцем“, когда я тайно от него билась за его изобретение, вспомнилась наша с ним впоследствии совместная работа, достигнутое им звание изобретателя… и вновь темные, беспросветные дни доносов, обысков, тюрем… потом опять борьба… и после поражений новые победы и завоеванное нашим общим самоотверженным трудом наступившее материальное благополучие…

А теперь я сама, своими руками разрушаю эти отношения,

стоящие много выше обычных отношений между мужчиной и женщиной.

Я решаюсь идти за человеком, которого едва знаю, решаюсь бросить очаг, который с таким трудом в течение стольких лет сама строила, решаюсь идти в полную неизвестность, с подорванными силами, с никуда не годным здоровьем.

— Кит, помни только одно, — сказал мне Дима. — Я не слышал твоих слов, я не хочу знать о твоем решении. И пусть до того дня, пока ты уйдешь к нему, у нас все будет по-прежнему. И даже… — он посмотрел на меня любящим и светлым взглядом, — даже если ты уйдешь и у тебя начнется новая жизнь, пусть мама и Тимоша останутся со мной… Ты будешь хотя бы изредка навещать нас и… кто знает, что еще будет впереди?.. Помни: твое место здесь никогда никем не будет занято…

— Спасибо тебе, Дима, спасибо… — ответила я, обнимая его и чувствуя, как невольные слезы льются из моих глаз и капают на его плечо и на грудь.

Что касается мамы, то с ее стороны последовал настоящий взрыв возмущения. Она слышать не хотела о Жильбере. Она показала максимум своего патриотизма и высказывала необыкновенно элементарные понятия и суждения:

— Наш Союз находится во вражеском окружении капиталистических стран. Жильбер в лучшем случае проходимец, приехавший искать здесь приключений и наживы, а в худшем случае это шпион, которого сюда заслали враги. Ну, подумайте сами, какой порядочный человек бросит родину?..

Бедная, напуганная мама уже больше не говорила о том, что мой отец от моего дурного поведения „переворачивается в гробу“… Теперь она утверждала, что перед моими „духовными очами“ неминуемо предстанет его призрак в тот момент, когда советский суд будет меня судить за мой авантюризм.

— Да, да… — повторяла она, — тебя привлекут и будут судить за многомужество, а я, твоя несчастная мать, умру со стыда, когда услышу: „Подсудимая гражданка Мещерская, она же Васильева, она же Красовская (мой фиктивный брак), она же Фокина, и она же подозрительная жена французского шпиона Пикара…“ Моя небезызвестная тетка Анатолия, всегда меня ненавидевшая и имевшая привычку разговаривать громко наедине сама с собой у раковины, в кухне и в тому подобных местах, пребывала в дикой ярости. Теперь она смотрела на меня не иначе как презрительно, прищурившись, и было похоже на то, что она рассматривает какое-нибудь отвратительное насекомое. А из мест общего пользования громко раздавалось на мой счет:

— Развратница!.. „Синяя борода“ в юбке! Рожа, рожа, рожа!!!

А Фокин — свято-о-ой!!! свято-о-о-ой!..

Для меня же все эти сцены были уморительными представлениями, и я смеялась от души. Но поздно ночью, когда все засыпали, я прижимала к себе милое мохнатое тельце Тимоши и шептала ему в его смешное, короткое ушко:

— Не бойся, я тебя не оставляю! Потом я возьму тебя к себе, но нам придется потерпеть… Ведь Дима тебя очень любит, а я ухожу от него, и если возьму и тебя, он останется совсем один…

Тимоша смотрел на меня своими черными блестящими пуговками, и мне казалось, что они блестели ярче обыкновенного, может быть, это были слезы?..

Но как тяжело и грустно мне порой ни бывало, любовь Жильбера снимала с моей души все горести, и я вся, до самых краев, переполнялась счастьем. Этот человек, казалось, был послан на моем пути, чтобы вознаградить меня за всю мою горькую доселе судьбу. Моя юность, скомканная сапогами пьяного Васильева, мои скитания без угла, мое часто двусмысленное положение — все это провалилось в бездну, словно и не бывало! Назвав меня своей невестой, Жильбер окружил меня такой заботой, таким поклонением, любовь его была пронизана такой целомудренной чистотой, что мне все это казалось сном. Трудно было поверить в то, что такой человек, как он, мог существовать…

Он написал обо мне своим родителям, и по их настоянию и желанию мы снялись вместе с Жильбером, после чего эта фотография была отправлена к ним в Париж. Все их письма, адресованные сыну, имели теперь всегда приписки, относившиеся ко мне. И мне было трогательно и сладостно читать незнакомые почерки этих людей, которые были уже родными моему сердцу.

Мое здоровье ничуть не пугало моего будущего мужа, и он твердил о том, что обязательно отправит меня одну на поправку на юг Франции, к своему дяде, на что я, конечно, не соглашалась. Много у нас в те дни было мечтаний…

Заметив, что я во время моих сердечных недомоганий кашляю, Жильбер отдал мне свой портсигар. — Возьми от меня на память об этих днях, — сказал он, — со временем мы из него сделаем тебе пудреницу. — Так он бросил курить. Это вышло легко и просто, и впоследствии он ни разу не жаловался на мучения, какие испытывают при таком подвиге все курильщики.

Портсигар был очаровательным: на его черной эмалевой крышке была серебряными нитями искусно изображена паутина. Мушка, вся из мелких бриллиантиков, билась, запутавшись, в самой ее середине, а из угла полз к ней страшный паук с большим круглым черным бриллиантом в спинке и с маленькими

рубиновыми глазками.

Дни мелькали быстрые, счастливые и какие-то трепетные. Мы с нетерпением ждали ответа из загса, куда я подала заявление на другой же день после нашей встречи.

Поскольку Жильбер в дневные часы бывал на работе, я, чтобы сократить время этой разлуки, хотела взять два-три урока с детьми, но Жильбер запротестовал.

— Теперь ты доверилась мне, — сказал он, — и во всем должна слушаться меня.

Слышать мне такие слова от мужчины было очень непривычно, но я покорилась, и как это ни странно, но в этом послушании для меня была какая-то сладость. Я верила ему во всем…

С вечера Жильбер каждый день вместе со мной намечал то, что я должна была приобрести для нашего будущего хозяйства и на что у меня уходило все время до той самой минуты, когда кончался рабочий день. Тогда я ехала на Мясницкую встречать со службы Жильбера. Мы отправлялись вместе в „Националь“, где обычно обедали. В театры мы ходили редко и всегда спешили к Жильберу в Крестовоздвиженский переулок. Столько надо было решить, о стольком надо было посоветоваться… Жильбер ни за что не хотел оставлять маму жить у Димы, и это обстоятельство было предметом наших долгих обсуждений.

Теперь комната Жильбера выглядела не так, как в тот памятный вечер, когда я впервые переступила ее порог. В одном ее углу росла целая гора; это были завернутые в бумагу свертки, пакеты, а иногда целые картонные коробки, полные вещей. То были мои ежедневные покупки по хозяйству. Посуда, вилки, ножи, ложки, разные блюда, вазочки, кастрюли всех размеров, сковородки и все те маленькие пустяки и мелочи, которые необходимы в каждом хозяйстве. Покупка сервизов, обеденного и чайного, а также скатертей и всякого белья была Жильбером отложена. Он ждал денежного перевода из Парижа, так как его родители писали, что высылают ему к свадьбе денег на самое необходимое.

— Это вовсе не значит, что ты должна будешь заниматься хозяйством, — говорил он мне. — Нас двое, и много ли нам нужно? Но у нас должно быть полное хозяйство. Может быть, на случай приема гостей или на такой день, когда тебе вдруг захочется похозяйничать…

Толстая поваренная книга (Малаховец), купленная Жильбером у кого-то с рук в Столешниковом переулке, дополняла все наши хозяйственные покупки.

Бережное отношение ко мне Жильбера не высказывалось

словами, я его чувствовала в каждом пустяке, казалось, оно невидимо окружало меня.

Ежедневно, кроме дней, когда мы бывали в театре, я к 11 часам вечера возвращалась в Староконюшенный. Жильбер говорил о том, что мне необходимо рано ложиться спать, на самом же деле я прекрасно понимала, что он считал неудобным, чтобы я оставалась в его комнате позднее 10 с половиной часов. Это показывало мне, как он оберегал мое имя. Перед кем?.. Неужели же перед своей квартирной хозяйкой, которой он отрекомендовал меня как свою невесту?.. Конечно, нет! Он оберегал мою честь перед самим собой. Наверное, он по той же причине никогда не притворял наглухо двери своей комнаты в те часы, когда мы вместе с ним в ней находились.

Однако днем, в часы его отсутствия, когда он бывал на службе, я, имея ключ от его квартиры и комнаты, часто заходила для того, чтобы занести покупки, а иногда отдыхала в его комнате или, сидя на диване, читала. В этом, видимо, он ничего предосудительного не видел. Между нами была большая нежность, и мы предвкушали те долгие дни счастья, которые нас ожидали впереди…

В его отношении ко мне была какая-то успокоительная целомудренность, которую я никогда не знала в моей сумбурной и нелепой жизни. С каждым днем Жильбер становился мне все дороже. Воскресные дни мы с утра до вечера проводили вместе. Встретившись часов в 11 утра, мы или шли к 12 на дневное представление в театр, или отправлялись осматривать музеи, а иногда снова и снова посещали Третьяковскую галерею. Днем мы почти всегда заходили навестить Викки. К вечеру возвращались в Крестовоздвиженский, так как в воскресные дни Жильбер всегда брал на дом сверхурочную работу.

Лежа с книгой на диване и делая вид, будто я углубилась в чтение, я на самом деле краем глаза наблюдала за Жильбером. Он был для меня полон очарования. Чертил ли он, хмурил ли брови, обдумывая что-то, блуждал ли его взгляд рассеянно по комнате, отбрасывал ли он с досадой карандаш, если у него не сходились расчеты, или, наоборот, закусив нижнюю губу, радостно сам себе улыбался, — все его движения, каждое проявление его чувств было совершенным от того изящества, которым он весь был пронизан насквозь.

Когда он уставал, то садился рядом со мной на диван. Тогда я откладывала книгу в сторону и слушала его.

Он рассказывал мне о Париже, о южных провинциях Франции, о прозрачном золотистом винограде, который вызревает под ласковым солнцем, о красоте спокойного озера, в

зеркальной глади которого отражаются стада белоснежных овец и ягнят, пасущихся на его берегах. Жильбер рассказывал мне о многочисленных сортах салата и о всевозможных блюдах из овощей, а также о цветах, которые растут в теплицах и оранжереях на ферме у его дяди.

Я тоже рассказывала ему о своем детстве, о любимом Петровском, и Жильбер загорелся страстным желанием поехать со мной в Покровское-Алабино и побродить по моим родным местам. Мы поехали туда в самом радостном настроении. Я уже получила официальную бумагу о моем разводе с Димой, и в моем паспорте стояла вновь моя девичья фамилия. Что касается Жильбера, то он уже подал заявление о нашем браке в Наркоминдел, и ему обещали по прошествии месяца (пока проверят надлежащие сведения) дать ответ. Кроме того, Жильбер послал в Париж бумагу с просьбой сообщить в Москву о том, что он холост и не имеет жены в Париже. Эта справка требовалась для нашей регистрации в московском загсе. Таким образом, в июне мы надеялись стать уже мужем и женой.

Мы поехали в родное Петровское в первых числах мая. Стояли пасмурные и на редкость холодные дни с частыми дождями, напоминавшие не раннюю весну, а позднюю осень. Несмотря на такую погоду, мы чувствовали себя прекрасно.

Опять дорогой Брянский вокзал, опять набитые битком грязные вагоны и с вечными опозданиями медленно тянущийся длинный состав парового поезда. Как это все знакомо, как дорого моему сердцу!.. Жильберу же все это было ново, интересно, и он не переставал удивляться, вызывая в свою очередь удивление у всех окружавших, так как его внешность и одежда выдавали в нем иностранца.

Но вот мы сошли с поезда… Благодаря пасмурному дню вечер наступил слишком рано. На небе громоздились серо-сизые тучи, холодные порывы ветра старались сорвать шляпу, леденили лицо и, чуть утихнув, налетали вновь. Впереди вилась широкая, знакомая дорога, а вдали, высоко над деревьями, были видны очертания серебристого купола Петровского дворца. Недалеко белело здание больницы, а вдали приветливо мигали огоньки родной деревни — Петровского.

Как мне захотелось хотя бы ненадолго забежать в парк, взойти на каменные полукруглые ступени лестниц, ведущих во дворец, постоять внизу, у любимых колонн, но небо зловеще темнело, ветер бушевал, свинцово-синие тучи готовы были разразиться дождем, и надо было обеспечить нам теплый кров и ночлег.

Я всегда, смеясь, говорила, что Алабино вполне оправдывало

по отношению ко мне и маме слова басни Крылова: „…И под каждым ей листком был готов и стол и дом“… Так было для нас в Петровском. Крестьяне, железнодорожные служащие, бывшие лесники, огородники и наш бывший кузнец радушно распахивали перед нами двери своих изб.

Беда была только в том, что все они жили рядом, и поэтому стоило нам только остановиться у кого-нибудь, как соседние дома начинали обижаться, происходили сцены ревности, начинались упреки, и это портило нам те короткие драгоценные часы, на которые мы приезжали.

Чтобы избегнуть этой участи, чтобы побродить неузнанной по родным местам, я иногда сходила, не доезжая Петровского, на станции Апрелевка. Останавливалась я возле будки у водокачки и шла пешком в Петровское. С Жильбером я не могла так поступить, а потому, миновав Петровское, направилась с ним в село Бурцеве к домику Ольги Васильевны Соловьевой, у которой когда-то справляла свадьбу после венчания в Бурцевской церкви с моим первым мужем летчиком Васильевым.

Она жила совершенно одна в своем небольшом уютном домике, в котором было четыре комнаты и где мы могли свободно расположиться. Когда мы подошли к ее участку, то окна ее дома были темны. Просунув руку сквозь решетку ограды, я на ощупь открыла знакомый запор калитки, и мы вошли в сад.

Подойдя поближе к окнам и поочередно в них заглядывая, я различила только разноцветные огоньки лампадок в комнатах. На мой стук мне никто не ответил. Однако дверь оказалась задвинутой снаружи на запор без замка. Это означало, что Ольга была где-то недалеко. Я оглядела участок. Внизу у овражка над рекой поднимался густой тумаи, и сквозь него виден был в Ольгином сарае мерцавший свет. Мы направились к нему. Уже подходя к сараю, через его притворенную дверь я услыхала знакомый мне равномерный звук. Это Ольга доила свою корову Капризницу. Время от времени позванивала от толчков металлическая ручка подойника, слышалось пофыркиванье, и Ольга своим грудным контральто нежно уговаривала корову:

— Ну, ну, стой!.. Ишь, Капризница, уж право что Капризница… Стой, нечего головой-то мотать…

Мы заглянули в щелку двери, и представившаяся моим глазам картина наполнила сердце мирной и счастливой радостью.

После обжигавшего ветра с первыми холодными каплями дождя из коровника нам в лицо пахнуло теплом, запахом сена и парного молока. На скамеечке, склонившись у темно-золотистого живота коровы, сидела Ольга и доила ее. В углу у двери на полу

стоял старинный большой фонарь, в котором ярко горел огарок толстой стеариновой свечи, а перед ним, отбрасывая фантастическую пляшущую тень на стене, выгибая спину, вертелся в ожидании парного молока пушистый белый кот, я его знала, его звали Снежок. Он привлекал внимание Капризницы, которая поворачивала в его сторону голову и смотрела на него своими влажными и мечтательными глазами.

Мне было известно, что для хозяек момент дойки — священный момент (можно напугать корову, „испортить“ молоко, сглазить т. д.), поэтому мы с Жильбером тихо отошли от сарая, вернулись к дому, взошли на его террасу и сели на скамейку перед деревянным, чисто вымытым столом.

Дождь уже начинал стучать по крыше. Возвращению Ольги предшествовало появление Снежка, который стремительно, большим белым пятном среди темноты, мчался по направлению к дому, победоносно распушив свой великолепный хвост.

Как всегда, увидя меня, Ольга всплеснула руками, ахнула, бросилась ко мне, обняла и со слезами на глазах стала целовать.

— Голубушка… матушка… да какое же счастье… — приговаривала она. — Раздевайтесь скорее, раздевайтесь, вот и молочко парное, сейчас и самоварчик поставлю. Яичек сварю свеженьких, прямо из-под курочки… — В этих отрывистых словах, таких с детства для меня знакомых, была скрыта какая-то магическая сила; они согревали меня необыкновенной лаской, и на миг мне показалось, что я та маленькая Китти, которая, убежав из-под строгого надзора гувернантки, перелезла через ограду парка и, вырвавшись на свободу, прибежала в гости к Соловьихе (как звали Ольгу крестьяне Петровского).

В комнатах Ольги пахло чисто вымытыми полами, геранью и лимонными деревьями, что в многочисленных горшках стояли на окнах, пахло свежеиспеченным деревенским черным хлебом. На столе кипел ярко начищенный самовар, в нем варились яйца.

— Я попал в сказку… В настоящую русскую сказку, — не переставал восхищаться Жильбер.

Мы раскрыли свой чемодан; я вынула все привезенные нами продукты и отдельный сверток, в котором лежали кое-какие подарки для Ольги. Я вышла за ней в кухню в тот момент, когда она направилась туда за какой-то тарелкой, и отдала предназначенный ей пакет.

Не глядя на подарок и торопливо сунув его на одну из полок, Ольга спросила меня шепотом, указывая глазами на дверь:

— Ухаживает он за вами? — Да нет… — невольно отреклась я на столь неверно заданный Ольгой вопрос, но тут же спохватилась: — То есть да… Мы с ним, наверное, через месяц

поженимся.

— Батюшки! — всплеснула по своему обыкновению руками Ольга. — Да неужто опять замуж собрались? Грех-то какой!.. А Фокин-то как же?

— Я с ним уже в разводе.

— Ба-а… — начала было Ольга свои взволнованные причитания, но появившийся на пороге Жильбер прервал их.

После чая Ольга пошла ставить в кухню тесто на воскресные пирожки; она унесла с собой лампу и оставила нам зажженную свечу.

К ночи разыгралась настоящая буря; это была первая гроза ранней весны. Розовато-сиреневая молния то и дело вспыхивала за стеклами окон, гром гремел то приближавшимися, то удалявшимися раскатами. Задув свечу, мы сидели на диване, прислушиваясь к разыгравшейся буре, и наблюдали из окон, как яркие зигзаги, вспыхивая, прорезывали небо; капли дождя, перегоняя друг друга, струились вниз, по стеклу окна, а в комнате, в которой мы сидели, было тепло и уютно, и все вокруг было облито красноватым огоньком мирно теплившейся у образов лампады, и опять мне вспомнилось мое детство, а на душе было радостно и немного печально.

Вошла Ольга. Как все простые и набожные люди, она безумно боялась грозы. Вздрагивая и крестясь при каждом ударе грома, она открыла киот, достала из него толстую восковую обгоревшую свечу, поставила ее перед иконами и зажгла.

— Это святая свеча… 12-ти евангелий, — сказала она, обратив ко мне свое лицо, — от страстей Господних… с тех пор ее берегу и от пожара и напастей зажигаю… Господи, помилуй и спаси… — зашептала она, а трепетное пламя свечи играло в серебристой паутине волос, выбившихся из-под темного платка на ее голове, и на теперь похудевшей и чуть впалой старческой щеке ее был виден чуть заметный пушок, ей одной только свойственный, придававший ей в дни молодости столько очарования и делавший ее цветущее лицо похожим на бархатистый персик.

Я замечала, что мало-помалу Жильбер завоевывал ее сердце, и хотя она внешне и напускала на себя строгий вид, но ее большие серые глаза светились лаской, когда она смотрела на нас. Поняла я также и то, как ей было приятно на заданный мне вопрос: „Кому и где стелить?“ — услышать от меня: „Вы, Оленька, хозяйка, вы и решайте, а я бы хотела лечь по старой памяти в вашей комнате“.

Милая, милая Ольга! В душе своей она была верна памяти моего строгого отца; и для нее было бы самым большим

оскорблением, если бы она убедилась в том, что мы близки с Жильбером. И чем больше она проникала в сущность наших отношений, тем светлее становилась ее улыбка, и я заметила, что не один раз слезы наворачивались на ее глаза…

Она постелила Жильберу в большой комнате, где мы пили чай, на том самом диване, на котором мы сидели. Сама легла рядом, в кухне, устроившись на теплой лежанке своей печки, а мне устроила постель в своей комнатке, взбив перину на невиданную высоту и наложив гору подушек.

Но мы еще долго, долго не могли расстаться с Жильбером и все сидели на диване, а Ольга, лежа на печке, ворочалась, зевала и, ворча, прогоняла нас спать.

Для нас же только сейчас и настала пора самых заветных разговоров. Мы вспоминали всю нашу встречу с ее первой минуты. Кто из нас что сказал, кто кому что ответил, кто как себя повел… все это приобрело теперь для нас особый, важный и тайный смысл. Все казалось предначертанным, и мы сами — предназначенными друг для друга.

— А помнишь? — спросил Жильбер. — В день твоих именин, когда я увез тебя, Викки и Вадима танцевать в „Савой“… Помнишь, что случилось во время вальса-бостона? Ведь я тогда чуть-чуть поцеловал тебя в щеку и так боялся, что ты заметишь, а ты и не заметила…

— Заметила, заметила! Я только не могла поверить… Я думала, это мне показалось, к тому же это было в быстром повороте, и ты мог нечаянно коснуться моей щеки.

— Ах, знаешь… — перебивал он меня, не давая договорить.

— А ты помнишь?.. — в свою очередь перебивала я его.

А потом, вдруг внезапно затихнув, мы прислушивались к буре.

Ветер завывал в трубе. Какое-то железо время от времени гремело где-то не то на крыше, не то на чердаке. Деревья, поскрипывая, гнулись под налетавшими порывами ветра, а те, которые густо разрослись над домиком, били своими большими толстыми ветвями по крыше.

— Ты знаешь, эта буря похожа на гнев какого-то большого и страшного волшебника, который рассердился на нашу любовь… — сказала я.

— Ты выдумщица, — гладя нежно мои волосы, ответил Жильбер. — Что в мире может нас разлучить?

— А если Наркоминдел не разрешит? Жильбер улыбнулся:

— Ну и что же? Я холост, и мы обвенчаемся с тобой… Я же сказал тебе, что приму советское подданство… И запомни одно: нет такой силы, которая могла бы отнять тебя у меня.

И опять мне начинало казаться, что счастье на земле возможно. Мы разошлись наконец спать, когда утихла буря и края неба стали светлеть.

Счастливая без границ, со словами любви, которыми было наполнено мое сердце и которые звучали еще у меня в ушах, я бросилась в подушки, взглянула на знакомые милые, в цветочках, обои и, едва опустив голову, заснула.

Наутро, выйдя в сад, мы нашли на сыром песке дорожек много обломанных веток тополя с маленькими светло-зелеными, точно налакированными листочками. Это были следы ночной бури. Вокруг все еще было полно влаги, но солнце уже победно сияло в чистой лазури. Оно отражалось в блестящих лужах, слепило, бросая лучи в стекла окон, и играло бриллиантом в свесившихся каплях на конце листьев.

Намокшие стволы деревьев казались чернее обыкновенного, и домик Ольги, который она имела обыкновение мыть снаружи щетками, мылом и содой, умывшись дождем, казался еще более чистеньким.

Мы начали наши прогулки с того, что отправились в Петровское имение. Подойдя ко дворцу, мы присели у его подножья. Как печален был его вид!.. Когда в нем разбирали и снимали полы, то длинные доски и балки спускали вниз прямо из окон, и лишенные стекол рамы зияли теперь грустной и мрачной темнотой. Когда вытаскивали из дворца тяжелые мраморные постаменты из-под тигра, рыцарей и негров, то волокли их по лестницам вниз, и во многих местах камень ступеней был выбит. Была нарушена красота поднимавшихся полукругом с двух сторон лестниц, ведших вверх ко входу во дворец. Два чугунных льва еще уцелели по бокам, и два чугунных сфинкса лежали еще на своих местах и с загадочным выражением на лицах стерегли красоту дворца, которую не в силах были уберечь…

В тот день их усмешка показалась мне какой-то предостерегающей и иронической. Я взяла Жильбера под руку и потянула его дальше от этого печального зрелища. Он умирал, мой любимец дворец, я это видела… Из глубоких выбоин, сделанных в его стенах для выборки кирпича на какие-то постройки, каждый день вывозили телеги камней. Расширявшиеся отверстия походили на кровоточащие раны. Разбирали, очевидно, и крышу. Темные листы железа в кое-каких местах торчали на фоне неба гигантскими черными заусенцами. И только купол из белой меди сиял еще на солнце своей серебристой, ослепительной красой, и огромные стройные колонны удивляли своим строгим спокойствием…

Так больная красавица, приговоренная к смерти, хотя и

охвачена страшным, разрушительным недугом, но еще продолжает пленять душу своей былой красотой…

Парк стал неузнаваем: он был почти весь вырублен, статуи вывезены, пьедесталы от них разбиты, аллеи заросли, и только внизу у самой реки, около густо разросшихся ив, там, где когда-то стояла наша купальня, были уголки, напоминавшие мне детство.

Мне хотелось пройти на могилы наших слуг, и для этого пришлось пережидать долгие часы воскресной обедни. Меня могли узнать кое-кто из крестьян, и эти свидания заняли бы у меня слишком много времени. Поэтому мы подошли к церкви, когда обедня уже отошла и народ разошелся. Опустело и кладбище.

Эти могилы я посещала при каждом моем приезде, хотя из всех умерших я знала только одну нашу неоцененную, дорогую Парашеньку, чью могилу я считала своей родной. Случайно обернувшись, я посмотрела на Жильбера и была поражена тем, как он вдруг мгновенно изменился. Медленно следуя за мной, он снял с головы шляпу, и на лице его лежало выражение такой глубокой скорби и такого проникновенного благоговения, что казалось, он следует за гробом дорогого ему человека.

Увидя, что я обернулась к нему, он взял меня за руку и нетерпеливо спросил:

— Где же его могила?

— Чья? — удивилась я.

— Твоего отца…

Тогда мне пришлось рассказать ему о глупейшей (с моей точки зрения) аристократической традиции: хоронить умерших только в их родовом (майоратном) имении. А так как таковое перешло старшему сыну в роду, то мама от всех наших трех имений должна была везти умершего мужа в майорат Мещерских — Лотошино, Волоколамского уезда, принадлежавшее старшему брату отца Борису и доставшееся в те дни сыну Бориса Сергею Борисовичу Мещерскому. Мы были лишены права похоронить папу у себя в имении и иметь его могилу вблизи.

В те дни, когда мы встретились с Жильбером, Лотошино было сметено с лица земли. Усыпальница Мещерских была взорвана, и все их останки, в том числе и моего отца, были выкинуты и разбросаны.

Днем мы вернулись к Ольге в ее домик, где нас ожидал обед и воскресные пироги. Пообедав, мы снова отправились гулять; на этот раз мы пересекли линию железной дороги и вошли в леса Покровского. На обратном пути с нами произошел смешной случай. Сытный обед и пироги возбудили в нас сильную жажду.

Из реки пить воду мы побоялись. До Петровского было еще далеко. Тогда мы зашли в одну из железнодорожных будок, стоявших по пути от Алабина к Апрелевке.

Встретить знакомых в ней я не боялась, так как среди железнодорожников редко попадались крестьяне, это были больше люди приезжие. Однако едва я, войдя в домик будочника, попросила продать нам крынку молока, как жена железнодорожника, все пристальнее и пристальнее всматриваясь в меня, вдруг припала со слезами на мое плечо.

— И-и-и-и… батюшки-и-и-и! — заголосила она. — Привел мне Господь тебя, горемычную, увидеть!.. Я за твою матушку, упокойницу княгиню, денно и нощно молюсь: упокой ее, нашу матушку благодетельницу, на том свете…

Жильбера это зрелище потрясло и произвело на него самое удручающее впечатление. Долго я никак не могла разобраться в плаче надо мной доброй женщины, которая так усердно молилась о упокоении моей живой матери…

Наконец выяснилось, что в Апрелевке уже давно разнесся слух, будто мама, собирая милостыню на паперти церквей, умерла от голода, а я живу и зарабатываю себе на пропитание тем, что хожу по московским рынкам и гадаю по Библии (?!)…

Долго я утешала бедную булочницу и рассказывала ей, что мы с мамой живем совсем не плохо и что эти сплетни не соответствуют действительности. Но, помимо этого, ее, по-моему, убедило в истине моих слов то, что одета я была не хуже всех остальных людей, и тогда, улыбаясь сквозь слезы, она радостно перекрестилась на угол своей комнатки, где у нее были повешены образа.

Пока мы с Жильбером пили молоко, она все время вспоминала маму, старое время и многие добрые дела, какие мама никогда не уставала делать. За молоко она ни за что не хотела взять денег, и я незаметно для нее сунула их ей на комод. Мы ушли, напутствуемые ее добропожеланиями.

Поднимаясь вверх по косогору на линию железной дороги, я на прощание долго еще махала ей рукой и видела, как она, стоя на пороге своей будки, издали крестила нас.

Поздним вечером мы возвратились к Ольге, чтобы, попрощавшись, взять наши вещи и отправиться на вокзал в обратный путь. Уловив минуту, когда мы с Ольгой остались наедине, она растрогала и насмешила меня в одно и то же время.

— Хорошо, что покойный князь, ваш отец, до этого дня не дожил! — сказала она. — А то как бы огорчился!.. Уж как он иностранцев не любил, ведь с ума сходил, когда дочь его за итальянского герцога выходила. А вы вот тоже невесть что

придумали… — Потом, вздохнув, она добавила: — Уж конечно, ничего не скажешь, орел-то он орел, и всем он взял, только одно в нем плохо… не русский!..

На этот раз мы попали не в малоярославский поезд (дальнего следования), а в нарский, и в вагонах было совсем просторно: мало кто из Нары в такой поздний час ехал в Москву. Вагон освещался плохо. За окном проплывали синие сумерки весеннего позднего вечера. Тянулись поля, склоняясь верхушками, кивали деревья густых лесов, извилистыми очертаниями протягивались далекие холмы, и в быстром беге поезда живым клубком свивались и тут же расползались в разные стороны проезжие дороги, а звезды были разбросаны по небу мелкими золотистыми блестками.

Прислонившись к плечу Жильбера, я находилась во власти сладкой полудремы; сознавая все происходящее вокруг, я в то же время не выходила из какого-то волшебного оцепенения.

— Ах, — говорил Жильбер, сжимая мою руку, — когда же наконец мы будем вместе? И почему мне так долго задерживают ответ в Наркоминделе?.. Эта медленность так мучительна, и я, кажется, начинаю терять терпение… Когда же наконец, когда мы будем вместе?..

Конец мая мы с Жильбером виделись хотя и каждый день, но свидания наши бывали урывками, оба мы за день очень уставали. Жильбер был занят завершением спроектированной им модели нового подъемного крана, я спешила закончить все дела, касавшиеся Староконюшенного переулка. Хотелось, чтобы хотя первые два-три месяца моей новой жизни не были загружены вечными хлопотами.

Надо было обойти все те комиссионные магазины, куда мама сдала наши вещи, получить деньги за проданные, а непроданные вещи сдать снова на комиссию.

Очень много надо было сделать для Димы. Я заканчивала для него перевод немецкого технического учебника и должна была составить целую библиотеку инструктирующих пластинок к изобретенному им аппарату. Все они предназначались Мострикотажем для экспорта в Германию; делала я их на немецком языке старым готическим шрифтом. Ассортимент вязаных вещей был огромным, так как Дима по собственной инициативе (принятой Союзом) проводил стандартизацию всего трикотажа.

В самом начале июня Жильберу предложили в связи с поданным им проектом выехать на несколько дней в Горький. Нам предстояла разлука на какую-нибудь неделю, но она испугала нас обоих. Мое сердце сжалось страшным

предчувствием, и я готова была отбросить все условности и поехать вместе с Жильбером в качестве его жены, даже без официального оформления нашего брака. Мне казалось, что Жильбер сам хотел просить меня об этом, оба мы были измучены бумажной волокитой в Наркоминделе, оба тосковали друг по другу, кроме того, обоим было почему-то очень страшно расстаться хотя бы на неделю, но… воспитание Жильбера, привитые ему с детства понятия, то коленопреклонение перед браком, которое он испытывал, не позволили ему обмолвиться хотя бы одним словом о его желании. Он боялся оскорбить меня своим нетерпением.

Что же касается меня, то я готова была идти за ним на костер и никакие условности не играли для меня роли. Но, боясь потерять его уважение, я должна была оставаться его невестой и оправдать слово, которое было для него священным…

Я провожала его с непроницаемым мраком в душе и с огромным букетом белой сирени в руках, и вдруг Жильбер в последние минуты перед разлукой преобразился, я не узнала его, это был не он. Забыв обо всех условностях, о воспитании, не обращая никакого внимания на окружавшую нас на перроне публику, он порывисто вдруг привлек меня в свои объятия, смял сирень, которую я держала в руках… Впервые за все время он поцеловал меня горячим и страстным поцелуем. Белые прохладные гроздья сирени прижались к нашим лицам, окружили нас своим ароматом…

— Китти, жизнь моя, — шепнул он мне, — если я напишу тебе, чтобы ты приехала ко мне?.. — И он не договорил.

— Приеду, приеду сейчас же следом за тобой… Ах, почему ты не сказал мне об этом раньше…

На другой день, рано утром, я получила от Жильбера телеграмму с дороги, а вслед за ней открытку, которую он написал мне на вокзале, едва приехал в Горький и сошел с поезда. Он просил меня немедленно собираться в дорогу, писал, что как только снимет на неделю комнату, так пришлет мне телеграмму, чтобы я выезжала.

Прошел день, другой и третий… Писем больше не было. Я не знала, что думать…

Тогда я поехала на службу к Жильберу (на Мясницкую). Там меня многие знали, так как Жильбер меня познакомил с товарищами по работе. Мне было известно, что в Горьком шли работы по расширению Волги; ее делали глубже, вычерпывая ил и песок со дна, срезывали ее берега и готовились к постройке Волго-кана-ла. Именно на эти работы и был временно отправлен Жильбер. Я приехала на службу, чтобы узнать его подробный

адрес.

Меня встретили очень странно: все переглядывались, перешептывались за моей спиной, смотрели на меня сочувственно. Тогда мне стало ясно, что что-то случилось, но что именно? Этого мне никто не хотел сказать.

Я прошла в кабинет директора. Стараясь не смотреть мне в глаза и глядя куда-то мимо меня, он выслушал все мои взволнованные вопросы и вместо ответа сам задал мне вопрос:

— Вам, кажется, известен парижский адрес семьи товарища Пикара? И вы, кажется, хорошо знаете французский язык? — И не дожидаясь моего ответа, директор продолжал: — Ну, так вот… нам нужно им сообщить… Я надеюсь, что вы нам поможете в смысле составления телеграммы… мне, конечно, очень грустно поставить вас в известность… дело в том, что с ним случилось несчастье…

— Умер? — коротко спросила я.

— Да… несчастный случай…

Ни в тот момент, ни позднее я никогда не хотела узнать все подробности о гибели Жильбера. Знаю только, что, приехав на место работ, он застал там молодую комсомольскую бригаду.

Механик — юная девушка, только что перед этим освоившая технику новых машин, — не заметив среди насыпей проходившего внизу Жильбера, стремительно и неловко опустила пустую транспортную вагонетку, и от быстрого рывка размахнувшаяся цепь всей тяжестью ударила Жильбера в висок. Смерть его была мгновенной.

Может быть, охватившее и сковавшее меня оцепенение явилось для меня благостным и спасло меня от сумасшествия. А может быть, это было то, что, однажды родившись, не покидало меня больше никогда и пряталось где-то далеко, в самых тайниках моей души. Оно говорило мне всегда: „Ты никогда в жизни не будешь счастлива… На счастье ты не имеешь права…“

Из Парижа приехал Огюст Пикар. Он приехал за прахом своего брата. Огюст тотчас же пришел ко мне в Староконюшенный. Мама и Дима ушли, оставив меня с ним наедине. Он был почти такой же, как там, стоя около своего автомобиля, на фотографии Жильбера. Огюст был много ниже своего брата, глаза у него были не темно-карие, а серые, и не искрились той взволнованной и трепетной мечтой, которая горела во взгляде его брата. Взгляд его глаз был приветлив и спокоен.

Он сначала на один миг остановился на пороге комнаты. Он был в своем пепельного цвета шелковом макинтоше, с черной траурной перевязью чуть повыше локтя, на левой руке, потом

подошел ко мне, целуя мои руки. Я обняла его, и мы поцеловали друг друга, не произнеся ни одного слова.

Я не помню точно, о чем мы говорили после первой минуты нашей встречи, помню только, что я тотчас же отдала ему ключи от „нашей“ с Жильбером комнаты, в которой мы должны были жить. Он думал, что я пойду с ним туда, и говорил о том, что все находящееся в комнате Жильбера принадлежит мне. Он настаивал на том, чтобы я перевезла все вещи к себе в Староконюшенный.

Я сказала, что не в силах перешагнуть порог комнаты, в которой бывала так счастлива, и что ни до одной вещи я не могу дотронуться, а не только взять что-либо к себе.

— Что же делать? — спросил он растерянно.

— Что хотите… Отдайте кому-нибудь… Вы должны меня понять и простить. Видеть какой-либо предмет из той комнаты — это выше моих сил…

Перед отъездом Огюст был у меня еще один раз. Он пришел ко мне для того, чтобы дать мне возможность проститься с тем, что осталось от Жильбера. Торопливыми пальцами он развернул складки плотного, тяжелого черного шелка, и я увидела небольшую белую мраморную урну.

Не верилось, что в ней был скрыт высокий, стройный, веселый человек, с огромной волей, весь пронизанный энергией и искрящимся весельем, человек, у которого были такие темные, мягкие, улыбающиеся глаза…

И казалось непонятным, что я больше никогда не увижу его, что вместе с ним умерла его большая любовь ко мне. Возможно ли, что в Москву перестанут приходить из Парижа письма с маркой, на которой изображены ажурная Эйфелева башня или Франция в образе молодой женщины со знаменем в руках? Неужели я не прочту больше приписок на французском языке, обращенных ко мне, в которых меня звали „Катрин, наша дорогая дочь“?.. Неужели эти пожилые люди, которых я никогда не увижу, так и останутся для меня неизвестными, а я снова одна, и никого близкого вокруг?..

Я мечтала о том, чтобы мать Жильбера могла мне стать ближе и понять меня скорее, нежели моя, всегда ко мне холодная, родная мать. Может быть, я, никогда не видавшая и не знавшая своего отца, могла вдруг найти в жизни отеческую ласку и назвать кого-то „папой“.

Меня глубоко тронула семья Жильбера.

— Катрин, — сказал Опост, — я имею к вам поручение от отца и матери. Из писем отца мы знали обо всей вашей жизни. Нам известно, что вы развелись с мужем и что накануне вашей

новой жизни вы порвали со старой. Сейчас случилось такое несчастье… У вас плохое здоровье, вам придется налаживать свою жизнь, и необходимо, чтобы материальная сторона не играла бы в ваших решениях главной роли… Вообще… — он немного сконфузился, покраснел, но тут же решительно продолжил: — Мы просим вас в память Жильбера считать нас родными и доказать нам это… Я привез вам небольшую сумму на первое время, но мы просим разрешить нам ежемесячно высылать вам в дальнейшем…

— Что вы! Что вы! — перебила я его.

— Они хотят посылать вам как своей родной дочери, и я говорю это вам как сестре… Ведь совсем не важно, были ли вы официально женой брата, вы были для него женщиной, которую он любил горячо, всем своим сердцем…

Я передала Огюсту письмо для родителей Жильбера, в котором написала им все, что я чувствовала и думала, и в котором бесконечно благодарила их за заботу обо мне, но, конечно, ни одной копейки я от них не взяла и ото всего отказалась.

Я достала из своей шкатулки подаренный мне Жильбером портсигар с паучком и мушкой и протянула его Огюсту.

— Передайте вашим родителям, — сказала я, — это больше всего будет им напоминать его, ведь он всегда носил эту вещь при себе. Он мне очень дорог, и мне тяжело его отдавать, но родители имеют больше права на память о своем сыне…

— Теперь я понимаю, почему Жильбер так вас любил! — сказал Огюст, и слеза блеснула в его глазах. — Вы так на него похожи!.. Он никогда не придавал никакого значения материальным ценностям…

Так я рассталась с Огюстом.

Потом я подошла к календарю, где красным карандашом был мною когда-то поставлен маленький крестик. Им я отметила 13 ноября, день нашей с Жильбером встречи.

Теперь я отыскала вторую дату: 13 июня. Это был день его гибели; и, сосчитав те дни, которые находились в промежутке между этими датами, я насчитала их ровно двести десять.

notes

Примечания

1

Волисполком — волостной исполнительный комитет. (Волость — единица сословного крестьянского управления.)

2

Речь шла о нашумевшей в 60-х годах истории о картине (тондо) "Мадонна с ребенком" кисти Сандро Боттичелли, переданной княгиней Е. П. Мещерской в 1918 году Советской власти. (Картина находится в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.)

3

В сущности, это был большевистский государственный переворот.